

СИБИРСКИЕ ОГНИ



**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Правительство Новосибирской области

Редакционная коллегия:

Б. Л. Аюшеев (Улан-Удэ)
А. Б. Байбородин (Иркутск)
Б. Я. Бедюров (Горно-Алтайск)
Т. Г. Четверикова (Омск)
Б. С. Дугаров (Улан-Удэ)
А. В. Кирилин (Барнаул)
Э. И. Русаков (Красноярск)
А. Б. Шалин (Новосибирск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Н. М. Закусина (Новосибирск)
Е. Ф. Мартышев (Новосибирск)
А. Ф. Косенков (Новосибирск)
В. С. Никифоров (Новосибирск)
Владимир Титов (ответственный секретарь)
Виталий Сероклинов (зав. отделом прозы)
Марина Акимова (зав. отделом поэзии)
Михаил Косарев (зав. отделом критики)
Дмитрий Рябов (зав. отделом публицистики)

5/2015

Главный редактор: М. Н. ЩУКИН

Содержание

Фронтная землянка. Вспоминают сибирские писатели-фронтовики. <i>Предисловие М. Щукина.</i>	3
--	---

ПРОЗА

Николай ШИПИЛОВ. Детская война. Роман. Окончание.	18
Святослав КАСАВЧЕНКО. Белые волки. Рассказы.	72
Наталья КОБОУ. Жена. Рассказ.	116
<i>Услышьте наши голоса</i>	
Николай КУДРЯВЦЕВ. Из фашистского плена.	125

ПОЭЗИЯ

Юрий КАЗАРИН. Белые-белые птицы. Стихи.	63
Анатолий АВРУТИН. Русская вьюга. Стихи.	111
<i>Услышьте наши голоса</i>	
Георгий СУВОРОВ. Дымная дорога. Стихи.	122

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Владимир САПОЖНИКОВ. Рассказы старшины Арбузова. Рассказы.	142
Пётр ДЕДОВ. Сполохи. Из записных книжек и дневников. <i>Продолжение.</i>	166

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

<i>Народные мемуары</i>	
Александр ТРИФОНОВ. Осенью 41-го. Главы из воспоминаний. ..	175

Картинная галерея «Сибирских огней»

Михаил ЩУКИН. «Я был пехотой на войне...» <i>О Вениамине Чебанове.</i>	189
--	-----

<i>Авторы номера</i>	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г. Главный редактор, директор-руководитель ГБУ «Редакция журнала «Сибирские огни» М. Н. Щукин.



ФРОНТОВАЯ ЗЕМЛЯНКА

Вспоминают сибирские писатели-фронтовики

Порою кажется, что это было вчера, а порою возникает ощущение, что минула целая эпоха.

В узком коридоре Новосибирской писательской организации они выстраивались, подшучивая над своей неловкостью, одергивая пиджаки, на которых звенели награды, и глаза загорались каким-то особым, радостным светом, лица молодели, и в этот момент их легко можно было представить не прозаиками и поэтами, уже много повидавшими и многое успевшими сделать, а молодыми, даже юными рядовыми и лейтенантами Великой войны.

Звучало: «Равняйся! Смирно!» И старишему по званию следовал доклад, что личный состав для проведения «Фронтowej землянки» собрался.

Такая существовала традиция. И каждый год в канун Дня Победы писатели-фронтовики собирались за общим столом, чтобы поднять сто граммов наркомовских и вспомнить «об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах», вспомнить и увидеть себя молодыми.

Эта «Фронтowej землянка» действительно была для них свиданием с юностью.

Но с каждым годом в строю оставалось все меньше и меньше являвшихся на поверку, а на дворе уже наступали иные времена, и в самом начале девяностых, в расцвет буйной и безумной демократии, наши фронтовики пришли на «Фронтowej землянку» без наград, лишь с орденскими колодками на скромных пиджаках.

Не сговариваясь, все как один.

Минуло уже более двадцати лет, а я и до сегодняшнего дня не могу избавиться от обжигающего чувства стыда, которое испытал в тот день.

Это до какого же беспамятства и морального уродства надо было дожить, это как же надо было по-шулерски перелицевать собственную историю, чтобы защитники-воины в святой День Победы постеснялись надеть боевые награды?!

Горько об этом вспоминать, но из песни слова не выкинешь и позорную страницу из новейшей истории не вырвешь.

Огромное количество «экспертов» и «историков», естественно, не воевавших, само собой разумеется, даже не служивших в армии, заполнили, как саранча, наши голубые экраны и принялись беззастенчиво лгать, превращая великую народную трагедию, каковой и была война, в бесконечный балаган, в котором на первых ролях оказались пьяные энкавэдэшники и придурки-командиры.

Но кто же тогда войну-то выиграл, кто над Рейхстагом поднял знамя Победы?

Хотите увидеть?

Без комментариев, без дикторов, без «экспертов» и «историков»...

Приходите девятого мая на Красный проспект в Новосибирске, на центральные улицы и площади Барнаула, Томска, Кемерово, Иркутска, Хабаровска и Владивостока... И вы увидите великое и трагическое шествие «Бессмертного полка», когда над людской рекой вздымаются тысячи и тысячи фотографий фронтовиков. Всмотритесь в эти лица, и вам ничего не нужно будет объяснять. Если жива душа, она обязательно ответится.

«Бессмертный полк» — явление чисто народное, родившееся из народа и нашедшее народный отклик. Это главное и убедительное свидетельство: мы не желаем отдавать на поругание нашу Победу.

А что касается «Фронтowej землянки»... В тот памятный день родилась идея: пусть наши писатели-фронтовики напишут воспоминания о том, как они встретили День Победы. Откликнулись все.

Время, увы, безжалостно, и сегодня уже никого из них нет в живых. Но воспоминания остались.

Они перед вами, дорогие читатели.

Михаил Щукин

Василий КОНЬЯКОВ,
рядовой

ПРАЗДНИК КАК СВЕТ

Этот праздник явлен не одним днем. Он подступал к нам долго и торжественно. Мы жили его предощущением.

Мне семнадцать лет. Зима. Ночь. Тридцать первое декабря. Я служу в Новосибирске. Стою на посту у артиллерийского склада. Хожу вдоль стены по снегу в американских ботинках. За угол заглядывать не хочется: там охватывает пронизывающий мороз. Я не знаю города. Но с вершины своего поста, с возвышенности, вижу далекую, освещенную ярким светом улицу, фигурки спешащих людей и слышу музыку праздничной улицы. И свет предновогоднего города, и далекая война на западе, откатившаяся к Германии, воспринимаются мною единым праздником — я причастен к нему.

Нас — молодых солдат в новосибирском гарнизоне готовят на фронт. Артиллерия — бог войны. На утренних разводах мы в обмотках, в затвердевших ботинках. Мороз достает через шинели. Ноги леденеют. Земля засвинцевела. А командир полка перед строем в легких сапожках. Шапка у него не подвязана. Но он не хватается руками за уши и не трет их. Командир полка — фронтовик, а это... И мы неподвижны в своем строю на морозе.

В артиллерийском парке отрабатываем приемы против танковой атаки. Тяжело проворачиваемые деревянные колеса орудия скрипят на снегу. Панорама затуманена от мороза. Окуляр обжигает лицо. В армейских varejках с одним указательным пальцем к панораме не подступишься, и мы крутим ее барабаны голыми руками. Мы в парке на занятиях по пять часов.

За городом на заснеженном поле боевые стрельбы. На длинном тросе, привязанном к «студебеккеру», — деревянный макет танка. Макет быстро накатывается, качается в снежной пыли. Он еще далеко, а в панораме он приближается и уже не так неуловимо его движение.

С поворотом рукоятки перекрестие мгновенно опережает его. Бить с упреждением в два танка. Помню. Это я помню. Я вижу хорошо. Только не суетиться. Говорят, сибиряки хорошо воюют. Говорят, их немцы больше всего боятся... Не отвлекайся... Засекай... Стоп! Вот отсчет.

Я нажимаю рычажок. Выстрел бьет по голове. Очумелый, я не знаю: попал — не попал. У меня еще два выстрела. Смещаю перекрестие. Жду...

Наша тринадцатая батарея заняла первое место на боевых стрельбах. Я комсорг батареи. Меня награждают почетной грамотой ЦК комсомола, дают приглашающий билет на ансамбль североморского флота.

В гарнизонном Доме офицеров светло от орденов, красивых женщин, музыки. Запах неведомых доселе духов.

Фойе. Музыка. Бывают же на свете такие красивые женщины и такие мужчины! Фронтовики. Начищенные хромовые сапоги. Звон орденов. Красивые, уверенные лица. От фронтовых офицеров исходит ПОБЕДА. Моей хлопчатобумажной гимнастерке среди праздничных мундиров неуютно. Но я люблю этих людей. И скоро сам уеду на фронт.

Мы одеты во все новое: нижнее белье, гимнастерки, брюки, ботинки, шинели. Все с иголочки. И откуда все это в нашей стране? И те еще мало носили. А вот сняли, оставили в бане.

Апрель. Тает на улице. Мы построены в маршевые колонны и вышли из гарнизона на городские улицы. На обочинах — народ. Гражданские. И ударил по сердцу тягучий торжественный марш «Прощание славянки». И заплакали женщины вдоль нашего новенького строя. А над головами — раскрытые окна госпиталей, и солдаты на балконах в исподнем, и крики их отчаянные нам вслед: «Ребята! Вы уже последние! Шагайте до победы и возвращайтесь! До свиданья, славяне!»

А рядом со строем — в валенках, в бушлате и старой шапке, не попадая в лад нашим шагам в размешанном снегу, — идет мой отец. Он тоже служит в Новосибирске. Командир батареи догадывается, кто это, и разрешает выйти мне из строя и идти с отцом до вокзала.

— Я буду смотреть, сынок, куда вас повезут, — говорит отец. — Хорошо бы на запад. Если на запад, то в ту мясорубку вы не успеете. А если на восток... то там заварушка начнется. Эх, сынок, лучше бы на запад. Что мне дать тебе на дорогу? Ничего нет. Если только карандаш.

Он достает из кармана гимнастерки маленький огрызок карандаша, подает мне:

— Вот, сынок, возьми... Когда вас будут погружать, я из-за ограды пронаблюдаю. Может, все же на запад...

Я вступаю в свою колонну у самых металлических ворот вокзала. И я уже не вижу за прутьями ограды отца. Нас погружают в дощатые теплушки. И... составы наши отправляются в сторону Японии.

Наш новый гарнизон у дальневосточной станции Лазо. Май. Бревенчатые казармы. Армейские будни. И... 9 мая. ПОБЕДА! Какое яркое солнце. Сердце еще не знало праздников с таким светом. Где-то над главными городами рассыпались салюты, горели в глазах. А у нас заканчивался день. И не было парада. Не было фронтовых ста граммов. Праздник истаивал буднично. Мы, молодые солдаты, его ждали, сильно ждали, а он в сердцах наших никак не обозначился.

Это под Владивостоком, только что выйдя после боев из Маньчжурии, второго сентября, узнав о капитуляции Японии, мы на берегу залива Петра Великого в пьяном безудержном порыве выпустили в небо все оставшиеся диски из своих ППШ. Тогда сердце приняло с доселе неизбывающим торжеством великую нашу ПОБЕДУ.

Михаил МЕЛЬНИКОВ,
гвардии старший сержант

И БЫЛО СТРАШНО...

Первого октября 1940 года нас, новобранцев Карасукского района, привели к товарняку, стоявшему около вокзала. В нем уже горланили призывники из Волчихинского, Родинского, Благовещенского районов Алтайского края. Команда:

— Проститься с родными!

Мои родные были далеко, плакать некому. Только два старичка, с которыми я играл в художественной самодеятельности районного Дома культуры, пришли. Что-то сказали на прощанье, сунули в мою сумку булку хлеба и бутылку водки.

Через две недели мы оказались аж за Полярным кругом, под Мурманском. Я попал в полковую школу 158-го артполка 52-й стрелковой дивизии. В ней и провоевал с первого дня до последнего месяца войны. Не дня, а месяца. Дивизия в самом начале войны остановила впятеро превосходящие силы немцев, перемолола корпус горных егерей. Первые бои начались на рубеже реки Западная Лица. Дальше этого рубежа им

пройти не удалось. И стала дивизия в конце декабря 1941 года 10-й гвардейской стрелковой, а наш полк — 29-м гвардейским арtpолком.

Вначале я был рядовым, потом командиром отделения разведки, гвардии старшим сержантом. Трусом не был, но и героем не стал. А вот дивизия стала Краснознаменной. А в 1945-м, уже на 2-м Белорусском фронте, еще получила три ордена. Мы гордились своей дивизией: не отступала даже на километр.

Когда война уверенно шла к концу, а наша дивизия — к городу Гдыня, я получил легкое ранение. С позволения командира дивизиона в госпиталь не пошел: через несколько дней выпишут и направят в другую часть, а я не хотел расставаться со своей. Остался в тылу 49-й армии. Через неделю попытался догнать свою дивизию, но был остановлен. Военный патруль объяснил:

— Приказано никого на передовую не пропускать.

Собрали нас, бедолаг, порядочно, проверили документы, предложили заполнить анкеты. Через три дня началась сортировка. Уже были получены мои документы из полка. Это и решило мою судьбу. Там было отмечено, что гвардии старший сержант более года исполнял обязанности начальника разведки дивизиона. Приговор гласил: «После войны офицеры с боевым опытом будут на вес золота. Шагом марш в 29-й учебный арtpолк офицерского состава!»

29 апреля прибыл к новому месту службы. Полк размещался в землянках, похожих на овощехранилище, среди бора рядом с селом Виля Выксунского района Горьковской области. Все ждали конца войны, но учеба шла как положено. Девятого мая на рассвете проснулся не от команды, как обычно, а от крика. Выскочил из землянки. Кто в полной форме, кто в одних подштаниках бегали, кричали, палили в воздух (прихватили с фронта пистолеты). Я восторга не испытывал. Может, потому, что не успел познакомиться с этими людьми, может, потому, что стояли перед глазами мои друзья, ушедшие из жизни: Асгат Ситдыков, Ерощкин, Фомин, Сеня Лаптев, Виктор Гурский, Коля Синицын... Из них можно было бы сформировать три отделения разведки! Жило во мне ощущение вины перед ними. Они погибли, а я жив. Почему? Мы же всегда были вместе! Судьба?

На плацу прочитали приказ Главнокомандующего, поздравили с Победой и дали нам полную свободу. Я все понимал умом, но радость не приходила, не было ощущения праздника. Куда бы ни пошли — всюду ревущие вдовы, матери, потерявшие своих сыновей. День был холодный, ветреный. Согреться было нечем. Наконец сержант Ландау, называвший себя племянником знаменитого академика, обменял мои запасные сапоги на две бутылки самодельной водки. Но настроение не изменилось. Водка оказалась такой вонючей, что пить ее я не смог. Это не очень огорчило моих собутельников. Вскоре я остался один. До глубокой ночи бродил по лесу. Думал о будущей жизни — и почему-то было страшно...

Иван КРАСНОВ,
полковник в отставке

ПЕРВЫЕ СТИХИ

Апрель 1945 года застал меня в Австрии. Я носил тогда погоны лейтенанта и числился на должности литературного сотрудника газеты «Вперед, за Родину!» при политотделе 233-й стрелковой Кременчугско-Знаменской Краснознаменной дивизии.

Должность литературного сотрудника дивизионки мы в шутку называли должностью «фронтового бродяги». И в шутке этой была доля правды: «ради нескольких строчек в газете» приходилось преодолевать огромные расстояния, используя любой попутный транспорт — от конской упряжки до артиллерийского тягача. Однажды я за считанные часы пересек расстояние от Дона до Волги с помощью танкиста, который перегонял свою боевую машину из армейской ремонтной мастерской в часть.

Чем ближе становился конец войны, тем ярче вспоминались эпизоды фронтовой жизни. Иногда даже во сне виделась мне картины сражений под Белгородом и у озера Балатон, форсирование Днепра, Дравы, Дуная.

И вот она — Победа!

Ночью восьмого и утром девятого мая мы из всех видов личного оружия палили в небо — салютовали Победе. Словами это описать невозможно.

Многие в эти дни писали письма на родину — родителям, братьям, сестрам, невестам. Воины торопились сообщить, что они живы и скоро вернуться в родные места.

Запомнились мне и дни возвращения наших полков на родину. Многие подразделения двигались на автомашинах, а стрелковые части нашей дивизии шли пешком. И никто на это не жаловался. Проходя по городам и селам, батальоны принимали бравый вид и чеканно отбивали строевой шаг. Военные оркестры заблаговременно выезжали по маршруту колонн и встречали личный состав музыкой в центре очередного городка или поселка. По улыбкам и аплодисментам местных жителей нетрудно было понять, что наше возвращение с войны — праздник и для австрийцев, и для мадьяр, и для румын.

И еще запомнилось: наша танковая колонна с пехотой на броне, а на головной машине — танкист со скрипкой. Вскоре, на одном из привалов, я написал об этом свои первые стихи.

День Победы...
Он так и запомнился мне:
Громом танков,
Стожками цветов на броне
И танкистом
С широкой рязанской улыбкой,
Светлой саблей смычка
Колдовавшим над скрипкой.

Голос скрипки...
 Он вряд ли был слышен кому,
 Да и в музыке
 Не был танкист корифеем,
 Но была эта скрипка
 Завидным трофеем:
 Ее в Вене
 Австрийцы вручили ему.
 Гулкий танковый гром
 Первым громом весны
 Оглашал после битвы
 Европы дороги.
 И танкисты,
 Покончив с делами войны,
 Вылезали из люков,
 Как добрые боги...

Анатолий НИКУЛЬКОВ,
 комсорг батальона

А МЫ ГОТОВИЛИСЬ К ВОЙНЕ...

В день капитуляции Германии наш отдельный батальон стоял в селе со смачным названием Бардагон, затерянном в сопках между городами Свободный и Благовещенск.

Был сияющий солнечный день, жаркий по-летнему, какой нечасто бывает в начале мая в довольно суровом климате Приамурья. Много позже я узнал, что и в Новосибирске день 9 мая празднично сиял по-летнему. И Москву солнце заливало победно. Будто сама природа над всей гигантской страной распростерла свое благословение.

У всех советских людей, у фронтовиков и тыловиков, господствовало одно чувство, одно ликование: Победа! Лютый враг уничтожен, четырехлетние мучения кончились, наступает мирная жизнь без конца! Как писал впоследствии Твардовский: «Как будто за спиной осталась и впрямь последняя война».

Мы, дальневосточники, конечно, тоже ликovali. Но ликование совершенно четко сплеталось с таким чувством: «Ну наконец-то и наш черед!» Спросите любого дальневосточника, и он подтвердит, что это чувство какой-то торжественной озабоченности и даже облегчения в ожидании наконец-то и наших боев превалировало над праздничным чувством Победы.

В сознании пробивалось невысказанно: «Ну какая же это победа, если японцы не разгромлены, если их гарнизон как торчал, так и торчит как раз напротив Благовещенска, через Амур, в городе Сахаляне».

Я совершенно не помню, был ли в гарнизоне митинг в честь Победы, какие-либо политбеседы в подразделениях. Скорее всего — нет, ибо

я как комсорг батальона обязательно участвовал бы в их организации. Но зато помню, как замполит батальона капитан Чистяков вызвал парторга и меня, и мы втроем стали выработать лозунги, мобилизующие на войну. Помню, в спешке родился такой призыв: «Разгромим японских империалистических врагов!» Сначала он понравился нам лаконизмом и энергичностью. Однако потом мы засомневались: японские враги — это можно понять как «враги Японии», то есть мы сами.

Все-таки, в ожидании официальных лозунгов из политуправления 2-й Краснознаменной армии, в состав которой входил наш армейский батальон, мы в нетерпении вывесили на стенах казарм собственное уточненное сочинение: «Разгромим империалистическую Японию!»

Этим актом завершился для нас День Победы.

Ровно через три месяца, как обещал Сталин Рузвельту и Черчиллю, день в день — 9 августа 1945 года началась последняя битва Великой Отечественной войны. Наш батальон в составе 2-го Дальневосточного фронта форсировал Амур на катерах и мониторах Зейско-Бурейской бригады Амурской флотилии. Было это у села Константиновское, недалеко от Благовещенска. Предварительно, ровно в полночь на 9 августа, город Сахалин (теперь Хэйхэ) и укрепрайон возле него были густо накрыты «катюшами»...

Геннадий ПАДЕРИН,
старший сержант

«ЗА ТЕХ, КТО НЕ ДОШАГАЛ!»

Отвоевавшись к сентябрю 42-го, отлежав бока на госпитальной койке к сентябрю 43-го, вернулся в Новосибирск, откуда в сентябре 41-го уходил в составе лыжной бригады на фронт. В заплечном вещмешке привез бутылку спирта и три картонные коробки. В одну из картонок госпитальная сестра-хозяйка упаковала запас стерильных тампонов и бинтов (раны еще продолжали требовать к себе внимания), вторая была наполнена желтым мелкокристаллическим порошком, именовавшимся риванолом и обладавшим противомикробным действием, а в самой маленькой хранилась горсть «сувенирных» обломков собственной кости, перемешанных с осколками немецкой мины, которая достала меня на поле боя вслед за снайперской пулей.

С этим вещмешком и начал обустройство в колючей обыденности глубокого тыла, где картофельные драники, поджаренные при микроскопическом участии растительного масла, и затируха из отсежков ржаной муки воспринимались как деликатес. Жене доводилось время от времени навещать донорский пункт — там в качестве платы за сданную кровь выдавали дополнительную хлебную карточку, которую разрешалось тут же и реализовать; получив буханку хлеба, она не в силах была удержаться на

пути домой от искушения отщипнуть кусочек-другой, пока от буханки не оставалась половина, предназначавшаяся для меня.

Батареи отопления в квартирах пребывали в зимнюю пору в полубморочном состоянии, а коммунальные службы видели свою главную задачу в том, чтобы не позволить батареям перемерзнуть. По радио периодически транслировали рассказ о том, как трудился Ленин (не припомню имени автора) — Ленину якобы продуктивнее всего работалось при комнатной температуре, не превышавшей 13 градусов.

Электроэнергии хватало только на освещение, пользование электроплитками запрещалось категорически, нарушителям грозил неподъемный штраф. От соблазна розетки заклеивались бумажными квадратиками, заверенными гербовой печатью. Пищу готовили на плите, неумемно пожиравшей каменный уголь; драгоценные камушки антрацита собирали на обочинах железнодорожного полотна по пути следования кузбасских угольных составов...

Нескончаем щемящий перечень невзгод военной поры, обильно политый слезами женщин, стариков, детей, но мы к тому времени не сомневались: Победа будет за нами! И еще: мы безоглядно верили, что после Победы жизнь быстро пойдет в гору. Это знание и эта вера держали на плаву.

Ожидание последней точки в изнурительной войне было долгим и терпеливым, но чем короче становилось расстояние до Берлина, тем поспешнее колотилось сердце, торопя заветный день. В конце марта победного года перестали выключать на ночь радио, мирясь с тем, что черная бумажная тарелка громкоговорителя будила в шесть утра всю нашу коммуналку.

Сорок пятый апрель спустился с неба, распродав, подобно цыгану, всю зимнюю одежду. Солнце радовалось вместе с нами победной весне, снег полностью растаял в первые дни месяца. Не имея в своем гардеробе демисезонного пальто или какой-либо куртки, сразу из солдатского полушубка перебазировался в кургузый пиджачишко и чувствовал себя вполне комфортно.

Пришел май. Главной темой всех разговоров — на работе, дома, на улицах, в кинотеатрах — были сообщения Совинформбюро. Ко сну отходили в сопровождении баритона Юрия Левитана, день ото дня набиравшего торжествующую высоту, с его аккордами и просыпались.

И вот он — пик: «Говорит Москва...»

Все же по-странному устроена человеческая психика: столько дней готовились к этой минуте, давно свыклись, казалось бы, с мыслью, что вот-вот последует сообщение о завершающей точке, а когда оно прозвучало (у нас в Новосибирске только-только зачинался день) — сердце сбилось с ритма от неожиданности.

Скорее — на улицу, к людям, поделиться радостью с теми, кто пропустил трансляцию! Но нет, таких не существовало. Центральная площадь города, а вслед за нею и весь Красный проспект заполнились толпами

по-летнему одетых ребятишек, женщин, стариков, солдат, парней, скакавших на костылях в госпитальных фланелевых халатах, из-под которых белели гачи подштанников. Молодежь смеялась и пела, старики плакали, появились гармошки и гитары, трофейные аккордеоны, начались танцы.

Почему-то многих, как и нас с женой, охватило необоримое желание двигаться, переходя от группы к группе и обмениваясь поздравлениями с такими же ошалевшими от избытка чувств людьми. На ликующее столпотворение удивленно пялились неумытыми окнами автобусы, которые остались без пассажиров и без водителей там, где их застал голос Левитана.

...Дома ждала госпитальная бутылка спирта, предназначавшаяся для обработки ран — они обошлись без роскошества, довольствуясь риванолом. Подъехал одиннадцатилетний братишка жены, позвали соседей, сдвинули граненые стаканы и алюминиевые кружки, и 76-летний Пётр Петрович Поливин, которому в этот день разрешили не являться на службу в управление железной дороги, предложил цепляющимся за остатки зубов голосом:

— За тех, кто не дошагал!

Абрам КИТАЙНИК, гвардии майор

ВОТ ЭТО БЫЛ ПРАЗДНИК!

Как я встречал День Победы?

Я встречал его долго.

К маю 45-го стал осязаемо близок конец войны. Чуть не ежедневно гремели в Москве салюты. Наши армии прошагали пол-Европы, взяли Берлин... А мы, на 2-м Прибалтийском, им завидовали. Нам выпало «доколачивать» Курляндскую группировку, брошенную германским командованием на обширном прибалтийском плацдарме, обреченную на уничтожение и яростно сопротивлявшуюся.

В ночь на восьмое мая радисты поймали передачу из Лондона. Би-би-си сообщало: «В городе Реймсе немцы подписали акт безоговорочной капитуляции».

Мы не поверили. Мы готовились к наступлению. Но просто отмахнуться от такой вести было невозможно.

В считанные часы прокрутились в памяти события долгих лет войны — наступление под Москвой, разгром немцев под Сталинградом, затянувшееся открытие второго фронта... Всякий раз это сулило приближение Победы, и всякий раз она отодвигалась на неопределенное время.

Взятие Берлина, казалось, подвело итог. Но ликовать было рано.

В ночь на девятое стало известно, опять-таки из передачи Би-би-си, о торжественном акте в Карлсхорсте, о том, как Кейтель подошел к столу,

за которым сидели маршал Жуков и представители Верховного командования союзных войск — Англии, Франции, США, и расписался в окончательном поражении фашистской Германии.

А мы... Мы готовились к наступлению.

На рассвете девятого части и соединения 10-й гвардейской армии начали наступательную операцию. На ограниченном участке фронта нам противостояли четыре фашистские дивизии.

Передо мной чудом сохранившаяся штабная картка-двухверстка с оперативной обстановкой за девятое мая.

К девяти утра была прорвана первая линия обороны 329-й пехотной дивизии. Еще через час, преодолевая сопротивление противника, наши войска продвинулись километров на пять. К двенадцати все было кончено.

На карте красным карандашом помечено: «Дивизия складывает оружие». Немного спустя на наш наблюдательный пункт привезли немецкого генерала, командира дивизии.

К полудню прекратили сопротивление 563, 290 и 11-я пехотные дивизии и приданные им артиллерийские части.

Ну а то, что происходило вечером и утром того дня, невозможно передать словами. Теперь уже каждый солдат знал о Победе. И вся линия фронта озарилась таким салютом, что померкли все фейерверки всех прошедших времен. Вот это был Праздник!

И все-таки для нас Победа еще не наступила.

Уже отвели войска с бывшей передовой и рассредоточили в местах новой дислокации. Уже готовили к демобилизации солдат старших возрастов. Уже стало известно, кто из офицеров — бывшие студенты, шахтеры, металлурги, специалисты многих необходимых народному хозяйству профессий — будет уволен в запас. Но эшелон за эшелон уходили на восток — до капитуляции Квантунской армии оставалось больше трех месяцев.

А мы отправились на сплошное разминирование Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. Там за годы войны наспиговали землю таким количеством взрывчатки, что жить на этой земле стало не просто опасно — невозможно. Немалые потери, понесенные там, были особенно тягостны.

И снова — Прибалтика, где мне пришлось оставаться почти год. Мог ли я представить, что буду вспоминать о тех днях через полвека? Мог ли представить, что к дорогому для меня званию участника Великой Отечественной войны добавится немыслимое и оскорбительное — «окупант»?!

Многое нуждается сегодня в переоценке. Но ничто не может перечеркнуть свершенного нашим народом в войне отечественной, войне освободительной, войне победоносной. И никогда и никем не будет брошена тень на святую дату истории — 9 мая 1945 года.

Лолый БАЛАНДИН,

техник-лейтенант

СВЕТЛЕЛИ ЛИЦА

Если сказать коротко — сдержанно мы встретили 9 мая, ликования не было. А на вопрос «почему?» — ответ должен быть более обстоятельным.

Шел победный апрель 45-го. Наши авиаполки, расположенные в Ржеве и Клину на воздушных подступах к Москве, уже предвкушали радость окончания Великой Отечественной. Много выпало на нашу долю тяжелых испытаний: потери друзей, гибель самолетов, разбомбленные аэродромы, штурмовые налеты «мессеров», фейерверки зажигалок, отступление под Загорск, зимнее наступление, круговая оборона, жизнь в замороженных землянках... Словом, обыкновенные фронтовые будни. И вот, когда казалось, что все уже позади, срочный приказ — грузиться в эшелон. Отборные, обстрелянные части отправлялись на Дальний Восток.

Наш авиаполк с самолетами, наша громоздкая аэродромная техника и мы, летчики и технари, отправились в долгий путь. Ехали не спеша, пропуская вперед порожняки, госпитальные составы. Целый месяц в теплушках или в боевом охранении. За сохранность техники ответственность несли головой.

Вот и конечный пункт — никому неведомый Ворошилов-Уссурийский. Майскими погожими деньками мы разгрузились, разместились на жилье, потеснив местный гарнизон. Немало подивились, что здесь понятия не имели о жизни в землянках, что все — бойцы и офицеры — располагались в добротных домах, чуть ли не со всеми удобствами, что на аэродроме нет капониров и самолеты стоят ничем не защищенные. Уж мы-то знали, что значит один налет штурмовиков противника. Словом, наше знакомство с боевым опытом, вернее, с отсутствием такового у наших предшественников вызывало не только ироническое к ним отношение, но даже легкое презрение. Кто-то в шутку назвал «великих сидельцев» — «геморройщиками». Название привилось и — пошло-поехало, вызывая у дальневосточников-старожилов не веселость, нет, а настоящую неприязнь к нам, «фанфаронам», «зазнайкам», «старперам».

Позднее я понял, что наше презрение было ничем не обосновано, что ребята, всю войну просидевшие без дела на Дальнем Востоке, может быть, куда больше переживали свое вынужденное бездействие, что им куда как трудно было при сложившейся ситуации поддерживать боевой дух, дисциплину, готовность к сражениям. Но тогда, не буду скрывать, антагонизм ощущался.

И вот в этой атмосфере майским утром донеслась до нас весть о Победе. Старожилы немного конфузились: без них свершилось великое дело. А мы всей душой были там, на западе, с нашими боевыми друзьями, с которыми нас разлучила судьба. Мы знали, что для нас Победа в полном смысле этого слова еще впереди, знали, что еще предстоят жестокие бои

с самураями, новые потери и новые испытания. Вот почему беззаветного ликования у нас не было.

Выстроили нас, авиаполк и батальон аэродромного обслуживания, недалеко от стоянок самолетов. Начались речи, поздравления. Замполит почему-то называет мою фамилию. Выхожу перед строем, снимаю фуражку и вглядываюсь в лица ребят.

— Дорогие друзья! Однополчане!

Строй выглядит совсем не парадно. Кто-то только что сменился с боевого дежурства — засаленные комбинезоны мотористов, шлемы летчиков. Лишь некоторые успели надеть кителя и прицепили награды. Никакой строевой выправки. А ребята — золото. В нашем полку был первый ночной таран под Москвой. Его автор — капитан Катрич, а во все не Виктор Талахихин. Просто посты ВНОС не сразу зафиксировали этот его подвиг. А наши мотористы, прибористы, оружейники — это же великие мастера своего дела! Что они только ни делали, чтобы техника работала безотказно. Смотрю на них, и сердце начинает биться учащенно, возвышенные слова сами просятся:

— Весеннее майское солнце озаряет нашу радость, наше счастье. Победа! Это слово золотыми буквами будет вписано в великую книгу российской истории!

Кажется, слова мои доходят. Вижу — лица светлеют, плечи распрямляются. Никогда я не держал подобных речей. Поэтому и удивился, когда ко мне подошел наш комиссар и без лишних слов предложил сменить профессию, стать политруком. Не задумываясь наотрез отказываюсь. Разве можно изменить своей профессии, которой отдано шесть военных лет, разве можно забыть бессонные ночи на командном пункте, когда от твоего слова зависит — будут полеты или срочно сядет на землю последний самолет — прежде чем налетит шквал или аэродром затянет внезапно набегающий туман?

Наше празднование Дня Победы на новом месте проходило без каких-либо застолий, получили свои фронтовые сто граммов да сходили на берег холодной речки Суйфун.

Зато день победы над Японией был шумным, со стрельбой из всех видов оружия. Мир, казалось, установлен прочно, навсегда.

Юлий МОСТКОВ,
гвардии капитан

БЕЗ СПРАВКИ О РАНЕНИИ

О Победе я услышал в военном госпитале, но как я там оказался — совсем не помню. Когда пытаюсь шаг за шагом воспроизвести свой путь в просторную высокую палату, в памяти возникают яркие цветные кадры, они мелькают вперемешку с черными, беспросветность которых

не нарушается даже мимолетной вспышкой света. Цветные кадры — это впечатления от солнечного дня второго мая 1945 года. Моя батарея стоит в каком-то немецком селении северо-западнее Кенигсберга.

Среди самых ярких впечатлений дня — дорога. Обычная немецкая асфальтированная дорога, хотя и повыщербленная разрывами, вся в мелких воронках. Она аккуратно обсажена деревьями с еще не запылившейся листвой. Огромное безоблачное небо над всем, и кажется, что все прекрасно в этом мире, хотя еще идет война.

Затем в памяти сразу — темная полоса.

За темной полосой — яркая вспышка света. Как будто издалека до меня доносятся встревоженные голоса товарищей, я разбираю отдельные возгласы.

Вдруг врывается чей-то испуганный выкрик — почему-то кажется, что он относится ко мне, и я снова погружаюсь в темноту.

Следующая светлая полоса — и надо мною уже не небо, а лепной потолок. С трудом ворочаю глазами, чтобы окинуть взглядом стены, и вдруг вижу милое девичье лицо в белой косынке.

— Ну вот вы и открыли глаза... — доносится до меня тихий голос, и я снова плавно опускаюсь во тьму.

Еще несколько светлых полос, и я узнаю много нового для себя. Я нахожусь в военном госпитале. Раненые тут отовсюду — и стрелки, и артиллеристы, и танкисты, и летчики. Госпиталь расположен в Кенигсберге.

Как-то сестра во время перевязки сказала мне, что врачей больше беспокоит мое ранение в голову, а с ногой, мол, ничего страшного. Я же был уверен в обратном — голова у меня почти не болела (чуть что — я легко и безболезненно проваливался в беспамятство), а нога меня тревожила, каждый шаг давался с мучительной болью.

В один из дней — а дни стояли ясные, теплые, — послышалась за окнами отчаянная стрельба. Она росла, ширилась, перекатывалась с улицы на улицу. Казалось, многочисленная армия движется со всех сторон, подавляя своей силой и численным превосходством.

Вначале раненые прислушивались, затем всех охватила тревога. В чем дело? Кто стреляет?

Тревога нарастала. Кто-то сполз с коек и направился к выходу, кто-то добрался до окна, чтобы видеть, что делается за стенами госпиталя.

Вдруг в палату вбежал военврач.

— Товарищи, тихо! Внимание! — Он поднял руку. — Только что по радио передали: гитлеровская Германия капитулировала! Победа за нами!

Крики радости и тревоги смешались. Кто-то недоверчиво спросил у военврача:

— А что за стрельба идет вокруг госпиталя?

— А, это? — Врач усмехнулся. — Это братья-славяне салютуют Победе!

Ночью я долго не мог заснуть. Казалось странным, что все осталось таким же, как прежде. Это было удивительным и непонятным — ведь если мы дошли до Победы, то все должно выглядеть по-другому!

В ту ночь мне так и не суждено было заснуть. Вдруг от двери донесся осторожный голос:

— Гвардии капитан Мостков в этой палате?

— Тут я!

Чья-то фигура в темноте пробиралась между койками.

— Товарищ гвардии капитан!

Я узнал по голосу старшину батареи.

— Гвардии полковник Линьков послал меня узнать, как вы тут?

— Да вроде ничего, поправляюсь. Так и доложи командиру полка. —

Я радостно пожал старшине руку.

— Дело в том, что наша бригада получила приказ — завтра утром начать передислокацию. Будем двигаться на Минск, а потом еще восточнее. Куда — точно пока неизвестно. Двигаются все — и штаб, и тылы, и все три полка нашей бригады. Гвардии полковник Линьков просил сказать: если вы останетесь в госпитале, то в нашу бригаду можете и не вернуться — вас отсюда направят в другое соединение.

Я и сам больше всего боялся, что потеряю свой полк, свою бригаду. Ведь в полку я без малого почти четыре года, все здесь близко и дорого. Хуже всего, что сейчас ночь и, кроме дежурного врача, никого не найдешь...

— Старшина, выручай! Тут вся надежда на тебя. Я еще толком ходить не могу, если в таком виде окажусь перед врачом, он меня наверняка не выпишет. Найди дежурного врача, объясни, в чем дело. Скажи — бригада получила приказ на марш. Попроси у него документы...

Вскоре старшина вернулся.

— Ничего не выходит. Дежурный врач не имеет права выписать, это может сделать только начальник госпиталя. А его сейчас нет — будет только утром.

— Ладно, тогда поеду без документов. Только я же в одном белье... Обмундирование в каптерке... Как быть?

— У меня с собой есть одеяло. Полуторка у проходной. Через час-два будем в полку. А там вас голым не оставят! — усмехнулся старшина.

Так в первую ночь после Победы я возвращался в свой 6-й гвардейский ордена Кутузова полк, в мою бригаду — 1-ю отдельную гвардейскую истребительно-противотанковую Смоленскую Краснознаменную ордена Кутузова бригаду...

В одном белье, завернутый в старое солдатское одеяло, я ехал в полк, счастливый от сознания, что меня не забыли, не оставили в госпитале. Я представил себе неизбежную при внезапном переезде сумятицу. Значит, командир нашего полка Иван Евгеньевич Линьков хочет, чтобы я и впредь командовал своей третьей батареей...

Так у меня до сих пор нет справки, что я был ранен в самые последние дни войны.

Николай ШИПИЛОВ

ДЕТСКАЯ ВОЙНА*

Р о м а н

44.

...Бросок захватом ног сзади — бросок через голову — бросок через бедро — задняя подножка — передняя подножка — бросок через спину — удар локтем — удар основанием ладони — средний блок наружу — средний блок внутрь — верхний блок... Работай, работай, Вадим! ...Удары ногами прямо... назад... боковой... еще боковой — средний блок внутрь — растяжка, растяжка — работай, работай, работай...

45.

Во время весеннего съезда нардепов Габдрахманова дежурила у гостиницы «Россия». В тот день над серой Москвой, над Москвой, окопаченной смогом, силы небесные разогнали муть. И день, клонящийся к закату, сделался ясным, как взгляд проснувшегося младенца. Галя чутко дремала в теплом салончике-салопчике «мерседеса». Пожарник спит, но спит он чутким сном. Сон испугался, когда она увидела Бордадыма, выходящего из гостиницы в компании почтенных с виду людей. На Васильевском спуске трудороссы бились с демороссами и одолевали, как еще покажет ход истории. Ленивые и наглые, как инопланетяне в фантастических утопиях, полицейские готовы были одолеть всех вместе, а при случае — перекинуться на сторону сильнейших и добить все равно кого; на их мундирах не доставало подсолнечной лузги — так им, полицейским, хорошо казалось воевать в историческом центре России. Габдрахманова презирала их, полицейских неизвестно какой страны, страны, находящейся в фазе латентной войны. Если б они вдруг сразу заговорили на разных языках — фарси, китайском, иврите, латыни с проседью, новгородском с патиной, — Габдрахманова все едино подчинила бы их своей воле, а воля эта и право отдавать этим барбудасам приказы ей даны высшими иерархами режима.

«Сфотографировала» Галя бывшего коллегу Бориса Алексеича Бордадыма и вызвала на связь своего послушника. Тот послушно отозвался: чего изволите?»

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2015, № 4.

— Сядьте-ка на хвост группе из пяти человек, они только что вышли из отеля, идут на меня... В группе меня интересует краснорожий с папочкой, на нем кожаная упаковка. Ведите их. Будьте на связи. Все.

— Вас понял. Приступаю к наружке.

«Хорошо, — зевнула в слезу Галя. — За Бордадымом не без грешка... Тут наша взятка...»

— ЦАБ? — спросила она в телефонную трубку. — А ну, деточка, проверь: где-нибудь по Москве и Подмоскovie значится у нас Бордадым Борис Алексеевич, уроженец Новосибирска, тысяча девятьсот, та-та-та, года производства. Ага, ты меня знаешь... — так говорила Галя, намертво вцепившись взглядом в веселого Бордадыма.

«Хорошо...» Стихия поиска радовала ее, но счастье оказалось настоящим — кратковременным: когда неторопливо идущая и внимающая улыбчивому Бордадыму группа поравнялась с ее авто, Бордадым резко отвалил от основной массы и, резво покрывая ничтожно малое расстояние до поста Габдрахмановой, направил курс прямо к «мерсу». «Эхма!» — шевельнула она в волнении ушами и успела лишь поправить очки на много чего в этой жизни нюхнувшем носу, как дверца салона распахнулась и Бордадым поприветствовал ее старинным образом.

— Привет национальным героям! — произнес он какое-то ооновское приветствие, смешанное с улично-хулиганским.

— Вас волен зи? — возмутилась Галя. — Ихь нихьт ферштег!

— Ну ты посмотри на нее! — ехидно произнес Бордадым, обращаясь к торчащему из-за его спины человеку, похожему на Сигайлова, и, мягко прикрыв дверцу габдрахмановского энпэ, пошел к ожидавшей его депутатской группе.

Энергическим взором, полным растерянности и злобы, провожала Галя своих знакомцев. «Каков подлец, а?..» — и схватила трубку радиотелефона, как готовую взорваться лимонку:

— Пятый! Козел! Пятый! Я — Второй!

— Пятый на связи!

— Ты, второгодник! шайтан! сын чумы! Ты что, не видел, куда он рванул? А если б они меня пристрелили? Ты... как тебя?..

Кто-то хохотнул в эфире.

— Виноват! — ответил сын чумы. — Но... далеко бы они не ушли... Слово офицера!

— Что?! А мне было бы от этого легче, а?

— Служба наша такая, — промямлил шайтан. — Могут шпокнуть...

— Молчать про шпокнуть!.. Выбирать выражения!

— ... в любой момент...

— Джентльмент ты дешевый! Веди их, кончай треп! Будь на связи!

— Есть вести, быть на связи!

«Пшел, сукин ты сын!» — без особой, впрочем, ярости пожелала Галя. Она была при деле, и шок от бордадымовского трюка прошел.

ЦАБ заверил, что такого Бордадыма, какой нужен командирше, в пределах объявленной географии нет.



— Посмотрите еще: Сигайлов Александр... А-а! Ладно, солнышко... Отбой! Спасибо за оперативность. — Галия увидела своего напарника, что бежал от гостиницы с пакетом. В пакете должна была находиться вкусная еда из депутатских буфетов.

— Ну вот! — втиснулся на водительское место капитан Горький. — Вот и похаваем на живульку... Ху! Ху! Где термостат? Ты еще кофеек не опрокинула, в натуре? А то я тут, — он поколыхал пластиковый пакет, и тот отозвался, как положено отзываться бурдюку, — минералочкой разжился, французская, завоеватель Буонапартэ... Давай разводящего!

— Разводящего? — уточнила Галия недобрый голосом. — Ага... Разводящего... А ты не хочешь развестись с доходной службишкой?

— Галка! — скраснел капитан. — Да кто тебя боится? Ты ж добрей детской сказки!

— До чего ж вы все, стервецы, ушлые в своей ушлой ушлости! Наливай по чуть-чуть... Через час — смена. А покушать чего взял?

— А пожужим — увидим!

— Второй, Второй! Я — Пятый! Слышите меня? Прием!

— Пятый, я — Второй! Вас слышу! Прием!

— Краснорожий идет прямо на меня, прямо на меня! Что делать?

«В зубы ему дать!» — подумала Галия и сказала:

— Поговорите с ним — чего он хочет. Все!

Капитан спросил:

— Что за краснорожий? — и протянул полковничихе «сникерс».

— Да меня тут чуть не пристрелил один... А вы все — ты, водила, этот Пятый — где вы были? — Она положила «сникерс» в карман: — Дочке отнесу... Ой, внучке! Елки-палки, как говаривали сибирские стукачи!.. Ты мяса, мяса, мяса принес? Что ты мне эту заморскую безделушку-то суешь? Что ты мне эту... эту... эту...

— Это валетто! — сказал капитан и достал из пакета.

— Второй, Второй, я — Пятый!

«Ты пятый, а я еще и первого не съела», — подумала Галия, отводя руку капитана с куском курицы.

— Я — Второй! Прием!

— Он — Краснорожий — подошел ко мне и сказал: «Привет Второму!» Я говорю: какому еще второму, гражданин? Вы меня с кем-то путаете!..

— Все! Кончай связь! Топай сюда! Ты где?

— У Исторического!

— Вот там бы тебя, недотыкомку, и выставить! А сейчас — дергай реверс! Дуи на-гора, лейтенант...

Галия жевала бутерброд, и настроение у нее было преотличное.

— Знаешь, капитан Горький... — говорила она, — у меня необъяснимо хорошее настроение... Еще в средней... школе мне было замечено учительницей... физкультуры, что... реакции мои неадекватны ситуации...

— Да? — вежливо удивился капитан и выпил из крышечки термоса.

— Да... Я, например, смеялась, когда ушибусь...

— Психопатка, — постановил капитан.

— Он, Бордадым, знает волну, на которой мы работаем... Хорошо это или плохо? Кто ловец, а кто ловимый? Вот вопрос! Клубочек есть, кошка есть, но у кого в руках кончик ниточки? Съем-ка я «сникерс» сама, а у внучки зубы целее будут...

— Да! Зубы есть зубы, — согласился капитан. — Ы-ы! — оттянул он угол рта. — Разве это зубы?!

— Вот именно! — Галя увидела водителя, что кавалерской фланирующей походкой приближался к «мерсу». — Именно... Как говаривал герр Адольф Гитлер, славянам никакой гигиены, только водка и табак... тютюн та люлька. Га, пан Хорький?!

— Так, шановна пани!

46.

— Мотор! — скомандовал Малыш и отложил зеркальце: грим в порядке. — Наша очередная передача, друзья, продолжает цикл исторических аналогий. Сегодня в студии «Телемолнии» интереснейший, на наш взгляд, историк — Иван Сергеевич Братеев. Он всего лишь школьный учитель. Он не занимается политикой, и мы предупреждаем тех, кто задумает преследовать его за участие в наших передачах: Иван Сергеевич под защитой Комитета национального спасения...

— Стоп! — вмешался Коробьин-Христосов. — Куда тебя несет? Остановитесь! — и стал перед телекамерой у столика беседующих. — Скажи мне, Минос, если кто по принуждению убьет человека, — начал он громовым голосом, — потому что не сможет сопротивляться принуждающему, как делает это палач или телохранитель: один повинуюсь судье, другой — тирану, кого ты сделаешь ответственным за убийство?

— Неужели все так серьезно? — удивился Братеев. — Но...

— Малыш! И вы, историк... То, что я произнес, до меня было произнесено Лукианом! Я прервал запись потому, что не стоит делать Ивана Сергеевича заложником политических стервятников... Не надо угроз, не надо истерик, не надо нагнетания страстей... Начнем так: сейчас школьный учитель из районного центра Портковскорубищска, имярек, прочтет вам лекцию по русской истории такого-то периода... Где-то так?

— Да позадиристей бы надо! Пусть знают, что за нами сила, что мы их не боимся! А ведь Иван Сергеевич не трус... правда, Иван Сергеевич? И бездетный... к тому же! А?

— Сила — в молчании, Минос! — известил Коробьин-Христосов. — А не в произнесении угроз сила, Минос! Сейчас перекурим или после записи?

— Все! Уходи с площадки! Мотор! Тишина в студии!

В это время вошел охранник и говорит:

— Белок съедают, а желток нет — вот интересно! Хе-хе!

— Убрать! — выкрикнул Малыш.

— Да я попугаев кормил... — испуганно выпорхнул из студии охранник.



— Друзья! Наши телепередачи имеют огромный спрос. Нам не надо устраивать социологических опросов и показывать вам гуттаперчевые диаграммы, как это делается в программе «Итоги». Наш тираж — наши зрители, они же и общественные распространители наших видеопрограмм. Сегодня я представляю вам сельского учителя, историка Ивана Сергеевича Братеева. Его научные труды касаются Смутного времени российской истории. Он прочтет лекцию из серии «Исторические аналогии», представляя вам право самим убедиться и самим разобраться в том, как Россия выстояла и как живуче зло, противостоящее ее самобытности; в том, как происходит старый спектакль в новых декорациях. Прошу вас, Иван Сергеевич... О былых соборах и нынешних съездах...

Лекция Ивана Сергеевича Братеева

— Различные группы на соборе 1566 года своеобразным подбором личного состава, закрепленным и особыми названиями, выражали, каждая по-своему, одну общую мысль, что правительство призывало на собор представителей общества по тем административным функциям, которые оно распределяло между общественными классами, — иначе говоря, что принципом соборного представительства было служебное положение лица, находившегося в известном соответствии с его социальными признаками. Наше недавнее советское прошлое имело общество квазибесклассовое, на самом же деле оно было строго иерархично, как строго иерархична жизнь заключенных в бесклассовом лагерном обществе. Вспомним — кто созывался на съезды КПСС: бугры, паханы, повязочники, ударники труда, обслуга. Все они ни в коей мере не были представителями лагерного быдла или выразителями его интересов. Быдло — в кавычках, разумеется, — прекрасно сознавало это и, как могло, обустроивало свой быт, подсознательно понимая, что никакой демократии в природе не существует, что мир и мироздание иерархичны, что иллюзия свободы внутри государства ценнее свободы хаоса. Но в каждом обществе есть подстрекатели к борьбе за очередное светлое будущее. Почему существовал лозунг «Анархия — мать порядка»? Потому что анархия — это хаос, а из хаоса рождается порядок, порядок на костях миллионов жертв политических, идеологических провокаций, конечной целью имеющих установление власти подстрекателей, достижение ими вершины иерархии. Вот вам анекдотец: хирург, архитектор и политик поспорили, чья профессия древнее. «Ева была сделана из ребра Адама, а это хирургическая операция!» — сказал хирург. «Но ведь еще до того Бог из хаоса сотворил мир!» — сказал архитектор. — Это, естественно, дело архитектора...» — «Не забудьте, — прервал их разговор политик, — что вначале кто-то организовал хаос!»... В жизни, в истории порядок таков, если иметь в виду героев нашего анекдота: первое — подстрекатель-политик создает критическую, взрывоопасную массу недовольного кормом быдла; второе — быдло создает хаос; третье — архитекторы создают из хаоса порядок, но быдлу от того не легче. И все повторяется в попытке перестроить мир, созданный Господом Богом, а не нами, смертными. Мои слова

отнодь не обозначают, что я отказываю людям в попытках сбросить ненавистное паразитическое иго. Увы! Так было, так будет. Сегодняшний же момент нашей истории отягощен десятилетиями атеистического воспитания, давлением средств массовой информации на сознание усталого обывателя и полиэтническим составом населения России. Плюс (а скорее — и минус) и то, что слово «русский» при попустительстве властей держащих стало синонимом слова «фашист», русская интеллигенция стала люмпен-интеллигенцией. Абсурдней выражения «люмпен-интеллигенция» трудно придумать, если учесть, что настоящий русский интеллигент не стремился к стяжательству, что духовные национальные ценности для него всегда были превыше материальных благ. Подводя итог сказанному, делаю вывод, что страна — пока наша — не может вырваться из тройного кольца окружения: у нас нет друзей. Настало новое Смутное время... Вернемся же к историческим событиям почти четырехсотпятидесятилетней давности. В отличие от Собора 1566 года, о порядке созыва которого не сохранилось никаких известий, относительно Собора 1598 года мы имеем документ, который позволяет наблюдать его различные фазы. В «Утвержденной грамоте об избрании царем Б. Ф. Годунова» («Акты архивной экспедиции», том четвертый... простите, второй, акт номер семь) рассказывается о том, что после смерти Фёдора Иоанновича «святейший Иов Патриарх, и митрополиты, и архиепископы, и архимандриты, и весь священный Вселенский собор, и бояре, и дворяне, и приказные, и служилые всякие люди, и гости, и все православные крестьяне, которые на Москве» — просили сначала на царство вдову Фёдора Иоанновича, а затем, после ее отказа, явилась мысль, цитирую, «и совет всех единодушно, что мимо государя Бориса Феодоровича иного государя никого не искати и не хотети». Вспомним многотысячные вечи по Москве, которые скандировали известную всем и ныне набившую оскомину фамилию! Но вернемся к Годунову... Перечисленные чины в полном составе не раз пробовали умолять Бориса, чтоб он был им милостивым государем; Борис упорно отказывался, и тогда было решено временно отложить избрание преемника Фёдору Иоанновичу — до истечения сорока дней с его смерти, пока «съедутся со вся земли Российского государства митрополиты, и архиепископы, и епископы, и весь священный собор, еже велицех соборах бывают, и съедутся государския дети разных великих государств, и весь царский синклит всяких чинов, и Царства Московскаго служилые и всякие люди»... То есть московские чины во главе с патриархом считают себя вправе просить Годунова на царство, и созыв остальных становится нужным лишь для виду, учитывая уклончивое поведение Бориса Фёдоровича Ель... простите, Годунова. Значит... перед нами, строго говоря, два однородных учреждения, два собора: московский и, назовем так, *общеземский*... Что мы имеем сегодня? Мы имеем государство Российская Федерация и государство Москва со своим правительством Москвы, крадушим общенациональное достояние так, как и татам заморским не снилось! Тогда, 17 февраля 1566 года, состоялось совместное собрание чинов, «которые были на Москве», с теми, «которые приехали из дальних городов», и последние «велегласно» вы-

разили свою солидарность с первыми в вопросе о кандидате на престол. Вспомним печально знаменитое «альтернативы нет»! Интересно, что махинации с выборами существовали уже тогда: в «Утвержденной грамоте» находим два перечня имен: в тексте, где перечислены лица, присутствовавшие на соборе, и в конце, а в подлиннике — на обороте, где помещены рукоприкладства членов собора. Сверка обоих перечней обнаруживает значительную разницу между ними: многие из присутствовавших не обнаруживаются в числе подписантов, и, наоборот, подписывались лица, которые среди присутствовавших не значатся. Тех и других — около пятидесяти имен. Как могло случиться, что избирали Бориса одни лица, а подписывали избирательный акт другие? Об этом — в нашей следующей передаче... Благодарю вас, а в заключение хочу сказать, что хоть я и не статистик, но смею уверить, что совершеннейших мошенников на Руси с шестнадцатого века по наши дни значительно прибыло...

47.

— Отбой, — сказал мнимый горец и вернулся в залу, встреченный ликующими гостями Ларисы.

— То-о-ост, — орала она, — то-о-ост хотим!

— Будь прост — произнеси тост! — летучим своим тенором перекрыл гвалт Вячеслав Палыч. — Произнеси два тоста, не покидая своего поста! — сказал вдобавок он, и от этих слов мнимый грузин почувствовал некоторое замешательство, глянул в близорукие глаза будущего живого трупа и увидел в его стати что-то распутинско-гришкинское.

Выручил коллега. Он встал во весь малый рост, поднял в утишающем жесте каратистскую дланьку:

— Слушайте, дорогие господа! Прошу вниманье, друзья! Плиль по рэк чэрэпах, а на спинэ у чэрэпах сидэль змэя. Змэя думаль: «Укшу — скынэт!» Чэрэпах думаль: «Скыну — укусыт!» Так випэм же за вэрний женскы дружьба!

— А-а, нет, нет! — зашумели женщины. — Мы за такое пить не будем.

Ирина Степановна сказала:

— А я Ларку люблю... Я за нее выпью! — Выпили.

— Выпьем за нашего героя Вячеслава Палыча! Будем голосовать за него на следующих президентских выборах! — продолжала Ирина Степановна.

Вячеслав Палыч пытался объяснить, что уходит из жизни на задание, но выпили невзирая на это.

— Вы не издевайтесь надо мной! — обиделся Вячеслав Палыч. — У меня нету зла на людей и женщин! — Он встал, повел головой, озирая застолье, и все поочередно увидели его орлиный профиль. — Говорят, что все женщины одинаковы, а я их люблю! Ведь и европейцам кажется, что все китаянки на одно лицо, однако это не значит, что все они одинаковы, согласитесь? Все зависит от того, насколько летуча твоя фантазия. Да, они зачастую красивей жизни, но и фантазия — реальность, коли мы ее пере-

живаем, и примером тому литература! А быт... Что — быт?.. Была у меня голландка, нет, не печь — женщина, раскаленная, как печь. В бытность мою с ней я, бывало, в холода вытягивал свои ноги в носках и укрывал их халатом. Так вот, из дырок в носках высовывались большие пальцы моих больших ног и светились из дырок халата. Это оттого, что моя голландка никогда не умела вдернуть нитки в иголку, а уж о штопке и речи не веду! Любил ли я ее меньше из-за этого? Нет! У нее мой сын. Но была у меня и шляхтенка, она омывала меня и вылизывала, она приносила мне кофий у койку, прошу пани, но голова моя наливалась тяжестью, клонилась ниже и ниже — это все новые и новые рога тяжелили мою головушку, прошу пани! Любил ли я ее меньше, чем себя? Нет, я любил ее больше, чем себя, а когда узнал про свои панты, то пожалел ее при расставании: дурочка, несчастная раба плоти... У наших русских есть все, чем разнообразен мир: от разреза глаз до цвета волос и кожи, они умеют говорить на нашем языке, но имеет ли это для меня значение? Нет. Потому что я поэт и люблю каждую женщину, которая благосклонна ко мне, и мне не нужен толмач: женщина — это иная цивилизация. Ее нисхождение на нашу мужскую военную планету — всего лишь акт доброты или мести... Я хочу выпить во-о-он из того рога за любовь, за тех, кто наделен даром любви!

Все целовали его. На шее Вячеслава Палыча висели три женщины, они водили хоровод вокруг него, а Пётр, учительницын муж, целовал колено горца и мычал, роняя слезы.

— Нэ плач, буд муцшына, слушай! — смущенно говорил Арчил.

— А кто ты такой? — плача, вопрошал Пётр. — А где бывшая дружба народов? А, хоп! Ответь, Сталин!

Гиви вскочил, вступил в хоровод вокруг уронившего голову на грудь Вячеслава Палыча и стал плясать горский танец.

— Все поедэм к нам в гостынц! Все поедэм к нам в гостынц! — приговаривал он. — Будэм пить день, будэм пить нэдэль, вэк цели будэм!

— Ура-а!

— Арчыл! Иды, грэй машина, мотор грэй!

— Я никуда не поеду, — сказал Вячеслав Палыч. Он казался трезвым, как закон, как фотография на заграничном паспорте, чем снова привел мнимого горца в невидимый миру трепет. — Я лягу спать. Здесь. Я обниму стол. У меня было голодное детство. Мы с матерью побирались. Я притворялся слепым. Мы с сестренкой нашли под кроватью сухарь и разодрались. Я сплю мордой в салате. Я люблю салат. Тушенку. Хлеб. Вино...

— Я с тобой! — сказала Ирина Степановна. — Где моя тарелка?

— Благодарю за службу! — сказал Вячеслав Палыч.

— Я с вами! — заявила Лариса. — Где моя большая ложка?

— Сердечно признателен! — поблагодарил Вячеслав Палыч и ее, а горцам сказал: — Приезжайте, орлы, завтра — будем пировать на втором дыхании. Все. Сажусь спать! Дамы, располагайтесь согласно купленным билетам...

Учительница сказала горцам, что они с Петром проводят их до выхода из подъезда. Наступало утро.



48.

Из газет: «Сильным взрывом был буквально разнесен на части пассажир БМВ. Водителю оторвало руку. Произошло это во дворе домов... в четыре часа утра. В окнах более чем трех десятков квартир повывлетали стекла. Следствие утверждает, что пострадавший и погибший, кавказцы, оказались в столице России для того, чтобы купить партию оружия...»

49.

— Твоя работа, Сашка... — Некурящий Бордадым закурил и тупо глянул на кончик сигареты. — Ты когда бросишь самодеятельность, Александр? Ты ставишь под удар все дело!

Крякутный сидел в позе больного перед доктором, которому не очень доверял. Руки его вяло лежали на коленях, спина была расслаблена, голова склонена чуть набок, влево, зрачки немигающих глаз расширены и устремлены на переносицу Бордадыма.

— Не смотри на меня так! — рявкнул Бордадым. — Не смотри, не выношу этой хандры! Не надо строить глазки! Мы договаривались с тобой по-товарищески, по-дружески, по-приятельски, по-братски: ты занимаешься политическими прогнозами... На хера я тебе валютную технику покупал? Мне нужна твоя голова, а не твои... экстремистские штучки! Го-ло-ва! — Он постучал себя по лбу. С кончика сигареты сорвался пригар и прожег Бордадыму не только брюки. — Твою же мать! — Он слюнявил палец и притирал пропалину на брюках. — Ну?

— Не ори! — посоветовал Крякутный. — К этому взрыву я лично отношения не имею...

— Да ты кому — Борьке Бордадыму сказки баешь? Я прекрасно осведомлен, — вскочил Бордадым и сунул палец под струю холодной воды из кухонного крана, — что ты создатель террористической группировки! И ты прекрасно знаешь, что если бы не я и не твоя безупречная ксивота, тебя бы уже давно как вошь на гребешке бы, хрусь — и привет! Я тебя просил только: возьми под контроль Вячеслав Палыча — раз, засвети его — два, проследи за ним хвост — три! Все! А уж на Гальку я сам выйду, это ее люди, а не какие-то там торговцы оружием!.. И они никакие не горцы — это все штучки демократической прессы, а она поет то, что ей скажут хозяева! Короче... что мне с тобой делать? Отвечай как на духу, бес ты такой!

— Чего ты со мной таким отеческим тоном? Ты кто?

— Знаешь, Сашка!.. — налился красным Бордадым. — Ты революций не устраивай тут! Тон ему, видите ли, не нравится! Щенок... Не нужна сейчас кровянка, есть дела посерьезней, чем мелкое кровопускание! В корень зри — нужно установить народную, советскую, родную власть, а для этого нужны такие люди, как мы с тобой...

— Надоело. Подпольный обком действует. К старому возврата больше нет.

— Его и не будет. Мы вскрыли страшный гнойник на теле страны, в ее глубинах... Этого мало? Теперь надо выгацить ее к жизни...

- Чего ты от меня хочешь?
- Пора приступать к поркам! Нужны Лысый, Тупой, Китаец...
- С кого начнем?
- Начнем с Китайца. Вот где нужны твои голова и мышцы!
- Когда?
- Хоть завтра!
- Ты же военный человек — когда?
- В понедельник будет готова кассета?
- Это другой разговор...

50.

Из газет: «Иван Л-ко, один из лидеров партии “Демократическая Россия”, вчера был похищен неизвестными лицами. Его пресс-секретарь сообщает, что после звонка по правительственному телефону, когда Л-ко говорил только “Да, Борис Николаевич... Нет, Борис Николаевич...”, он отправился на дачу одного из крупных должностных лиц нынешнего правительства, будучи при этом взволнован настолько, что на все вопросы отвечал одно: “Да-а... Вот это номер...” Примерно через полчаса после отбытия из штаб-квартиры он позвонил туда и, сказав, что его выкрали, передал трубку одному из похитителей. “Сколько?” — спросил пресс-секретарь, имея в виду выкуп. “Пока пятьдесят плетей! — ответил представитель похитителей. — Пока Китайцу хватит!” Это весь разговор, поскольку похититель прервал связь. Надо пояснить, что Китаец — детская уличная кличка Ивана Л-ко. Из всего этого следует, что наша домо-рошенная мафия вполне способна конкурировать со своими зарубежными собратьями по криминалу».

51.

- Во бабахнуло! — сказал Пётр.
- Страшно скулили дворовые псы. Плакали дети и женщины. Старухи, утеплившись, стояли у выбитых окон. Старики оживились и значительно поздоровели.
- Что это? — отнимая ладони от ушей, спросила жена Петра.
- Вячеслав Палыч поднял голову на должную высоту и сказал:
- Наши в городе! Ирина, Лариса! Пётр и учительница Петра! Выпьемте за композитора Римского-Корсакова!
- Выпили.
- Выпьем за оперу «Царская невеста»!
- Выпили.
- Что рвануло-то? — спросила Лариса.
- Мафия разбирается! — предположила учительница.
- А хрен ли ей у нас во дворе разбираться? — возмутилась Лариса.
- Зима, а стекла сейчас почему? Где она, эта паскудная мафия?
- Положите меня спать! — заныл Пётр.
- Сейчас, Петенька, положим... — отвечала Лариса.



— А куда? — капризничал Пётр, памятуя о прошлой ночи.
— Да куда скажешь — хоть в Мавзолей!
— Там Ленин!
— А Ленина временно вынесем! — утешала Лариса.
— Пусть все как есть... Там холодно... Тушите свет...
Где-то выла милицейская сирена в дуэте с пожарной.
В окно Ларисиной квартиры заглянул человек в противогазе.
— Чур, чур меня! — заверещала учительница. Морда исчезла. —
Допились! — сказала Лариса. — Давайте спать...

52.

Китайца предполагали сечь розгами в глухом загородном доме. Коробин-Христосов предложил проверить свою команду на Китайце и обставил это в такой режиссуре: когда с глаз Китайца сняли темную повязку и глаза его обрели способность переносить яркий свет, он огляделся. Как две веселые аквариумные рыбки, глаза его осмотрели небольшую комнату с плотно занавешенным окном. В комнате стояли три лавки: две у стен и одна посередине. Подле той лавки, что расшеперилась посередине комнаты, стоял большой оцинкованный чан, из его жерла торчало нечто, напоминавшее Китайцу метлы его студенческой младости. Кулаком Китаец осторожно стукнул в стену — стена мягко спружинила и не издала ни звука. Такие стены бывают в палатах для буйных в хороших психлечебницах. Китаец судорожно и глубоко вздохнул, затем, сначала потрогав лавку рукой, как мину, присел, а потом уж и прилег, подложив руки под голову. Так он намеревался собраться с мыслями. «Придется раскошелиться...» — успел подумать он, прежде чем в комнату втолкнули еще одного человека, который закрыл лицо руками от яркого света и одновременно будто бы от удара или плевка. Китаец привстал на своем жестком и жестоком ложе. Человек отнял перекрещенные руки от лица, и Китайца едва не хватил удар.

— Ба... Ба... Ба... рис Ник... ик...
— Шта-а? — спросил тот с ненавистью. — Шта — «ик-ик»?
— И... и вас? Как... и вас тоже? Что происходит? Зачем вы мне звонили?
— А затем! Сладку-то ягоду ели вместе, а горькую — шта, мне одному?
— Я со... я сошел с ума! Этого не может быть! Нет, я сплю!
— Спи... Нас нет на свете... Спи. Храпи, пускай ветры! Пускай! Это называется — посмертно обгадился! Ты еще ни разу не умирал? Привыкай, Китаец!
— А... а откуда вы знаете мою уличную кликуху?
— погоди! Будет у тебя и другая! Будешь орать на весь тюремный двор: тюрьма-тюрьма, дай кликуху!
— Ничего не понимаю... — ужался в габаритах Китаец. — Ничего... — и лег спиной на лавку. — Не хочу понимать, зачем мы здесь... Что, в стране переворот?

— А красной ртутью торговать — понимал? Отвечай, скотина, понимал? — наезжал на него бульдозером дядя Боря. Он замахнулся огромным кулаком, и Китаец не успел защититься. Только и удалось, что зуб на пол сплюнуть. — Отвечай!

К побоям Китаец привык еще в уличных драках. Тут дядя Боря прочитался: побои настраивали Китайца на деловой лад, мобилизовали.

— Все торговали — и я торговал! А въехать в мурло и я могу!

— Шта-а-а?! — взревел Борис. — Повтори — шта-а-а?!

— Шта-а-а! — передразнил Китаец и стукнул Борю по пузу.

Боря легко пукнул и сел на пол.

— Ответишь! — сказал он.

Но Китаец не отвечал, он поглаживал губу языком и сплевывал на пол сукровицу. Потом поднял с пола зуб и стал его рассматривать.

Тут дверь их узилища распахнулась нешироко и в него пинком вогнали Лысого. Он тяжело пыхтел и утирал пот с лица полою располованной рубашки.

— Хайль Гитлер! — пошутил он мрачно. — Начинаем заседание малого совета. Все в сборе? Кворум есть?

В ответ он не услышал ни слова и достал из кармана пачку сигарет.

— Молчите? Ну что ж, у богатых свои причуды... Они, бывает, тоже плачут...

Некурящий с тех пор, как сделал карьеру, Китаец сказал:

— Дай-ка, Юра, закурить... Хрен с ним, со здоровьем...

— Твое здоровье еще пригодится народу, — ответил Юра и не дал подельнику табачку. — Вы что, подрались тут? Это плохо...

Снова отворилась дверь темницы, и вошел страшного вида молодой амбаловидный страж.

— Ты и ты, — указал он на дядю Борю и Лысого, — на выход!

— А я? — обиделся Китаец

— А ты — опока для литья! — блеснул остроумием и золотой фиксой в улыбке амбаловидный.

Коробьин-Христосов сдержанно встретил артистов в соседней комнате. Он укоризненно, с горечью оглядел их, обойдя кругом.

— Вы почему, дорогой Василий-тезка, блатного из себя изображаете? На кой ляд вы заехали Китайцу кулачищем по едлицу? Это не есть карашо! Надо играть — да не переигрывать... Да! Согласен! У вас есть талант, но вы неверно трактуете образ Бориса! Доходит? Вы сделали карикатуру, гротеск, фарс!

— А то, что они делают, не фарс? — едва ли не обиделся актер.

— То, что делают они, трагедия. Она лишь через десятки лет станет фарсом. Это еще хорошо, что он, Китаец-то, в шоке...

— В чем? — спросил Лысый.

— У вас все хорошо. Вы, кстати, ничем не проявились ни в хорошем, ни в отрицательном смысле... Но дай вам еще минут десять — все, стали бы изображать тосики-босики-малютки-курносики! Почему не дали Китайцу закурить? Вы же интеллигентные люди и в жизни, и в этом действе!



— Да ненавижу я его! — в сердцах сказал Лысый. — Убил бы!

— Гаси... Гаси свои эмоции... У тебя есть образ. Ты крупный демократический воротила. Это определенный лоск. Это... какие-никакие, а манеры. Это, в конце концов, школа и определенная этика поведения...

— Этика?! — возмутился Лысый, а дядя Боря поддержал его возмущение, сделав кривую улыбку на жирном лице:

— Да какая у них этика!

— Ну что? Что?! Тебе зарплата не нравится? Тебя идея нашей борьбы, коза ностра не устраивает? Чего ты глупой рыбой-то прикидываешься перед Коробьиним-Христосовым? Твою гонористость оставь для Лидусика... или кто там у тебя — пупусик?

— Лидусик, правильно, — с достоинством ответил Лысый. — Ух как мне эта прическа остобубенила! Где мои кудри? Где моя благородная седина?

— Отрастут, а пока привыкай...

Вошел Малыш с двумя почтенными казаками, с телеоператором.

— Ну что? — сказал Малыш. — Нам двух тысячников хватит?

— Достаточно, — сказал оператор. — Будет светло, как на заре цивилизации...

— Приступим?

— Валяй, — хлопнул в ладоши Коробьин-Христосов.

53.

После драчки Китаец внезапно успокоился: чем-то фантастическим представлялось ему все происшедшее, что-то не тянуло на правду жизни. Но ведь эта жесткая лавка — правда. Он встал и подошел к оцинкованному бачку. Достал оттуда распаренный березовый прут; прут — это правда, но зачем он здесь? Может быть, это дворницкая? Но Борис-то Николаич каков... Китаец потрогал расщепленную губу. Борис... А Юрий-то Минаевич не дал закурить своего «мальборо»! Да ведь он тоже раньше не курил. Ситуация, что ли, так подействовала...

Вошли люди. Народ. Избиратели. Человек с телекамерой и штативами, которые расставляли по комнате два казака с бородами, как с ВДНХ. Предводительствовал ими маленький, шарикообразный и каплевидный, ртутно-подвижный... А-а, это же Малыш, телеведущий нелегальной студии!

— Интервью, что ли, будете брать? — бодрился Китаец.

— Пункцию! — ответил добродушно Малыш. — Это ест немного польно... Ми хотель посмотреть: есть у фас спинной мозг или его нет, как ф колофе, йа... Ми фидель, как фи бадн-бадн прорупь, а это значит, што у фас окромни сдорофье. Фи тольшны фитершать! Ми фам ферим!

— Не притворяйся! — горячечно воскликнул Китаец. — Я тебя узнал: ты — Малыш...

— Та-та, Малыш-Плохиш, как писал тетушка Кайдар... Возьми его, — сказал он одноглазому амбалу, — привяжи к лавке.

Китаец воспылал рассудком:

— Эй ты, одноглазый! Не смей подходить ко мне!

— Поспорили одноглазый и двуглазый, — начал Малыш, расхаживая по камере. — Поспорили: кто из них больше видит... «Посмотри, — сказал одноглазый, — на меня, сколько ты глаз видишь?» — «Один!» — гордо отвечает тот. «Ну так вот, ты двумя своими видишь мой один, а я одним своим вижу твои два. Так кто же из нас больше видит?»

Китаец хохотнул на всякий случай, но Малыш продолжал:

— Он свой глаз потерял в Афганистане из-за таких вот упырей, как ты. А ты давно потерял свою человеческую честь, пивак, и мы хотим показать твою голую жопу всему народу. Вот эти дяди, — указал он на молодецких казаков, — будут тебя по ней примерно сечь! А что еще с тобой, гнидой, делать? Не убивать же тебя шомполами... Вяжите его!

Включилась камера; алый ее огонек словно подлил масла в огонь, пожирающий Китайца.

— Чего вы от меня хотите? Вы фашисты! — Он уже работал на камеру — на миру и смерть красна. — Чего вы хотите от честного человека? — Его руки и ноги уже были прихвачены к скамье сыромятными ремешками.

— Зачитываю документ: «Поступающая в комитет информация свидетельствует о том, что в последнее время значительно возросла заинтересованность американских и французских деловых кругов...» Обратите внимание, дорогие наши телезрители: деловых кругов... деловые вы наши! «...деловых кругов в приобретении красной ртути, которая производится на наших закрытых предприятиях в Уральском и Сибирском регионах...» Это там люди гребятся ради обороны страны, чтоб этот упырь... Снимайте с него штаны, хлопцы! А для вас, патриоты, сообщаю, что основными направлениями применения красной ртути являются: производство взрывателей для ядерных бомб, которые будут направлены на нас с вами, с легкой руки этого борова; запуск ядерных реакторов; изготовление антирадарных покрытий военной техники — той, что пойдет против наших с вами детей, жен, матерей; производство головок самонаведения для ракет особой точности... А мы разоружаемся, мы подписываем ОСВ под номером два... Вам знаком этот документ? — обратился Малыш к обмершему Китайцу.

— Не знаю никакого документа...

— Покажите подпись под документом крупным планом.

— Фашисты! — повторил Китаец. Больше ничего ему на ум не приходило. Он только воображал, как это постыдно — выставить напоказ то, что и в детстве-то старался не засвечивать.

— Друзья мои! Зрелище порки не для слабонервных. Мы высечем его...

Казачи дружно посекали розгами воздух.

— Мы высечем его и сцену порки этого подлеца аккуратно уложим в архив. Нас вынуждает прибегать к таким способам и методам действий полное бездействие Верховного суда, прокуратуры России, Верховного Совета и ваше молчание, друзья. Хватит молчать, земляки! Наши порки будут продолжаться. До новых встреч. Стоп, камера...



54.

— Я вам это запомню! — говорил Китаец, когда его с повязкой на глазах вели к авто.

— Для того и пороли тебя, мерзавца, чтоб запомнил! — ответил Мальш. — И меняй кресло... И в автобусе уступай место старикам, инвалидам и дамам! Прощай, до свидания!

55.

«Уже и косточки ее истлели...» — думал Крякутный, вспоминая Веру, пригородное кладбище в березняке. Он думал о тлении, однако не мог представить себе этого праха. Или боялся, или надеялся. Так воображение отказывается понимать бесконечность. Крякутный так и не полюбил еще московских улиц, он тщился принять их в душу, но лишь театральными декорациями, в которых приходилось играть смертельную игру, принимала их его зачугуневшая душа. Не было его дома на всей земле. Не было его женщины — ушла в небо. Не было родни — ни в пращурах, ни в детях. Не было фамилии, имени, адреса. Не было злобы, но печаль приступала, как океан к малому островку, и было от нее два спасенья: разборка и сборка гладкоствольного КС-23 или бродяжничанье по улицам. В карабине он любил это легкое движение цевья для перезарядки, ему нравилось, что магазин находится под стволом, что приклад откидной и есть пистолетная рукоятка. Многие одинокие ищут забвения в любви к оружию, страстно любят одно и презирают другое. Этой страсти не мешают женщины, однако те красавицы, которых поставлял на пирушки Боря Бордадым, которые не интересовались ни именем, ни фамилией, ни национальностью, ни привязанностями очередных партнеров, только пробивали брешь в броне, в коконе из брони, где находилась, как Кащеева жизнь, душа Крякутного. Он понимал, что если расслабится, то влюбится в одну из очередных и всю свою усталость взвалит на нее, и оба они погибнут под тяжестью рухнувшего голема из несбыточных, туманных, оживших после анабиоза надежд Крякутного. И он шел к кухонному столу: он любил карабин и видел его преимущества перед автоматом. Гладкий ствол — это пуля, картечь, резинка, контейнер со слезоточивым газом, газовый патрон, в конце концов сигнальная или осветительная ракета. Отлично. Собрать-разобрать вслепую. Отлично. Крякутный представлял себе уличные бои и учитывал, что убойная сила у карабина держится лишь пятьсот метров, а у автомата — несколько верст: кто под нее подставится, бог весть... Плюс рикошет: пуля, пущенная из карабина, рикошетит меньше автоматной. Плюс точность поражения: если стрелять картечью, то одновременно из улья вылетают двенадцать пчелок, и пробивная сила этих пчелок — до ста метров. «В городе больше и не надо, верно, Крякутный?» — «И то, товарищ командир, совершенно верно! Так точно!» — «Но ведь карабин не стреляет очередями?» — «А скорострельность, товарищ командарм, достигается тренировочками!» — «Молодца, Крякутный!» — «Рады стараться, вашблагородь!.. Есть у карабинчика и недостатки, но у какого, скажите, оружия их нет? Вот

надо мне вышибить замок в двери, ваше благородие...» — «Зачем?» — «Ну надо... наприклад, так?» — «Так...» — «Пуля от автомата в двери ма-а-ахонькую конопушечку оставляет... да еще и в коридоре от стенки к стенке будет сутки кувыряться...» — «Сутки?!» — «Виноват, минуто... Сутки я для образности речи... Так?» — «Так...» — «А из карабинчика — хлоп, и замочек аккуратнo вылетает!» — «Отлично, Крякутный!» — «Служу Советскому Союзу!» — «Дык... Нет, сказывают, Советского-то Союза, Крякутный!» — «Как так, сел да упал? А Америка есть?» — «Есть, Крякутный, Америка...» — «А, извиняюсь, Франция есть?» — «И Франция, извиняюсь, есть...» — «И даже Финляндия?» — «А куда ж ей, мамке, деваться!» — «Тогда, разрешите обратиться, где же мы?» — «А там же, где и Сигайлов!» — «Какой Сигайлов, господин полковник?» — «Молча-а-ать!» — и сказке конец.

А вот «помпу» бы, хе-хе! Помпочку бы, ха-ха! Восемнадцатого бы калибра, а? Или новенький А-91? Там не надо палить по колесам, к примеру, авто: саданул в задний мост — и приехали. Такой вот автоматик с девятимиллиметровыми птичками... И левый бы затвор хорошо...

Идет Крякутный в районе улицы Профсоюзной, метро «Пролетарская». Видит — возникает над синим «фордом» паренек с уголком и обрушивает его на крышу авто раз, другой, третий.

— Ненавижу тебя, Америка! Не — раз — на — два — ви — три — жу!..

Крякутный — туда, толпа — туда, ловцы. И подхалимы, зеваки и сыскари, космополиты и патриоты, азербайджанцы, китайцы, итальянцы, негры, дети из приютов и элитных гимназий — все туда, а оттуда три-четыре воробья, пара голубей и три разнокалиберные собачонки, ничего не понимающие в данной политической обстановке, а оттуда — вопль простоволосого паренька:

— Ненавижу! Тебя! А-ме-ри-ка!

«Форд» выл, мычал всей своей сигнализацией. Паренька еще не успели смять, и он пожалел мычащего. Подошел к витрине коммерческого киоска и раскатил в крошево витрину. Тут его смяли посреди тупо сочувствующей обеим сторонам толпы, успели попинать, пока не подспела русская тройка патрульных. Его повели. Кто-то из толпы протянул пареньку испачканную в грязно-соленом снегу шапку. Он взял шапку, утер кровь с лица и швырнул в толпу — толпа ахнула, и милиционеры снова вздыбили крушителю руки за спиной. Один из коммерсантов, чей киоск ослеп на одно очко витрины, изловчился хитро забежать между ментами и дать пареньку пенделя.

Крякутный срезал угол через небольшой пустырек и ждал тройку с задержанным у милицейского автомобиля.

— Ребята, отдайте мне его!

— Документы! Предъявите ваши документы!

— Ты кто такой?

— Личная охрана президента, — сказал Крякутный и удостоверил слова книжицей.



Блюстители нравов смялись.

— Дак... это... нужно протокол составить... То-се...

— Протокол составим в машине, — сказал Крякутный.

— Ну... годится, — согласился капитан.

— Не-е-ет! — возопил коммерсант. — Это одна шайка!

— Иди сюда, — попросил его Крякутный. — Глянь. — В левой руке его светилось удостоверение. — Ну?..

— Что ты мне бумажки в глаз суешь?! — двинулся на живца коммерс.

— Почему же — бумажки? — удивился Крякутный и по-крестьянски заехал тому в глаз с правой. Коммерсант упал. В нем что-то булькнуло.

56.

— Так не бывает... — сказал паренек, когда они с Крякутным вышли из милицейской «Волги» на Арбате. — У нас так не бывает...

— Чего не бывает? — поинтересовался Вадим-Александр.

— Вы кто? Куда вы меня?

— Да успокойся ты! — пнув по дороге пустой пакет из-под молока, мрачно сказал Вадим. — Сказано тебе — личная охрана президента... От меня, брат, не уйдешь, пока я сам не отпущу... А держать я тебя не собираюсь силком... В армии служил?

— Естественно...

— Хорошо, что естественно. Для многих это неестественно... Какие войска-то, если не секрет?

— Да какой секрет? Вы меня что, тоже в охрану... этого самого? Я — не-ет... Я танкист.

— Невеста есть?

— Была... Вся вышла...

— Замуж вся-то вышла?

— Вразнос пошла. Денег захотелось на дурика...

— Красивая?

— Слушай, отпусти меня, а?

— Вот шапку тебе купим — и плыви, дерьмо, по течению...

— Кто — дерьмо? Я — дерьмо?

— А что ж? И невеста от тебя ушла, и морду тебе набили...

Паренек остановился, смерил взглядом Крякутного с ног до головы, не зная, кидаться в драку на шумном Арбате или нет. Потом посмотрел на перспективу этой цветистой барахолки с мрачным спокойствием и спросил:

— А они — не дерьмо? У меня дед-фронтовик умер, сорок дней сегодня... Он что, не заработал себе на старость, чтоб теперь по его костям на иномарках разъезжали? Ответь, президентский пес, на фиг мне твоя шапка! Дед от инфаркта умер, а они тут!..

— Спокойно! — растирая ногой заморский окурок на брусчатке, сказал Крякутный. — У тебя есть характер. Ума наберешься, когда займешься делом. Ты где живешь? — Он тронул парня за локоть, как трогают вожжами лошадь. — Пошли.

Пошли.

— Живу-то? Живу там, где хрен поймают! И ты не поймаешь — под Москвой живу.

— Не такое уж Подмосковье большое, чтоб не поймать такого горячего парня. Тем более, я знаю, что от тебя ушла невеста... и сорок дней как умер дедушка...

— «Дедушка», ты сказал?

— Дедушка.

— Спасибо тебе...

— Не понял?

— Да я его все — дед да дед... Нет, чтоб — дедушка!.. — Паренек замедлил ход. — Купи пива, земляк-спаситель!

— Сначала шапку. После пива в пот гонит, а ты мне нужен! Хотя ты и в Подмосковье живешь...

— Да не в Подмосковье я, а под Москвой, под городом, как есть...

Тут встал и многомудрый Крякутный; он теперь окинул паренька взглядом с ног до головы, а во взгляде светился самый живой интерес. Повеселели глаза Вадима Крякутного, потом он громко, басисто, радостно захохотал, говоря:

— Ну, спасибо и тебе! Ох, братишка, спасибо!

— Не понял? — насторожился тот.

— Милый ты мой шкет, если б ты знал, как меня порадовал!

— Чем, дядя?

— Не знаю, родной, ей-богу, не знаю!..

57.

Из газет: «Оружие частные следопыты и телохранители пока достают полулегальными или нелегальными путями. С 1 июля предполагалось вооружение лицензированных граждан со складов органов внутренних дел. Судя по документам, милиция предлагает следующий арсенал: 9-миллиметровые пистолеты Макарова с боеприпасами, газовые пистолеты и боезапас к ним, слезоточивые средства, бронежилеты, наручники, щиты, каски, резиновые дубинки. Любое самостоятельное вооружение будет признано незаконным, приобретение и ввоз оружия из-за границы, даже при условии регистрации его в милиции, не будут поощряться.

Сыщики и телохранители обязаны будут внести залог в сумме 60 тысяч рублей, который будет возвращаться при сдаче оружия... Сроки вооружения частных детективов откладываются на неопределенное время».

58.

...Бросок захватом ног сзади — бросок через голову — бросок через бедро — задняя подножка — передняя подножка — бросок через спину — обыск в упоре у стены — обыск в упоре согнувшись — обыск группы пленных в упоре у стены — связывание брючным ремнем — связывание веревкой — конвоирование... Повторим!

Поутру в огромной Ларисиной постели Ирина Степановна так крепко поцеловала Вячеслава Палыча, что после он сказал:

— Э-э... — и покраснел от прилива всякого разного.

Ирина же Степановна сказала:

— Что за безмозглой мысли знак?

— Как? — удивился Вячеслав Палыч и стал искать «президента», словно рассчитывая на помощь очков в затруднительном положении.

— Что за «э-э», вопросительный знак?

— Котелок не варит, — успокоился Вячеслав Палыч, найдя очки.

— Я тебя, Вячеслав Палыч, люблю, а ты на войну собрался!

— Эй, любовники, сварите кофе! — внесла предложение Лариса. Она лежала на спине и смотрела на люстру. — Вячеслав Палыч, вспомни: ты деньги в люстру не совал? Что-то палеными деньгами пахнет!

— Ой, мне завтра в гимназию! — подала заботу учительница.

— Гимназисточка ты моя! — приласкал ее Пётр.

— А мне война снилась из-за тебя, Вячеслав Палыч... Новая какая-то... — говорила счастливая Ирина Степановна. — Все детей бьют, бьют... то уши у них обрежут, то еще чего-нибудь... Так страшно! Не ходи никуда...

— Надо...

— А давай лучше при всех...

— При всех? Никогда!

— Поклянись, что ты будешь себя беречь!

— Клясться грешно, Ирина Степановна! Дай я тебя поцелую, девонька!

— Вячеслав Палыч! — окликнула Лариса. — У тебя друзья есть?

— Я подумаю, — пообещал реактивный Вячеслав Палыч, когда раздался звонок в дверь.

— Петя, сбегай! — сказали женщины.

Жена предостерегла:

— Ларискин халат накинь, радость ты моя!

В гостиную-залу-спальню Пётр вернулся в сопровождении оправдана, участкового и еще незнакомой Ларисе чернявенькой женщины.

— Здоровеньки ночевали! — сказал оправдом Рыбин, широко и очень фальшиво улыбаясь. — Как настроение?

Милиционер со скучающим видом рассматривал рваный носок Вячеслава Палыча, из которого торчала пачка ровненьких сотенок. Чернявенькая искала что-то в своей чернявенькой же сумочке.

«Диктофончик включает, — догадался Вячеслав Палыч. — Она, стало быть, долгожданная!»

— Что? — спросил он. — Кнопочку заело? Давайте почию!

— Какую кнопочку? — строго ответила чернявенькая. — Кнопочку...

— Застежку, я имею в виду, — уточнил Вячеслав Палыч.

Весь этот разговор длился полтора десятка секунд. Наступила еще более короткая пауза, потому что вступила в действие Лариса, спросив всех пришедших, но не меняя при этом кошачьей уютной позы:

— Чем обязана?
 — Кто эти люди? — поинтересовался участковый. И получил ответ:
 — Разные... Кто жених, кто невеста, кто муж, кто жена — гости, одним словом. Всё?

— Нет, не всё... Не сердись, Лариса... Тут рвануло ночью, а... Словом, одного в клочья, а другому правую руку на хрен оторвало. О, извините, сорвалось, — поклонился он чернявенькой. — А соседи говорят, что эти двое горцев пьянствовали у вас... Что скажете?

— А это кто? — спросил Пётр, кивнув на чернявенькую.

— Это журналистка, — улыбался управдом. — Она пишет.

— Так это те двое? — ужаснулась Лариса. — Эти двое веселеньких, которые спустились с гор?.. Арчил, Гоги... Какая незадача!

— Пассаж, просто пассаж! — скорбно сказал Вячеслав Палыч и почесал за ухом Ирине Степановне. — Слышала, Ирина?

— Так рвануло — кто ж не слышал. Боже мой!

— А вы тут под одним одеялом! — укоризненно, но не прекращая улыбаться, сказал Рыбин — душа-человек.

— Господи! Да и вы ложитесь — всем места хватит: холодища-то в квартире, чувствуете? Вот собрали всех, кто погорячей, и под одеяло!

— Давайте ближе к делу! — поморщился участковый. — А то не выдержу и лягу! Все осточертело, извиняюсь...

— Так чего же вы от нас — от меня, от моих гостей — хотите?

— Вот лично я, поэт Вячеслав Месорубкин, чем могу быть полезен?

«Вот ты-то мне и нужен, крокодил нильский!» — подумала Галия и включила диктофон. Ей не нужна была дешёвая протокольная информация, ей нужен был этот летучий голос длинного — для идентификации телефонных разговоров, для тавра.

— Итак, — сказала она, — расскажите, как все было, с самого начала...

— Ну... Они застряли... — рассказывал Вячеслав Палыч Месорубкин. — Я вышел и предложил им рубить канаты. Они ж не совсем озверели от денег!

— При чем здесь деньги?

— К слову пришлось...

— А в носке, — спросил участковый, — чьи денюжки?..

— Мои денюжки... Я продолжаю.

Через час-полтора после ухода визитеров Крякутный знал, что Габдрахманова при деле. Однако Бордадыма держал без информации, чтоб не путался под ногами.

60.

— В понедельник будет готова кассета?

— Это другой разговор... — сказал Крякутный тогда, перед поркой Китайца. Его уже не занимало угадывание и предсказывание ухабов, ям и вскидок на пути демократической тройки, неверно впряженной в оглобли: он, Вадим Крякутный (Сигайлов, Лазарев, Серостанов — и тэдэ),



разуверился в том, что его труды используются таинственным окружением Бордадыма во благо России — в стране царили жулики. Иногда за бритьем Вадиму хотелось снять кожу, как маску с лица, и увидеть в зеркале Сашу Сигайлова, и он закрывал глаза и брился вслепую. Или закрывал по самые очи низ лица и долго вглядывался в зеркало. Глаза в глаза, они были своими. Своими были глаза и Бордадым. И хотя Вадим продолжал выдавать прогнозы возможных политических баталий, делал это он все холодней и бесчувственней только потому, что не решался порвать с Бордадымом, как с единственной надеждой на возвращение к жизни Сигайлова, порвать единственную ниточку-паутинку, которая привязывала его к родным берегам. Вадим завидовал эмигрантам иных лет: они носили свои имена, они могли указать на горизонт кучеру, или этуали, или полисмену и сказать — там мое отечество, Россия, когда-нибудь я вернусь туда, хоть мертвым, хоть летучей душой, облаком... Понятно, жабоеды?! То-то же...

А тут... В России нет России. Нет имени-отчества. Лица, семьи, дома. Только оружие. Отлично собрать, быстро разобрать, смазать, протереть, навести глянец, поцеловать приклад и ждать у моря погоды. Бордадыму не нравится, что мозговая сила Вадима желает демобилизации, что он решил партизанить в городе, что рванул машину с габдрахмановскими послушниками.

— А если б невинные люди пострадали?

— Нич-чего не знаю, — отвечал Вадим. — Уверен только, что те, кто сотворил теракт, пользовались радиомаячком и удачно выбрали время...

— Сотвори-и-ил! — подчеркнул, кривя губы, Бордадым. — Тера-а-акт! Сотворить бы вам всем хакакири! Скажи, кто непосредственно — кроме тебя — участвовал? Они мне будут нужны...

— И знать не знаю, и ведать не ведаю...

— И-эх! Карму отягощаешь, борзеешь, становишься убийцей уже всерьез! Одному верю, что впрямую ты не убивал, а руку приложил — это без сумления... Не время, Сашка!

— Я не Сашка.

— Да ладно тебе! Мы вдвоем...

— Хоть и вдвоем... Я — Вадик Крякутный, имею честь.

Бордадым сделал мину полного недоумения:

— И это ты! Мне! Не веришь?!

— Я не барышня — верить или не верить.

— Мне, который...

— Борька, дай я тебя, хитреца, обниму, а? Отвяжись-ка от меня со своим пафосом, а?

— Я не барышня, чтоб меня обнимали! — едва ли не со слезами на буркалах ответил обладатель неизвестного ныне чина, бывший капитан Бордадым, но встал и обнял друга. — Ты же знаешь, Сашок... Нет у меня тебя дороже... Мы победим, Шурка...

— Обязательно, — садясь, подтвердил Крякутный; в руках его был диктофон Бордадыма. Он включил перемотку, потом звук.

— «...а руку приложил — это без сумления...» — утверждал диктофон.

— Ну ты и специалист! — хохотал Бордадым.



— Держись у меня! — хохотал и Крякутный. — Знаем мы ваши штучки! Вот на хрена тебе это, ответь?

— Да для твоего же блага, дурашка! Чтоб держать тебя в узде, расстригу! Понятно?

— «Сотворить бы вам всем харакири...» — пожелал диктофон, прежде чем вернуться в карман Бордадыма.

Простились, обнялись, уговорились сечь Лысого — разработка операции на Крякутном.

Вечером, отсмотрев тошнотворные новости по тиви, Крякутный пошел к отцу Науму: почти два года тому отец получил приход в столице.

61.

— Стало быть, сын мой, ты скорбишь о мире, об Отечестве... — помолвившись у иконостаса, сказал отец Наум, белолицый, рыжебородый, легкий в поступи и голосе. — Скорбь о нем возможна истинная, святая, боголюбезная, но бывает она и темной, мутной, душевной...

— А вы не скорбите, отец? Ваша скорбь какова, скажите? Люд русский вымирает, оскудевает душой, его убивают, грабят, растлевают — где церковь? Снова сохраняет себя в коллаборационизме с властями? Вспомните полковых священников... Они с крестом — впереди войска... Где ваши пастыри? «Где же Ты, Господи... вскую оставил мя еси?!»

— Садись, — указал отец Наум на жесткое кресло. — Садись, солдат. Садись и слушай, коли имеешь уши. Кто не желает слушать, тот истинно глух... Напрасно некоторые думают, что духовник такой же несовершенный человек, что ему все надо объяснять, а иначе он не поймет, что он нуждается в объяснениях. Возражающий и исправляющий духовника человек ставит себя выше последнего... и уже не ученик...

— Я... — начал было Вадим, но махнул рукой, потом ею же перекрестился, говоря: — Простите, отец Наум, прости меня, Господи...

— Никто из людей не совершенен, скажу я в продолжение нашего собеседования. Нет человека, который дерзнул бы учить, как власть имущий Христос, ибо предмет учения не «от человека» и не «по человеку», но в «скудельных сосудах» хранится бесценное сокровище даров Духа Святого, сокровище не-от-кры-ва-е-мо-е, и только тот, кто идет путем неложного и полного послушания, проникает в это тайное хранилище... Что касается православной церкви, то она томится глубоким жалением и всем народам земли просит у Господа Бога милосердия: попробуй понять это, сыне... Любящий Бога уходит от мира и зачастую погружается в некоторый духовный эгоизм. Словно бы, равнодушный к жизни мира, он спасает свою душу... Страстно любящий человеческий мир живет его страданиями. Нося в себе скорбь о мире, он восстает на Бога, считая его виновником тех страданий, которыми, как слезами и кровью, залит весь мир. Он восстает иногда до сильной вражды. Так вот, сын мой, та и другая любовь должны в человеке слиться воедино, как во образе Христа: торжествующая в вечности, любовь страдает в нашем мире греха... Ты снова убил?



— Боюсь, что убью еще... Наверное, я не убийца, я — мститель за поругание человека в его собственном доме... Как бы попроще-то... Нет, сам я не убивал. Словом, батюшка, говорите, спасайте...

— Я не скажу ничего нового. Все, кто последовал нашему Господу Иисусу Христу, ведут духовную войну. Этой войне святые научились долгим опытом от благодати Святого Духа. Дух Святой наставлял их, вразумлял и давал силу побеждать врагов, а без Духа Святого душа не может даже и начать войны, потому что она не знает и не понимает — кто и где ее врази... А сражение наше идет каждый день и час... Старец Силуян говорил: «Мысль о слабости христианства глубоко неправильна. Святые обладают силою, достаточною для господствования над людьми, но они идут обратным путем: они поработают себя брату и через то приобретают себе такую любовь, которая по самой сущности нетленна. На этом пути они одерживают победу, которая пребудет вовеки, тогда как победа силою — и примеров тому в истории достаточно — никогда не бывает прочна и по роду своему является не столько славою, сколько позором человечества...» Ты идешь по бесславному пути, Вадим. Ты полагаешь, что если действуешь согласно заповеди, то потакаешь врагам своим, что на любовь твою они ответят злом и бесстыдством, так?

— Истинно так, отче...

— Ищи от Бога благодатной помощи. Без благодати тебе не получить и дара любви к врагам своим...

— Но как я приду к Богу?

— Бог сам ищет человека, прежде чем человек разыщет его. Как будешь искать то, чего не терял? Как будешь искать то, чего не знаешь во все? Но душа знает Господа и потому ищет его... Потому ты сейчас у меня, грешного. Советую тебе: молись. Святые слышат наши молитвы, сыне...

«Нет, — думал растерянно Вадим. — Я урод, я одержимый, я не могу любить их, этих свиней под дубом... Я солдат, прости меня Господи... Просвети же мой разум, наставь на путь, Господи! Кто я? Зачем, коли на все Господня воля, Ты призвал меня на этот путь, где я полюбил оружие?»

62.

«Кипарис» ПП-90, А-91 — револьвер, винтовка, автомат бесшумного боя. Вот бронежилет — он слишком тяжел, но автоматный выстрел держит в упор...

...Прямой удар снизу... скрученный... ребром ладони сверху наотмашь... сбоку изнутри... верхний блок... средний блок наружу... внутрь... Родина в опасности!

63.

— Изыди! — Священник подобрал рясу и дал ходу.

Саша засмеялся ему вслед, закурил и пустил тугую струйку дыма.

— Кайся! — издали прокричал отец Наум.

— Обязательно! — ответил Саша. — Сейчас же, туточки!..

Глуп человек. Глупы люди. Глупо стадо. Где пастыри?..

Из донесения на имя Габдрахмановой Г. Г.: «Мои наблюдения за В. Месорубкиным не дали каких-либо результатов. Более того, я установил, что он кутежник и пьяница. В течение семи дней, которые он находился под наружным наблюдением, путь его выглядел так: ровно в восемь утра Месорубкин выходит с Эльдорадовской, помогая И. С. Чуватиной, сотруднице музея, сойти с крыльца; весьма галантно, с полупоклоном он протягивает ей руку и принимает ее, Чуватину, через три ступеньки до асфальта. Далее они идут к коммерческому киоску, где покупают немецкое пиво баночное; одну банку он кладет в кейс, вторую опорожняет тут же, за киоском. При этом И. С. Чуватина глядит на этого разгильдяя с невыразимым словами восторгом. Потом они останавливают такси или частника и едут в музей, где искусствовед Чуватина получает свою зарплату дважды в месяц. Проводив свою пассию до места службы, В. Месорубкин пьет с алкашами вино в баре возле военно-воздушной академии, он ораторствует пред ними, говоря примерно следующее:

- а) что уходит на задание по свержению ненавистного оккупационного режима демократов;
- б) что народ скоро проснется;
- в) что ему, Месорубкину, давно хотелось настоящего мужского дела;
- г) что потомки поставят ему памятник на освободившемся из-под Ф. Э. Дзержинского постаменте;
- д) что любит баб, а они его;
- е) что на спор может выпить ведро пива чешского; и прочую ахинею.

В пять вечера он встречается И. Чуватину у музея, и они едут пить к друзьям или в ресторан Центрального дома литераторов.

В ресторане ЦДЛ его знают, целуют, обнимают, клянчат деньги, которых, по слухам, у него раньше сроду не бывало. Там он заносчиво читает свои стихи патриотически-комического толка.

Если он сотрудник противостоящей нам стороны, то сотрудник не-лепый и неумелый. Предлагаю наружное наблюдение снять — в связи с никчемностью разрабатываемого объекта...»

— Узнаю почерк Бордадыма! — улыбнулась Галия. — Таким образом он водит меня за нос, лапонька... Вы за собой хвоста не обнаружили? — спросила она филера, который, скучая во время читки донесения, строил домик-колодец из спичек. Вопрос прозвучал, филер вздрогнул, домик рассыпался.

— За мной? Хво-о-ост? — сделал он глубокий вдох и сапанул носом. — Простудился я с этим долговязым... — высморкался задумчиво и неспешно, глянул с легкой брезгливостью в комок носового платка. — Нет, — сказал. — Не примечал. Опыт, как вам известно, у меня приличный...

— Ну-с, будем надеяться, как сказала гимназистка генералу в первую брачную ночь...

Филер понимающе присвистнул, хмыкнул, кашельком прочистил глотку и сказал:



— Вот сволочи! — и кивнул в сторону окна, за которым необозримая людская река текла к Моссовету, надеясь на что-то не хуже гимназистки. Как пеленки человечества, выброшенные на просушку, по ветру бились разноцветные знамена.

65.

— «Филер привел нашего человека по адресу... Было около пяти вечера, в девятнадцать же ноль-ноль из парадного вышла Г. Габдрахманова. Она остановила такси возле “Детского мира” и была такова. Факт ее принадлежности к интересующей нас конторе, таким образом, подтвержден...» — читал Бордадым. — А никто и не сомневался... Знает полено, где к бережку прибиться!

— Ты где эти поговорочки отыскиваешь? — поинтересовался Крякутный.

— Подследственные снабжают, — ответил не мешкая Бордадым. — Месорубкина срочно прячьте. Галка не дура: ухватит его за ноздрю-то — и в стойло. А там уж он замычит, хоть и герой. А теперь ознакомься с историей болезни Галкиной прабабки. Почитай и рассуди: может ли человек с такой наследственностью работать в органах безопасности? Бери читай... и не надо вот делать такую мордашку, чистолюй недотравленный... Бери и читай! Ненавижу, когда ты вот это... двумя пальчиками, как курсистка... ух, блин! Все-то ты мне одолжение делаешь!

— Да успокойся, экселенц... Прими шпионскую таблетку для самообладания — и октись...

— Таблетку... Мне с тобой надо таблетку такую, что всему пионерскому лагерю «Артеку» за три сезона не смолотить... Читай давай, грамотей!

— Вслух?

— Валяй. Мне эта прабабка — бальзам на грешную душу...

— Слушай... — Крякутный пробежал глазами начало текста. — Так тут не про прабабку, а про прадеда!

— А умная бабка вышла бы за такого деда? Валяй про пра...

— «Капитан Габдрахманов Г. И. родился в 1859 году. В 1887 году перенес шанкр. Начало болезни, по словам самого пациента, относится к 24 декабря 1890 года; но несомненно, что продромальные симптомы существовали уже раньше, так как, по словам окружающих, капитан, бывший вообще человеком умеренным, усиленно начал мастурбировать и много пить вина, чем привел в замешательство и шок свою жену, с которой он не жил уже более пяти лет половой жизнью, ссылаясь на морскую болезнь».

— Морская болезнь! — загоготал Бордадым. — Каково, а? Во родова, во племечко!..

— «Ушиб, полученный при падении с лестницы, в появлении болезни...»

— С лестницы обнулся во время мастурбации!

— «...болезни играть роли не мог, хотя сам больной придавал этому падению решающее значение...»

— Во косило так косило!

— Не перебивай, а...

— Все, все! Читай, читай! Дальше — больше!

— «...значение. Болезнь началась небывалыми ранее ошибками в отчетах, приступами головокружения...»

— ...от успехов! — ввернул, гогоча, Бордадым.

— Возьми и читай сам! — подал ему ксерокопию древней истории болезни Крякутный. — Это ведь ты, читая, не думаешь, а я думаю!..

— Не обижайся, кума, я така же сама. Все. Молчу. Прошу снисхождения. Я дурак — ты вумный, я без тебя, как дом без крыши, как цветок без лепестков, как ворона без сыра... Читай же, господин Крякутный!

— «...головокружения. 10 апреля 1891 года во время сильно жарких дней плавания в теплом климате у Г. появился приступ возбуждения. Г., по свидетельству господ офицеров, называл себя богом, Пушкиным и далай-ламой, он строил планы, писал стихи, выбросил за борт лампы, стрелял из револьвера; наконец, был заперт в каюту. Со своего корабля Г. убежал на английское судно, пришедшее за письмами; это судно доставило его в Dover, где он мотал деньги и пьянствовал, пока не был отправлен в Гамбург и помещен в психиатрическое заведение Фридрихсберг. В больнице отмечены следующие соматические признаки: легкое дрожание языка, парез правого *facialis*, правый зрачок шире левого; быстрый разговор сопровождается проглатыванием букв; кожные и сухожильные рефлексы повышены; Romberg; несколько неуверенная походка. В психиатрической больнице продолжалось сильное возбуждение и грандиозный бред величия. В августе 1891 года больной признан неспособным; с этого же времени в больном проявляется сознание своей болезни, начинается постепенное улучшение, и 12 декабря 1891 года он настолько поправляется, что можно было говорить о ремиссии. Левый зрачок в то время был шире правого, имелся *ptosis dekstra*. 20 июля 1892 года больной был выписан ввиду очень хорошего психического состояния. Умственная деятельность восстановилась вполне, можно было заметить некоторую слабость иннервации в лице, не совсем свободную речь, сопровождающуюся дрожанием лицевых мышц, несколько повышенное самочувствие. Больной в период улучшения выучился стенографировать...»

— А Галка все на диктофон, на диктофон... вырождение!

— «...и сделался самостоятельным членом общества стенографов, поступил в общество шахматистов, успешно участвовал на морских учениях в Киле, написал воспоминания о своей болезни, где говорит, что многое с ним происходившее ясно пришло ему на память после, когда он поправился. 28 ноября 1893 года суд признал его способным и освободил из-под опеки жены. Но уже с декабря 1893 г. снова наступило ухудшение, и 10 мая 1894 года он снова был помещен в психиатрическое учреждение, уже в России. При новом исследовании зрачки найдены равными и без световой реакции, Romberg'a нет; походка нормальная. Больной обнаруживал смесь кататонических явлений с бредом величия и с ипохондрическими явлениями. В 1895 году: неопрятность, слабоумие, левосторонний паралич. В 1896 году появились пролежни, контрактуры; 8 ноября 1898 года *exitus letalis*. Данные аутопсии: сильное утолщение и помутнение *pia mater*... на выпуклой поверхности мозга...»



— Хорош! — прервал Бордадым. — Ну, каково? Это серьезный документ, и мы ее с этой ветхозаветной историей ознакомим в скором времени. А, Вадюшка? Есть резон, милый, аль как?

— Ты атаман — тебе видней, — отвечал Крякутный. — Меня иногда мутит от нашей работенки...

— А ты пей шпионские таблетки! — посоветовал немедленно Бордадым. — Оно, тошниловка-то, развеется, аки пыль на ветру... Ну что, в покерок перебросимся или свои минометы будешь пестовать?

— Я уж, однако, минометами займусь. Потом уеду в Тулу, подамся в оружейники: вот страсть настоящая!

— Эх, черная кость в тебе так и просвечивает! Нельзя путать любовь и страсть, Сашка-Вадим... Вот Лысого страсть сгубила. Что у нас с Лысым? Прием!

— Вторник следующей недели, — сказал Вадим, вставая на ноги и разминая суставы. — Как прошлая порка?

— Э-э, брат! Народ радуется, как дети! — потер руки Бордадым. — Запросов — тысячи три только, а умножь на количество зрительных мест — это результат! Христосов — гений! И ты — тоже гений! Лысого посадим в бочку с дерьмом, а уж потом — порка. И, пожалуй, шомполами, шомполами!..

— Шомполами не надо, — сказал Крякутный. — После шомполов больница, а ему важно скрыть факт порки. Пока он это будет скрывать — он наш...

— Принимаю возражение, — согласился Бордадым и нарочито пристально глянул на Крякутного. — Молодца, с головой у тебя в порядке, как встарь! Соснов тебя не узнал?

— Такой информации не имею.

— Ну как думаешь-то — узнал, нет?

— Не знаю, голубчик, не знаю, Боря. Соснов — темный лес, там лучше не бродить с прогулками...

66.

— Мотор! — скомандовал Мальш. — Стоп!.. Значит, Анатолий, вам понятно: еще раз, более внятно сравнительный анализ!

— Понятно, — кивнул Соснов. — Поехали...

— Мотор! — Пауза. — Иной зритель скажет: вы просто противники рынка! Так скажет тот, кто воспитан нашей депрессией. Будет ли он прав? Нужны ли нам товарные биржи и биржи труда?

— Наблюдая фортели нашей экономики, так называемый цивилизованный мир, наверное, завидует возможностям беззастенчивого обмана: у нас еще в прошлом году было создано более четырехсот товарных бирж, а во всем остальном мире их и сотни не насчитаешь. Да, у нас одна шестая часть суши, у нас много сырья, у нас спекулянтско-торговый энтузиазм. Но! Товарные биржи — это далекое прошлое забугорного мира. Сегодня связи между предприятиями западных стран налаживаются с помощью долгосрочных договоров, западные экономисты — за планомерное хозяй-

ство! По планам же реализуется продукция населению. Тут и нужен маркетинг, чтоб уравнивать спрос и предложение на пять и более лет вперед — это наши уроки, не смейтесь!

— Я не смеюсь, — сказал Мальш. — Я чему-то радуюсь...

— Примером плановости экономики может служить Швеция и Южная Корея, которая заканчивает сейчас шестую пятилетку, а среднегодовой темп экономического прироста в Южной Корее составляет более десяти процентов. У нас же за прошедшие девять месяцев буквально наоборот: спад на десять процентов. Вот вам и весы! И не в храм цивилизации нас тянут, а в хлев, как удачно выразился один из моих коллег... Да и Джон Гэлбрейт, один из самых крупных западных экономистов, высказался весьма решительно. Он сказал: «Глубоко неправы те, кто легковесно советует возвратиться к экономике свободного рынка по Смиуту. Такой экономики нет на Западе, и мы ее не хотели бы иметь, а если бы имели, то не выжили бы». Вот его слова. А у нас на тиви навязывают молодежи цикловую передачу «Мир денег Адама Смита». Смит интересен для экономистов-школьников как ученый, не более того. Цивилизованный же путь экономики — в укрупнении собственности, а не в дроблении ее, как это нам активно навязывается средствами массовой информации. Цель этой кампании, на мой взгляд, одна: сломать хребет ослепленной России. Кто мне не верит — убедится в этом со временем. У меня все.

— Благодарю вас, Анатолий Сергеевич. Мы получаем очень лестные отзывы о ваших выступлениях в «Телемолнии». Еще раз благодарю. Следующий наш сюжет — порка вора. Сейчас вы его увидите... Стоп! — Мальш мячиком, упруго выскочил из-за столика. — Василий, ну как?

— Чуть суховато, но... такова тематика, — вошел в студию Коробьин-Христосов. — Достаточно популярно... Хорошо и точно акцентировано. Спасибо, номер есть!

Соснов неуклюже доставал из пачки сигарету:

— Позвольте?

— Да на здоровье, если есть время! — поднес ему огня Мальш. — Василий и сам не дурак покурить. Это я да Крякутный бросили.

— Крякутный — это... Вадим?

— Вадим, да, Вадим...

— А он сейчас в студии? Хотел кое о чем его спросить. Конфиденциально...

— Позови Вадима, — обратился Мальш к одноглазому охраннику.

Охранник вернулся и сказал:

— Пройдите на кухню, товарищ Соснов. Я провожу.

— Такая большая квартира? — прощаясь со всеми за руку, удивился Соснов. — Апартаменты...

— Зимняя, — подмигнул ему Мальш.

Когда на кухню вошел Соснов, Крякутный полуобернулся от стола, заваленного свежими газетами.

— Я слушаю вас, — сказал он и уже потом встал для рукопожатия. — Чем могу быть полезен? Пристрелить кого? Высечь?

— Где у вас пепельница? — осмотрелся Соснов. — Нет?



— Найдется... с достославных времен юности... — ответил Крякутный, нашел на посудной полке и подал просителю огромный рапан. — Курите, садитесь вот сюда, к окну — там удобно. Я, например, не могу сидеть спиной к входной двери, а вы?

— Тоже не очень уютно себя чувствую. Итак... Можно вопрос? — Его черные глаза подернулись матовым.

Крякутный встал у двери, расставив ноги и скрестив руки на груди. В вырезе черной спортивной майки светился серебряный нательный крестик. Крякутный поймал взгляд Соснова, опустил голову, чтоб увидеть крестик, и пощипал волосы на груди. Потом сказал:

— Я догадываюсь, о чем вы хотите спросить.

— Так да или нет?

— Я и сам не знаю, Толик...

При этих словах Соснова словно подбросило, он вскочил, борода его затряслась и в черных глазах блеснула влага.

— Сашка! Милый Сашка! — И он заплакал, пытаясь сохранить лицо неподвижным, он искал платок, рукой утирал усы и бороду. — Сашка, это страшно... Сашка, я ведь не узнал тебя, а только это ты... Сердцем... Кто ты?

— Не знаю, Толик.

— Давай выпьем? Я уж восемь лет не пил, Сашка... Давай?

— Выпьем... — Он по внутренней связи отдал распоряжение. — Сейчас выпьем, Толик... Ты уж не плачь, прошу... мне тяжело смотреть, я уж забыл обо всем, ты напомнил...

— Ну прости. Не из любопытства... Сердцем почувствовал — больше ни слова, Саша. Скажи, тебе все это нравится?

— Что?

— Ну... Вадим и прочее...

— Трудно.

— Может, я помогу? Я же депутат Верховного, Сашка. Ну?

— Я террорист, Толик. На мне — мокруха. Нет уж возврата и не надо...

— Ты о Молоточнике? Так это же все теперь поправимо, Сашка!

— Не только. Мне уже кажется, что я никогда и Сашкой не был. И не было Веры... и университета... и твоей голодовки... и мамы. Думаю, что я сумасшедший...

— И все?

— Все, Толик. Не бери, друг. Не сыпь, как поют в кабаках, мне соль на велосипедную раму...

— Разрешите? — Вошел охранник с накрытым салфеткой подносом.

— Добро пожаловать! — воскликнул Крякутный-Сигайлов и подумал: «Пижон я, пижон... Ведь Толик всегда был лучше меня. Он и сейчас идет прямо. Ну кто же я сейчас, кто? Кто я перед живым Толиком и мертвой Верой? Господи Иисусе Христе, сыне Божий, просвети мой рассудок, Господи!» — Ставьте на стол. Сигареты принесли? Отлично. Сок? Есть. «Столичная». Окей! Спички серные, довоенные, фабрики Лапшина-а-а! Петь бы надо — голоса нет; плакать бы — слезы иссохли; смеяться, Толик, остается...

Толик уже насухо утерся носовым платком, улыбался виновато, не знал, куда уложить руки. Потом сказал:

— Зачем жить без надежды? Будем надеяться, и на этом о делах — все. Хорошо?

— Все хорошо, — не удержался от нервической шуточки Крякутный.

67.

А Коробьина-Христосова угадала на улице Люба.

Она вошла за ним в вонючий пивбар, встала, затемнив лицо очками, за один столик с однообразными в пивной страсти алкашами. Когда с ней попытался заговорить проворный, быстроглазый баловень лет сорока, когда он приблизил к ней рыбнопахнувший лик и шепнул пару слов о погоде, Люба быстро направилась к Христосову и стала пред ним, сняв защитные очки, чтоб люди не подумали: синяк прячет.

— Вася, — сказала она тревожно, — это ты?

— Ошиблись номером, мадам, — противным чужим голосом отвечал Коробьин. — Адресат выбыл...

— Извините, — развернулась и пошла к дымному выходу Люба.

«Прости, старушка, — бестрепетно подумал Коробьин и крупными глотками опрожнил кружку. — Да и сам я уже старик... — становясь в новую очередь, подумал он. — А на хрена жил? — оглядел он с яростью местного шнурка; шнурок запричитал: ну че ты? че ты, земляк? я тут стоял, скажи! — и в каждой руке его было по четыре кружки. — На хрена жил-колотился, в монастырь ходил? С собой надо было жить-то... С собой...»

— С собой надо было жить-то! — сказал Коробьин-Христосов шнурку и двинул того ногой в пах, как учил Крякутный. Шнурок обвалил кружки на чмокнувший пол, согнулся в жутком стоне.

Коробьина сильно избили в отместку. Шил и штопал приват-хирург. Крякутный мычал от ненависти.

— Не вздумай! — стучал кулаком о стол Бордадым. — Не моги! Выбрось из головенки! Вы мне, анархисты, все дело завалите! Узнаю — страшную кару придумаю, век статуи Свободы не видать!

68.

Из газет: «Вот вам, дорогой читатель, историйка. Стоит пивбар. В пивбаре стоят, извиняемся, люди. Над людьми стоит дым коромыслом. Пива хватает на всех, но не на всех хватает счастья. В пивбар входят двое немолодых уже, по описаниям очевидцев, людей. Один из них чуть пониже сотоварища ростом, с виду интеллигентен, хоть руки держит в карманах кожаной куртки на меху. На втором, который повыше ростом, нет лица: оно частично заклеено, частично забинтовано. Забинтованный указывает кожаному в толпе некоего Петра С-на, человека неопределенных занятий, завсегдагая пивбара, любимца местных процельг женского, извиняемся, пола.

— Эй, шнурок! — зовет кожаный Петра С-на. — Иди на наша сторона... Есть разговор на полтора миллиона по Фаренгейту...



— Чего-о? — возмущается любимец масс, который пользуется покровительством и защитой местных качков, и с пивной кружкой, как с булыжником, бывшим оружием пролетариата, направляется на зов. Его страхуют одобрительными взглядами три-четыре качка — тутошняя мафия.

Итак, с воплем Пётр С-н идет на зов, и они сходятся с кожаным, как стихи и проза, как лед и пламень. Дальнейшее описать трудно, так как Пётр С-н, по рассказам очевидцев, пролетел высоко над толпой метров около девяти и упал, как в вестернах, на застолье качков. Судя по дикому и жалобному реву, который он издал при падении, ума в его голове уже не прибавится, здоровья в телесах — тоже. Качки кинулись в бой очертя головы, стриженные словно бы специально для того, чтобы слышны были смачные подзатыльники, которыми их некоторое время ловко и расчетливо награждал некто в кожаной куртке на меху. Когда один из крутых ребят извлек из-за пояса пистолет и шандарахнул из пушки в потолок, когда пивной люд в ужасе попадал под нечистые столы на еще более нечистый пол, который, похоже, не убрали со времен Московской Олимпиады, кожаный человек уложил туда и трех богатырей из местного пивбара, и прибежавшего на звук выстрела, а доселе отсыхавшего в комнате администратора лейтенанта милиции. Забинтованный командовал:

— Всем лежать и не шевелиться! — зажег дымовую шашку, и когда приехали пожарные вкупе со «скорой помощью», когда эвакуировали кашляющих, полуживых, побитых в панике пивных людей, то зачинщики битвы были, мнится, уже далеко от этого муравейника. Повеселились! Таковы нынешние молодецкие забавы!»

69.

Из тетради Коробьина-Христосова: «Какая сволочь внушила мне в юности, что русский поэт, русский художник, актер и вообще русский человек просто обязан пить водку с дерзостью и лихостью? Будь проклят, сволочь! Твоя ложь обернулась трагедией целого детского народа!..»

Я все еще боюсь смерти, а ее бояться не надо. Просто говори: Господи, не дай меня в трату!..»

70.

— Ну? — смеялся Бордадым, потрясая газетой, как мухобойкой перед охотой. — Ну? Опять скажете, что вот эта вот пивная битва — не ваших с Васькой рук дело? Сволочи вы глупые, тараканы вы запечные, инвалиды детства — что вам еще сказать... Как объяснить, что вы рискуете провалить все дело, а в деле участвуют очень крупные люди, а их забота — о благе Отечества... Это война! Понимаете ли вы, наконец? А на войне подчиняются приказам и правилам! А приказы отдаю я, а правила диктуются мне! Ну, Васька, чего ты язык-то проглотил?

Коробьин освободил из-под бинтов рот и произнес:

— Аянт! Если ты сам себя убил в припадке безумия и нас всех хотел убить, почему же ты обвиняешь Одиссея?..

— Да прекрати ты, лицедей! — нервно посмеивался Бордадым. — Не надо дурней себя-то искать, прощельга сибирская!..

— Недавно, когда Одиссей пришел к тебе узнать будущее, ты даже не поглядел в его сторону, не поздоровался со своим боевым товарищем, но, надменно шагая, презрительно прошел мимо...

— Вадим! Скажи ему — пусть заткнется!

Но Коробьин продолжал. И смотреть на его игру, угадывая это лицо под бинтами, можно было безотрывно.

— Этого разбойника Сострата бросить в Пирифлегетон! Вот того, — указал он на Бордадыма, — за святотатство пусть растерзает Химера, а тирана, — указал Коробьин на Вадима, занятого ремонтом кожи на своих кулаках, — растянуть рядом с Титием, — указал на себя, — пусть коршуны и у него терзают печень! — Он обернулся к блаженно, как солнышко после зимы, улыбающемуся одноглазому охраннику и к Малышу, который ерзал в кресле, словно горел желаньем сказать важную новость, но не мог дожждаться своей очереди. — А вы, праведники, — продолжал Коробьин, — отправляйтесь скорее на елисейские поля и на острова блаженных за то, что добродетельно прожили жизнь. Усе!..

— Усе? — перевел дыхание Бордадым. — Ну так и черт с вами! Чего ты, Малыш?

— Нашел я этого химика-фармацевта, братцы, алкаша этого! Предупреждал — нельзя их знакомить с Вячеславом Месорубкиным! — шариком ртути перекачивался по паркету Малыш. — Это вот вы, Борис Алексеич, подсказали: лаборант нужен, лаборант нужен! Вот они оба — и профессор, и лаборант... Смеетесь? Ох, не к добру смеетесь, ребята!

— Ну и где ж ты их, крошка, открыл, если не тайна? — спросил Вадим, разглядывая выпачканные зеленкой свои пальцы.

— Ну где ж вы думаете? У Ларисы на Эльдорадовской... Слава богу, хоть живы-здоровы... Но хата-то под наблюдением! А у нас — хи-хи да ха-ха! Не надо дружить в таком деле, побоку приязни, хватит! Пока не поздно, надо переходить на старый добрый устав: приказ начальника — закон для подчиненного! Иначе все надо менять: штат, явку, все!

— А еще эти два балбеса, — кивнул заалевший Бордадым на боевую пару с травмами.

Коробьин снова попытался высвободить рот из-под сбившихся бинтов, но Бордадым рывкнул:

— Молчать! — И к Малышу: — Галоперидол, пипортил — как с ними дела?

— А вот сейчас я этих голубчиков из карцера вызволю, вы сами и спросите! — сказал Малыш, катясь к двери, и кивнул охраннику: — Пойдем... Галоперидол... пипортил... — слышалось удаляющееся воркованье Малыша.

Бордадым тяжело вздохнул, меняя лицо к ярости.

— Ну и дела-а! — сказал он, поправляя узел галстука. — Как у дедушки Зуя: ни старушки, ни подружки, ни избушки, ничего...



— А я говорю: Ельцов!
 — А я говорю: Басхулатов!
 — Ельцов!
 — Басхулатов!
 — Спорим?
 — Кто спорит, тот гроша не стоит!
 — Я ща как двину — и полетишь, как котях по стояку!
 — Один двинул — теперь недвижим лежит!
 — Сволочь ты красно-коричневая!
 — Дерьмокрад вонючий!
 — А заполучи-и!
 — Стоп! — вмешался Крякутный и стал в вагонном тамбуре между двумя разгоряченными мужиками. — Как вас зовут-то?

— Пётр, — сказал один.

А второй назвался:

— Павел... — и попросил закурить.

— Закурить ему... — все еще тлел жаром красно-коричневый оппонент. — Вот и проси у своего Ельцова... Разбогател на рабочем поту?

— Хватит, хватит, земляки, — успокоил Крякутный, давая спорщикам по сигаретке. — Вы чего такие политизированные-то? У вас сев близится, а вы фигней тут занимаетесь... Без вас разберутся там, в Кремле-то...

— Сев... — проворчал демократ, прикуривая от сигареты «красно-коричневого». — Свое они посеют, а мы им на кой хухер?

— И посадим! И посеем! И тебя не спросимся! Хотел рынка — получи мой картошечку с рук! Хотел капусты — давай, валяй, золоти ручку-то — оно нам горбом дается! Мы вас, сук, голодом-то заморим! — изо всех сил давил ногой окурки крестьянин-«красно-коричневый».

Демократ опешил:

— Ты чего ж такой чинарик-то топчешь?

— А не курю, бросил, вот чего!

— А зачем брал у человека?

— А дает, так чего ж не взять!

— Во! Видали? — закрутил головой демократ. — А голодом он своего же брата рабочего морить собрался. Понятно? Сермяга паскудная!

— Брат рабочий сам разберется! — зло усмехнулся крестьянин. — Он вас в мазуте валять будет и в курящем пуху обваливать, поганцев, прокудников нехрещеных...

— Слыхали? — перекрывая осипшим уже голосом стукоток вагонных колес, радостно возопил демократ. — Вы слыхали: суд Линча! Суд, говорю, Линча-а-а! Э-эх, куда-а! А?! — Он достал из внутреннего кармана пиджака бутылку и протянул Крякутному: — Давай, земляк, засоси пару капель!

— Да! сюда-а! — выхватил водку «красно-коричневый». — По старшинству-у! — и выпил в позе трубача, выдувающего высокую ноту. — Ты-то чего ножонками сучишь, как электровеник? — Подобревшим лицом он приблизился к демократу. — Забыл, как с нас партвзносы, трутень, собирамши?..

Демократ-коммунист хмыкнул, губами после выпитого пожевал и улыбнулся младоберезовой весне, пролетающей за окнами вагона.

— Молодо-зелено! — сказал он, протягивая бутылку Крякутному. Тот отвел щедрую длань и спросил:

— Вы, братцы, откуда такие чудные? Не из Сарапулки?

Мужики разом, как любопытные щенки, оглядели в молчании незнакомца: может, кто из давних иммигрантов? Были они похожи и на портных, которым клиент говорит: что же вы, братцы, мне пошили, разве эфто пиджак? разве эфто брюки? да краше в гроб кладут! — и они смотрят на дело своих рук с лукавым недоумением.

— Петька из Сарапулки! — кивнул наконец головой демократ, отсылая Крякутного этим кивком к своему оппоненту. — А я — с Поселья... Полтора кэмэ, отделение совхоза... А совхоз один, врать не буду...

— Вот и стоим тут, щас выходить, дак, — подтвердил Пётр. — Щас наша остановка, а там через Иню на пароме: Иня-то в разливе хуже Волги! А летом пересыхат... Речонка речонкой делается... Окоп не окоп, а так...

— Дай-ка! — взял на себя бутылку демократ из совхозного отделения. — А какой там паром... Паро-о-ом! — Он яростно проглотил остатки водки. — Лодчонка, а над речкой — трос от берега к берегу... Вот по тросу она, как троллейбус, и челнокует... Лодочник у нас безногий... Ноги по дури отморозил... В каком же году? — хотел он начать воспоминания, но Павел подсказал:

— Да когда у Алиски корова сбесилась!

— А-а... Ну да! Ему, Нифантию Ариевичу, уж лет семисят, ног ни шиша нет, а здоровый, у-у! До сих пор к нему Наташка-то бегат?

— Аннушка, а не Наташка!

— Наташка!

— Аннушка!

— Спорим, что Наташка!

— Стоп, земляки! — Крякутный отмахнулся, как от паука. — Вы там Фёдора Сигайлова не знали? Пастух он был, не встречался?

Мужики, если были бы щенками, то наверняка обнюхали бы Крякутного для ознакомления с его намерениями. Переглядывались меж собой, как глухонемые.

— Срок, что ли, тянули вместилах? — спросил Пётр.

Тут же заговорил и Павел:

— Фёдор умер уж лет десять как... Ты что? Он из-за своей собаки смерть принял... Найда ее звали, что ли? А? Найда, говорю?

— А могилку знаете? — тихо спросил Крякутный и достал из дорожной сумки бутылку ослепительно сверкающей водки под аппетитной столичной наклейкой. — Пошли в вагон — помянем...

— Пошли, — сказали Пётр и Павел. А кто-то из них добавил: — Еще минут семь до остановки...

Крякутный разложил на диване с изрезанной примитивно обивкой хлеб и колбасу, достал складные стаканчики.

Мужики переминались с ноги на ногу, стоя в позе призывников на медкомиссии.

— Ты б не раскладывался... Выходим скоро...



— Да за семь мы еще и проспаться успеем! — сказал Крякутный, разливая и подавая мужикам. — Упокой, Господи, душу раба Твоего, Фёдора...
— Все там будем... — заверил Павел, крякнул, выпил, крякнул.
— Это в точку, — выпил и закашлялся демократ Пётр.
— Жуй колбасу! — кивнул на ломтики Крякутный.
— Не маленький, — занюхал рукавом Пётр. — Где брал-то? Спрячь...
— А могилку-то Фёдорову знают Фауты, потом главбух знает...
— И Дуся знает. Они хорошо жили промеж собой-то... Дуся красивая была!
— Сэкэн хэнд! — сказал Пётр. — Но красивая была... и хорошо жили-ладили, врать не стану...
— Сикен-хикен! — недовольно сморщился Павел. — Твоя уж цапля ей, Дусе-то, и в скотницы не годится!
— Моя?!
— Ну а чья, моя, што ли? Моя справная!
— Кутафья, в ворота не лезет!
— Правильно... Я своей даю рожать, а ты свою к дядьке-акушеру гонишь! Я со своей в баньку пойду, ей спинку-то нахлещу веничком-то, да мы с ней на полочек-то взгромоздимся, да...
— А ты што — считал... — в ярости и в ослеплении рассудка начал было Пётр. — Ты считал?..
— Чего щитать... Бабы должны толстеть, наливаться, как... ого! — Он переломил левой рукой правую в локте и потряс могучим кулаком. — В них мужская сила играть должна! — и обратился к Крякутному: — Правильно я говорю?
По щеке Крякутного текла слеза.
Взглядом он следил за мелькающими в окне белокорыми околочками.
— Наливайте, мужики, еще, — сказал он. — Помянем брата моего Фёдора.
Родина...

72.

«Вот жизнь. Как пиджак, купленный с чужого плеча. Таращится на нового обладателя пуговками, а родным не делается — ношенный. Слышишь, Борька? Отдай душу младенческую — ты кто есть, Борька? Подходит в Барнауле на вокзале вьетнамец:
— Синьсяо, синьсяо... Осюсений хосес? — ощущениями торгует.
Купил, ощутил — чужое, наемное, работающее, тьфу!
Старуха подходит:
— Дай, купец, денег — и пойдем ко мне, сделаю... что хочешь!
— Бабка, тебе же о смерти думать надо, хоть ты и румяная... У тебя на ногах бурки черные — им лет сто... У тебя стыд есть?
— Да я Александру Иванычу Копрышкину делала что хочешь, а он — герой из героев... ты-то кто такой? Да старухи-то еще лучше, если замуриться или свет выключить!
— Уймись, бабка, на тебе денег пять тысяч... и иди, собирайся на лежбище ветеранов...»



— Нет, — говорит, — я-то выживу, а вот вы-то выжить попытайтесь. Тот, — говорит, — выжить пытается, кто плохо питается, а кто хорошо питается, тот в аду обретается... Хочешь, — говорит, — купец, я унучку пришлю? Три языка знает: русский, английский и хохлацкий...

— Пошла вон, старуха-расстаруха, мне от тебя ничего не надо!

— А чего же, — спрашивает, — озираешься, чего потерял, болезный?

— Родину, бабка, милую, бабка, ровную, старая ты метла... Прошное, бабка, настоящее, бабка, будущее, кочерга ты гнутая.

Где же мы были-то раньше, Борька?»

73.

Кабинет начальника огромен, как горе ребенка, и тих, как горе старика. Начальник в конце стола выглядит как бюст самому себе, свет падает на него со спины, и лица не видно. Когда Галия подошла к столоначальнику, то увидела из окна его резиденции кремлевские звезды на башнях.

Начальник курил ароматные папиросы «Герцеговина Флор», не боясь тени Иосифа Виссарионовича.

«Циник», — уважительно подумала Галия. Школа жизни Галии была такова, что и мысли ее в кабинете начальника делались ровненькими, как солдаты на смотре, и если она думала о начальнике плохо, то с уважительным оттенком. «Скоро всем конец», — ласково улыбнулась Галия начальнику и доложила о своем прибытии.

— Падай, — указал начальник на ближайший к себе стул.

«Вот это обивочка! — восхищенно подумала Галия и, прежде чем сесть, быстренько погладила обивку рукой. — Штоф?»

— Говори, — сказал начальник, — что знаешь... А я послушаю, подумаем вместе: откуда у людей ноги растут и куда они их, людей, носят. Прощу, Галочка... Это не фамильярно звучит? Нет? Вы еще такая молодая, такая красивая!

— Не путайте меня, ох, не путайте, Григорий Якимович! А то у меня голова начинает... плыть...

— О-о! — пококетничал шеф. — Тогда приступим...

— Умеете двусмысленность подать...

— ...к делу. Итак? — Он двинул ей по зеркальной крышке стола пачку сигарет. — «Вирджиния»...

— У меня свой сорт, — вежливо отказалась Галия и открыла сумочку. Начальник напрягся, но не вздрогнул. «Непрофессионал», — с тревогой подумала Галия, напряглась, но не вздрогнула, доставая свои «БТ». Закурила, со щелчком замка закрыла сумочку. Потом снова открыла, достала носовой платок и промокнула им седельце носа под очками, а сумку уже не стала закрывать.

Начальник ждал.

— Итак, — начала Галия. — Мои предположения касательно Сигайлова подтвердились. Он сам их подтвердил. Мои люди... Наши, простите, люди засекли его сперва в Барнауле, потом в Ньюсибирске.

— Почему вы думаете, что это он? — сравнивая две фотографии, Сигайлова и Крякутного, спросил шеф. — Впрочем, впрочем... сходство сенсорное есть...



«Херсорное», — подумала Галя и продолжила:

— Дело в том, что в одной из деревень Новосибирской области похоронен его брат Фёдор. Он был трижды судим за хулиганство и кончил свой век в той деревне весьма романтически: напился на свадьбе у земляка и упал спать в снег... А его собака... Найда, кажется... никого к нему не подпускала — так он ее натаскал, на свою беду. В итоге — простуда, воспаление легких. Собаку пристрелил зоотехник... Фаут, кажется, немец из сибирских...

— Минутку, минутку, минутку, — жестом остановил ее шеф. — Все это вы изложите в докладной записке. А сейчас — главное: вы убеждены, что Крякутный — это Сигайлов?

— Я полностью уверена в этом, на сто процентов... Надо искать настоящего Крякутного, и я не уверена, что таковой жил когда-либо на этой грешной, извиняюсь, земле, но это дело пятое, это не горит. Важно сейчас выйти на всю группу и каким-то образом получить информацию о планах группы. Я думаю, что и похищения высоких должностных лиц, и порка Китайца... и, возможно, ряд просто хулиганских выходок...

— Вас понял, Галя. Что вам нужно обеспечить для нормальной разведывательной работы? Предлагайте...

«Эшь ты, умник какой, все-то понимает!..» — прокомментировала Галя, говоря:

— Надо брать Месорубкина и делать из него «пластилин».

— Все чисто будет, надеюсь, — поощрительно улыбался ей шеф. Он очень нравился себе, он казался Галие дураком, но дисциплинированный мозг одергивал заголившую мысли юбочку: «Дурака на это место не посадят... не посадят... Не посадят?»

— Будем стараться.

— Сколько времени вам понадобится на проведение операции?

— Предположительно... пять дней: с понедельника по пятницу включительно.

— В каждом конкретном случае затруднений обращайтесь напрямую ко мне, в крайнем случае к Витимкину, — встал он из-за стола.

— Слушаюсь, — встала и Галя, а уходила с мыслью о своей внезапной усталости, вспоминала что-то, а вспомнить не получалось. «Бабка дремучая, — думала она о себе. — Что, почему, зачем вся эта ядовитая жизнь? Э-э, милашка! Теперь уж о внучкином будущем думать надо... Теперь-то платят не то что прежде, теперь куй железо — и оно станет золотом... Сама всю жизнь в драных колготках пробичевала, так пусть хоть маленькая Альфия...» — «А что — Альфия?» — спросило вдруг усталое альтер эго. И первое эго отмахнулось от вопроса.

74.

«На левом борте 23 повреждения... на правом 26... в области правой дверцы — 8, левой — 13 сквозных пробоин, на крыше кабины — 4... Применялось оружие двух калибров — 5,5 мм и 7,5 мм. Это могли быть автоматы АК-74, ручные пулеметы РПК-74, автоматы АК-47, АКМ. Выстрелы по автомашине производились с трех направлений: слева, справа, сверху...»

Из газет: «Судя по акту экспертизы, автомобиль был расстрелян уже после того, как Н., его шофер и телохранители были извлечены, поскольку следов крови не обнаружено, и похитители, действуя в спешке вполне объяснимой, не учли этакое невинное обстоятельство. Это дает основания предполагать, что все похищенные живы и укрыты в каком-то укромном месте, которых в сегодняшней России предостаточно, а уж в суверенных республиках можно спрятать надолго все население какого-нибудь европейского графства. Где же обещанная обывателю борьба с преступностью, господа? Как быть и что делать?..»

75.

Лысый был бледен с лица, но во сне по детской своей привычке причмокивал губенками. Что ему снилось такое сладкое, сладостное... или же сладострастное — неизвестно, однако невинное выражение спало с его лица, когда он хотел поудобней улечься на пухленький правый бочок, подергался легонько в путах, проснулся и обнаружил себя в хорошо освещенной, но с плотно занавешенными окнами комнате, привязанным к ложу сыромятными ремнями: голова его и шея были свободны от пут, и это позволило ему оглядеться.

— Где я? — трусливо спросил Лысый: никто никогда в его пухленькой жизни не смел и пальцем к нему прикоснуться. — Где?

— В биде, — отвечал громовой, похожий на левитановский голос, явно усиленный динамиком. — Через «и»...

— Что — через «и»?.. — зябко передернулся Лысый.

— Придательство... Призидент... Примьер... При-пух... При-е-хали... При-стук-нуть... При-ступ-ни-ка... Понятно, плохиш? — терпеливо объяснил голос. — Видишь у окна чан?

— Разумеется.

— А что из чана торчит — видишь?

— Прутья какие-то, веники... Я, вообще-то, без очков плохо вижу. Где мои очки, скажите, пожалуйста?

— Ваши очки потеряны, сэр. А в чане — не прутьики, а розги... слышали о таких?

Лысый нервически хохотнул тенорком:

— Березовая каша, не так ли?

— Умница, плохиш. Кушать хочешь? Проголодался, родимый?

— Да... отнюдь! Пока не хочется, знаете ли...

— У нас кормление искусственное. Извините, каша готова. Сварилась. Употреблять придется без масла: масло нынче дороговато стало... Почем оно, подскажите, господин экономист?..

— Гм... я ведь, знаете ли, не смогу сказать точную цену...

— А-а... Ну да... Цена — не воробей: отпустишь — не поймает. Да-да-да... А в магазинчиках, стало быть, не бываем, услуга, шестерки все принесут, все и в рот положат, да?

Лысый занервничал, стал дергать путы.

— Эй! Как вас? Отвяжите меня — руки затекли! Чего вам от меня нужно, позвольте спросить?



Красивый голос отвечал:

— Сейчас мы тебя будем сечь!

— А телохранителей?

— А их потом будете сечь вы. Или как вам заблагорассудится. Вас ведь в детстве не секли?

— Нет, не секли! Значит... я останусь жив?

— Жаль, что не секли. Надо было драть, драть и драть, как завещал великий Ленин. Итак, начинаем, друзья: порка бывшего ленинца... Кстати, Пушкинскую в Бушкинскую еще не переименовали?

— Не надо, может быть, шутить таким образом! У меня ведь все же есть определенное реноме... Жена, двое детей... Уж лучше рожу набейте! Что ж это за методы такие?..

Вошли экзекуторы, телеоператор, одноглазый страж внес осветительные приборы.

— Павильон готов?

— Все готово!

— Снимайте с него ползунки!

Экзекутор, смолистая борода которого была подернута серебром, посек воздух гибким прутом.

76.

«Как быть и что делать, Борька? Мне от природы было даровано уважение к людям, любознательность и умение взлететь над землей, а если б упал, то крыльями бы ее обнял, землю: кто ты, чудо? В поселке я знал каждую бабушку, каждого деда по имени и фамилии, по кличке и по одежде; я только сейчас понимаю, что был чудным ребенком, чашей, полной любви и доверия к миру, это была смелость неведенья, вечная жизнь ежечасно. Что случилось со мной и людьми, господин майор, бывший товарищ, а ныне друг? Надобно меня на переплавку, а за других не отвечаю, но многие из них хуже меня. Они хуже, а я страшней. Есть еще у меня нахохленная, вымокшая в слезах мыслишка: уехать в северную деревню, жениться на светлоглазой, нормальной, спокойно идущей утром на работу женщине... Но кто я ей? что я умею для нее?.. А ведь она меня полюбит, мою оболочку будет ласкать, рубаху мою стирать, щи варить станет. Станет говорить, что я умный, уестествлять меня станет... а какой у меня ум, — честь ведь ум-то рождает... И нет мне покоя, Борька, пока я досыта не напьюсь унижением врага, пока не отомщу за поругание детского нашего народа и не погибну с улыбкой, как мой учитель-чаяновед, который купал меня в обских прорубях... Вот мой последний прогноз: мы выйдем из этой войны с огромным презрением к деньгам, мы поймем их истинное ничтожество перед ликом небес и леса, вод и огня, а Россией будет править мних святой. Пусть я погибну без подкрепления, Борька, я, Борька, одиночка навсегда, но их, гадов, сколько смогу, сотру, как пыль с лица, со свету, с оклеветанной ими русской земли... Она оклеветана и оскорблена — я оклеветан и оскорблен. Может быть, гибель веры — знак Господень, может быть, так он кует воинов. Дорогая для человека надежда на волю Господа, на

его провидение. Эх ты, горе ты бордадымское, где твои дети? Не народил за карьерой-то... Брошены, Борька, на весы наше добро и зло, но никто не учил нас различать их...»

77.

Из служебной записки: «Когда Месорубкин вышел из подъезда дома, где живет Чуватина, то я попросил его подтолкнуть жигуленок, говоря, что мотор не заводится. Месорубкин ответил, что спешит. Я заверил, что подвезу его.

— Да мне далеко... — говорит он.

Я спросил — как далеко? Месорубкин помялся, побегал глазами и прокололся, что в сторону Бутова. Тогда я сообщил ему, что еду в институт лекарственных трав за настойкой шиповника, что все оттягивал, но тут вроде судьба. Он пошел на поводу у возможности доехать на шару и минут около трех пыхтел, толкал жигуленок, о плащ руки вытирал. Я завелся. Мы поехали, и по дороге я думал: проследить его до места высадки в нарушение приказа Габдрахмановой или буквально выполнить приказ? Остановился на последнем. Говорю ему, что по дороге прихвачу тещу, что это займет пять минут, что она уже около часа ждет, пока я с движком возился. Теперь я понимаю, почему он все время, когда я обращался к нему с разговорами, старался повернуться ко мне правым ухом, хоть это и не совсем удобно, когда сидишь рядом с водителем, и почему он говорил громко: он был глуховат на левое ухо...»

Месорубкин спросил водителя:

— Куришь, шеф?

— Бросил, — ответил румяный водила и огладил пшеничные усы в форме подковы. — Дорого стало... И с женой не задыхаюсь... как некоторые... Ты кури, если хочешь, а я выскочу позвоню... Может, теща уже преставилась, пока я с движком договаривался!

Сбегал и позвонил.

Минут через десять движения жигуленок тормознул постовой.

— Почему пассажир без ремня безопасности?

— Да он, гражданин начальник, сейчас пересядет... Пересядь, брат, на заднее сиденье, а?

— Я вынужден вас наказать! — говорил старлей, пока Месорубкин выпрастывал долгие свои конечности из автомобиля и втискивался на заднее сиденье.

— Сел? — спросил водитель.

— Сел! — отвечал Месорубкин и сделал значительное лицо специально для милиционера. — Я виноват, товарищ капитан, я и заплачу, — полез он за бумажником, достал и открыл его, туго набитый шмель, но тут в машину с двух сторон сели двое гладиаторов в штатском, крепко взяли Вячеслава Палыча под руки, и автомобиль тронулся в недалний уже путь.

Вячеслав Палыч крутил головой на коричневой своей высокой шее. Он сделался бледен. Он спросил наконец:



— С кем имею честь? Вам нужны деньги? Возьмите. Я не люблю деньги. Возьмите.

Речь его была отрывиста: сказывался испуг.

— Отвоевались, Вячеслав Палыч, — сказал водитель.

Месорубкин задал глупый вопрос:

— Откуда вы знаете, как меня зовут? Вы кто? Возьмите, вот деньги, бумажник в левой руке. От дьявола.

— Нам за тебя премию дадут, — засмеялся румяный водитель, переходя на «ты». — Мы тебя доставим — и по домам... А ты там останешься...

Вячеслав Палыч сделал конвульсивную попытку освободить предплечья. Сопровождающий слева спросил:

— Тебе ключицу вынуть?

— Зачем? — спросил Вячеслав Палыч. Наклонился длинным полутелом вперед и получил справа удар по почке. — Больно... — с кашлем сказал он. — Ой, больно...

— Да ну-у уж... Сразу и больно... Больней, что ли, не было?

— Не было, тебя спрашивают, больней? — спросил второй конвоир, и Вячеслав Палыч ужаснулся боли в левой почке. Это его разозлило. Он сказал не думая:

— Молодые, а борзые!..

— Ишь ты какой! Слыхали?

— Ой! — снова получил Вячеслав Палыч.

И тут водитель сказал:

— Перестаньте! Руки, что ли, чешутся? Хватит...

— Вы предатели Отечества, — сказал Вячеслав Палыч и плюнул на ветровое стекло.

— К-козел какой, — улыбнулся водитель, не оборачиваясь, снял с Вячеслава Палыча кепку, протер ею стекло и швырнул кепку через плечо в лицо Вячеслава Палыча.

Из служебной записки: «Габдрахманова хотела проверить на нем новый препарат мозгобойки из табачных изделий, а мы все перед допросом приняли нейтрализатор. Но Месорубкин от сигарет гордо отказался. Тогда Габдрахманова предложила ему коньяк — тут он не устоял, спросил только, не отравим ли мы его. Габдрахманова сказала, что мертвый он ей не нужен, а нужен живой, живой как язык, и выпила с ним из одной бутылки: налила себе и ему. Выпила — он успокоился, сказал, что умеет держать язык за зубами, и тоже выпил...»

— А вот теперь, — сказал Вячеслав Палыч, заблестев очами, — можно бы и закурить. Позвольте ваших? Мои конфискованы мордворотами! Вы знаете, что они у вас дерутся? Вы тут командир?

— Дерутся? — удивилась Галия. — Ненормальные какие-то... Я их накажу всене непременно. Наказать?

— Прощаю! — весело засмеялся Вячеслав Палыч. — Так я вам и поверил, ментовским мусорам! Вы что, думаете, я пионер несмышленный?

— Еще по рюмочке? — спросила Галия.

— Хозяин — барин! — пожал плечами Вячеслав Палыч. — Я бы не отказался. Вы если надеетесь меня спойть, то напрасно. Меня такие дозы не роняют на палас, нет...

— А хочешь, я из тебя зомби сделаю? — спросила Галя, когда они с Вячеславом Палычем снова выпили. — Хочешь?

Глаза поэта гасли. Он как-то приобмяк, мышцы лица расслабились, хотелось домой к Ирине, плакать, домой, к Ирине... «Зомби?»

— Зомби? Хочу. Интересно: зомби! Хм... Да-а... А что это — зомби? Зомби хочу, конечно... А вы — зомби?

Из служебной записки: «Адрес их загородной бутовской резиденции есть в протоколе допроса, подписанном Месорубкиным. Мозгобойка действует безотказно: он сказал все, что знает, о чем догадывается, о Фармацевте, о лаборатории и телевизионной группе. Нужно было бы его в откат, чтоб спал, но Габдрахманова решила еще на один эксперимент, чтоб убедиться в эффективности мозгобойки. По ее приказу мы выехали в лес около Домодедова. Там она дала ему пистолет и приказала стреляться. Он выстрелил в нее (Месорубкин — в Габдрахманову), и никто не успел дернуться, все стали палить в него, как в консервную банку. Произошло это или оттого, что он был глух и понял ее команду не как “стреляйся”, а как “стреляй сам” и он (Месорубкин) подчинился команде в результате действия мозгобойки; или он постоянно принимал нейтрализаторы от Фармацевта и на допросе притворялся, что маловероятно, т. к. показания он дал серьезные. Мы проверили: да, в районе бывшего поселка НКВД возле кладбища расстрелянных органами есть старая конюшня, принадлежащая российско-турецкому совместному предприятию. Внутри она ремонтируется, часть помещений уже сдана в эксплуатацию, стоит система сигнализации, металлические двери...»

78.

— Какая дура! — возмущался шеф покойной Габдрахмановой. — А туда же: профессионалы, профессионалы!.. В итоге — два трупа... Наутро там нашли два трупа, как писал тоже покойный ныне Барков. Хм... Оборвали нитку, пентюоиды!

— Покажем его по ящику как неопознанного — кто-нибудь и ключет... — сказал румяный чекист и оправил рыжие усы.

— Вот-вот! А там, с той стороны, дураки, да? Дураки? Пентюоиды? Отвечайте!

— Не могу знать, шеф, но попытка не пытка...

— То-то, что не пытка... Кругом Великий пост, а у нас все Масленая... Это служебное преступление — то, что она сотворила! Где мне теперь брать Крякутного? Кто такой Малыш? Когда кончится бардак в стране?

— А на кой бомбей нам этот Малыш? Перевоспитывать? Горбатого и лесопилка с пилорамой не исправят. Пусть он попадет под автомобиль — и нет проблем! Он вам нужен? Нет. Так пусть замолчит, как хариус!

— Вот и думайте! А то... внучка, жучка... Завалила дело — и еще панихиду заработала... Внучка, жучка... У тебя фото этого Малыша есть?



- Надеюсь получить от вас...
- Получишь. А Крякутный нужен живым. Не трогать ни при каких обстоятельствах, только наружка. Ясно? А в случае чего срочного — к Витимкину!
- Так точно! Ясно!
- «Спартак» в среду играет кубок?
- Не болею!
- Ну все. Кругом!

79.

«И я, Борька, вот что скажу тебе: против лома нет приема. Как бы я лично ни относился к денежному хламу, сосредоточенный в дьявольских руках, он является трудноодолимой силой. Это танк против разрозненной, бегущей по степному пандусу вниз пехоты. Что толку от моих политических прогнозов, когда попирается божественное в природе и в человеке? Кто водит нас по кругу исторических аналогий — Господь или Дьявол? Если Господь, то отчего мы не можем понять его прямых указаний на пагубность сребролюбия? Если это проделки Дьявола, то зачем Господь искушает нас, то есть... позволяет искушать? Но как бы то ни было, в жизни имеет смысл только служение высокому идеалу, только отказ от себя и своей утробности, только самоотвержение... А кто сейчас работает в вашей расколотой системе? Ведь на нее рассчитывала, как на щит и меч, огромная часть законопослушного люда. Кого-кого, а уж романтиков там, наверное, нет: только прибавляй зарплату — и гори Русь синим огнем пьянства. Да, я знаю, что исповедую взгляды, сходные со взглядами миноритов на природу стяжательства. Это было в средневековой Европе, они жгли, грабили и убивали потому, что установили для себя наивысшим законом бедность. В моем понимании бедность — это отказ от излишеств. Зачем бы мне тревожить пепел еретиков-миноритов, когда наши православные староверы наследовали от предков умение крепко жить и не стремиться к излишествам: есть лишнее — отдай нищему, отдай страннику. Сам крепок — укрепи другого. Государство крепко людьми, в чем мы имеем возможность убедиться, обозревая ход истории. В общем, Борька, я уже созрел для войны за Родину, созрел для войны прямой, окопной. И ты мне больше политикой голову не морочь: моя политика — защита Родины. Ухожу в глубокое подполье. Письмо передам фельдъегерской почтой, а точнее — с оказией. Человека, передавшего тебе это письмо, встретить ласково, не пытайся узнать, где я, он все равно не знает. Как закреплюсь — найду тебя, а пока поживу по своему разумению...»

80.

Христосов-Коробьин, уставший от пожизненных плутаний, побед и понесенных побоев, не сумевший в монастырской жизни найти свою келью и всю силу своего жизнелюбия вложить в пост и послушание, насвистывая, стоял у церковных ворот и ждал отца Наума. Он, Коробьин, замечал, что

зимы становятся все длинней, а лета — все короче; что мировые ученые набрали в рот воды по этому вопросу и молчат; он сегодня подставляет бугристое от шрамов лицо майскому солнцу, закрывает глаза в щелочки и натягивает к затылку кожу лица. В мае умерла мама, двадцать пять лет назад, лежит в Сибири, — крестится Коробьин на белый свет...

— А у помешыка, у барина-то Шпилова, в усадевке жила птичица Пелагея Тюрина... — тихонько рассказывает кому-то старушечий голос позади Коробьина. — У ей был и муж Гаврило — боем бабенку бил; как жива оставалась — неведомо... Ну и пошла она раз к отцу Алексею заступничества просить, слышь... А ну не свисти! — Кулачок старушки ударил Коробьина в спину.

— Простите, мадам! — сказал Коробьин. — А я свистел, да?

— А то нет... Бесов тут созывает, сгибень!

— А Мария-то Шпилова, помещичья дочка, тогда еще не знала, что скоро с одной коровенкой останется — это все в Бортсурманах, говорю, случилось-то... — уходя навстречу отцу Науму, слышал Коробьин-Христосов.

Отец Наум шагал стремительно, казалось, почти летел — казалось оттого, что головки черных сапог его почти не видны были в поступи под черной рясой, оттого, что правая рука его лежала, прикрывая крест, на груди, а левая как бы отталкивалась от волн воздуха за спиной, была веслом гребущим.

Встретились.

Сели на скамеечку в весеннем скверике, улыбнулись, глядя один на другого.

— Возьмите, — протянул Коробьин кейс отцу Науму. — Здесь две-сти тысяч долларов на нужды храма...

Отец Наум, однако, не поднял рук с колен, не поднял взора горе.

— Кто жертвует? Вадим?

— По-моему, фирма... Мне велено передать — вот все, что я знаю...

— Но... — Отец Наум глянул в глаза Коробьина-Христосова. — Этакое количество... гм... наличных денег должно быть как-то юридически... гм... приведено в соответствие... Нет! — решительно сказал вдруг отец Наум. — Я не могу принять это.

— Это!.. То, что вы, батюшка, называете «этим», — пожертвование частного лица в частном же порядке... Милостыня...

— Видишь ли, Вася, такие милостыни от праведных трудов не отторгнутся...

Коробьин-Христосов обиделся:

— Человек от чистого сердца, а вы... Хотите, чтоб я их прокутил? На поганых девок, на табак, на зелье стратил? Хотите, чтоб я стал вором и казнокрадом? А я слабый человек, отец! Вас не простит Господь за такой финт ушами! «Счастливого пути, Менипп! Исполни для меня небольшое поручение, когда будешь у Зевса! — сказал мне тот человек. — Я жертвую деньги на храм, а он пусть сотворит молитву Святому Благоверному Великому князю Александру Невскому», — так мне было сказано...

— Вадим? Скажи мне... как мирянину, а не как пастырю, Вася! Что с ним? Где он?

— Эх, отец!.. — сказал Короббин, качая скорбно головой. — Месорубкина расстреляли — по телевизору фарш показали: отзовитесь-де, родные и близкие... в лесу у Домодедова... и тэ дэ... Малыша нет — сбит на Каляевской «фольксвагеном». На переходе. Под зеленым светом... Вадим лег на дно, как подледная лодка. Мне... Я для них опасности не представляю, я уже старик по годам-то... Бордо... о, это уже из другой истории. Так будет, батюшка, молитва, ай нет? Возьмите баксы, он заработал их честным трудом политолога, честным, ежесиюминутным и напряженным, до вздувания жилы на челе, батюшка.

— Передай ему, что я молюсь за него ежедневно. Если будет жив — пусть заходит в храм... — Отец Наум перекрестил Короббина, взял кейс и удалился.

«Улетел...» — отметил Короббин особенность батюшкиной походки.

Молитва ко святому благоверному великому князю Александру Невскому:

«Скорый помощниче всех усердно к тебе прибегающих и теплый наш пред Господом предстателю, святый благоверный великий княже Александре! Призри милостивно на ны недостойныя, многими беззаконии непотребны себе сотворшия, к раце мощей твоих ныне притекающия и из глубины сердца к тебе взывающия: ты в житии своем ревнитель и защитник православныя веры был еси, и нас в ней теплыми твоими к Богу молитвами непоколебимы утверди. Ты великое возложенное на тя служение тщателью проходил еси, и нас твоею помощию пребывати коегождо, в неже призван есть, настави.

Ты, победив полки супостатов, от пределов российских отогнал еси, и на нас ополчающихся всех видимых и невидимых врагов низложи.

Ты, оставив тленный венец царства земнаго, избрал еси безмолвное житие, и ныне праведно венцем нетленным увенчанный, на небесех царствуеши, исходатайствуй и нам, смиренно молим тя, житие тихое и безмятежное и к вечному Царствию шествие неуклонное твоим предстательством устрой нам.

Предстоя же со всеми святыми престолу Божию, молися о всех православных христианах, да сохранит их Господь Бог Своею благодатию в мире, здравии, долгоденствии и всяком благополучии в должайшая лета, да присно славим и благословим Бога, в Троице святой славимаго Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и вовеки веков. Аминь».

81.

Из газет: «...Но говорят, что в лабиринтах и пещерах под городом расселяются, обустройстваются, делают жизненное пространство множество животных и некоторое количество людей. Люди ли они?..»

Юрий КАЗАРИН

БЕЛЫЕ-БЕЛЫЕ ПТИЦЫ

* * *

У неба внутри птица,
она, как вода, струится:
прозрачную — синева
рассеивает в слова.

У птицы внутри небо —
и только: ни крошки хлеба.
И, чтобы не умереть,
она начинает петь

во мне. Запоет — и вскрикнет,
и к смерти моей привыкнет —
и к голоду, и к любви,
и к небу в моей крови.

* * *

Ищет горькое ненастье
душу, горло и запястье:
заворачиваясь в дрожь,
мимо неба не пройдешь.

Мимо неба, мимо плача,
мимо черного села,
где была когда-то дача,
где погода умерла.

Где прохожий убывает —
Ангел в поле. Волк. Никто.
Ветер душу выдувает
из пальто...



* * *

Утром бумажное чудо — трава:
иной оттиснет иные слова.
Все, что во сне налетаешь, —
только в траве прочитаешь.

О алфавит октября... Все равно
вязь переходит в кольчужку, в руно,
прямо в махру полотенец
от облаков до поленниц.

Гладит ладонь шерстяные дрова,
словно барана стрижешь. Синева.
Снежная пряжа. Овчина.
Елка. Береза. Осина.

* * *

Осень. Стакан разбился.
Вот они — сны стрекоз...
Поезд остановился,
полный стекла и слез.

Ясно. Пустынно. Вольно.
Свету напьешься всласть.
Небу уже не больно
в белой земле пропасть.

* * *

Учится забвению Овидий.
Спит Гомер — глазами говорит.
Свет ослеп, когда себя увидел
в зеркале плакучих Персеид.

Спит кустарник — учится морозам.
Первый иней учится земле.
Топят печи каменным навозом.
Держат шерсть колючую в тепле.

Пустоты и моря нынче вдоволь.
Смерти научившийся, как ты, —
отовсюду виден только тополь,
не нашедший в небе высоты.

* * *

Утром была зима.
Днем наступила осень.
Чтобы совсем не сойти с ума,
лягу в восемь.
Или в шесть.
Чтобы приснилось лето
или вечность, которая есть
тьма — продолжение света.
Серая цапля во сне летит
сквозь высоту в ресницы.
Слышно, как сердце стучит
в птице...

* * *

Короткая вода и длинная водица —
две сразу — вверх и вниз, распутавшись, текут.
Одна из них, как цепь, дрожа, в окно струится,
другая горлом падает в сосуд.

Два времени прошло, как две воды сквозь глину,
сквозь небо. И пропали, и взошли,
и двинули в груди иную сердцевину —
в оледенелом пламени — земли.

И прошлое твое, как степь сухую, выжгло,
ты черную ее в себя впустил.
Перечеркнул грядущее, а вышло —
перекрестил.

* * *

Листья опавшие. Тополь худой.
Выглянет ворон из неба на иней —
взгляд замерзает в бочке с водой.
Пахнет пустыней.

Осень. Леса потекли в решето.
Золото жухнет, ржавеет, рыжеет.
Здесь красота превратилась в ничто —
и хорошеет.





На воду глаз положили с небес —
алая синь отворяется в стужу,
так на запястье открылся порез:
больно — а кровь не выходит наружу.

Хлеб вспоминает полоску ножа:
волосом сивым насквозь приласкает...
Бездна недвижную осень, дрожа,
держит и не отпускает.

* * *

Стою под снегом у огня.
Нет, над огнем. В огне. И в темя
ознобом вышним дышит время
и небом думает в меня.

* * *

Вспомнил себя — и проснулся:
перехватила петлей высота
горло, и воздуха стебель согнулся —
отяжелели уста
светом укрomным и внешним —
по черепам и скворешням —
что тебе, Господи, этот и тот,
если на третьем, нездешнем,
новое слово растет.

* * *

Неприкаянный, места родного
не находит — уже не найти —
снегопад, недосыпанный в слово,
три снежинки у неба в горсти.
Словно соль ущипнули в солонке —
ниже неба, от неба в сторонке —
выше самой высокой земли,
три снежинки на воздух легли —
три снежинки оставили или
прямо богу в глаза опустили:
слезы горькие недосолили —
слезы сладкие не потекли.

* * *

В глухом году, в пустом саду
струятся вверх сухие слезы.
Березы призраков. Березы.
В осеннем пасмурном году.
Над полем стонут лесовозы.
И небо — всё — течет сюда.
И жизни сладко быть печальной.
И в слепоте своей зеркальной,
в своем беспамятстве вода
до слез додумалась — до льда,
светясь в потуге вертикальной,
где, снегом падая на лед,
сама себя не узнает.

* * *

Там, где встречается время
с вечностью и тишиной,
каждому камушку в темя
дышит Господь ледяной,
ветер становится лесом,
вкопанным в землю, волной —
озеро пахнет железом,
пятой последней струной
и пятерней и десницей,
пятью Полярной звезды...

Ветер срывается птицей.
Это дрозды.

* * *

Тычется в темя иная вода.
Дышит прекрасная страшная птица.
Смерть тебя выродит прямо туда,
где нерожденные жаждут родиться.
Чувствуешь: трогают руки, плечо,
любят лицо, вещество лобовое...

Вот и узнал ты, как горячо
плачущее и живое.





* * *

Птицы его несут
в лапках, единой стаей:
из ничего сосуд —
движется, вырастая
до голубых высот,
где золотые — рядом.
Там уже Бог несет
сердцем, любовью, взглядом...

* * *

Синица осенью вернется —
за окна трогает дома.
И снова белый свет качнется.
Зима по имени зима.
Синица позабыла лето,
сидит на ветке — ждет ответа,
так смотрит новая вода,
и кажется, с другого света
она прихлынула сюда.

* * *

Я умер. И это не снится.
Я помню. Везде и всегда.
Скажи меня: просит синица.
Скажи меня: просит вода.

И этому горькому чуду
я легкие слезы утру.
Скажу — и себя позабуду.
Скажу — и от счастья умру...

* * *

Накройте Андреевским флагом
озябшую душу мою.
И — шагом, и шагом, и шагом —
отсюда... А я — постою,
где всё, что слеза и ресницы,
в серебряный иней срослось.
И белые-белые птицы
меня пролетают насквозь.

* * *

Бог сегодня белый, потому что снег.
Небо вырастает прямо из-под век.
Морем проплывает снизу вверх слеза,
и земля целует голые глаза.

Время остывает и лежит в горсти,
чтобы темным снегом в белый снег сползти.
И слеза светлеет в ледяном огне,
потому что белый Бог болит во мне.

* * *

Дров объятье, когда их несешь:
прижимаются — чувствуешь леса дрожь.
Дерева убиенного годовое кольцо
прижигает смолой лицо.

И воды, колодезной, ледяной
да разбавленной до хруста господней слюной,
три пощечины утренних, чтобы жечь
рот, разжеванный в речь.

Хорошо, когда топится в доме печь.
Хорошо. Можно, крылья расправив, лечь.
Ветер заглядывает до слез, закусив губу,
в печную трубу.

* * *

Что за повесть Ты пишешь на моем лице:
в зеркале — книга, оконная рама —
читаешь не слева, не справа —
направо, налево, а прямо,
понимая, что будет в конце.
Временем пишешь. Испещрено
все, что смерть пустотой наполнит.
Зеркало ахнет, впустивши в себя окно.
Зеркало знает. Зеркало помнит.



* * *

Как песня, поле спит —
молчит и копит слезы,
без топота копыт
вдоль неба ходят козы —
четыре или пять:
в глазах у них морозы,
червонцы и стрекозы
и волчья благодать.

Как песня, поле спит —
и песня спит, как поле,
как по ночам в глаголе
несовершенный вид
печали горловой,
чтоб сумрак голубой
насытился очами...
Чтоб снегом, как молчаньем
накрыться с головой.

* * *

Поговори со мной,
качая дождь, как ветку.
Закурим по одной —
сломаешь сигаретку.
Поговори со мной,
и я узнаю, где ты.

Вся жизнь моя длиной
в две сигареты...

* * *

И бог был боль. И боль была,
как снег — зола, белым-бела,
и смахивала со стола
в ладошку крошки как попало,
и по-крестьянски в рот бросала,
и на ресницах зависала,
сияла богу своему
звездой в суму, слезой в тюрьму,
и тьма высвечивала тьму
и белой болью мир спасала,
уже не нужный никому...

* * *

С разбитой, нетронутой рожей —
шаг в сторону, в сторону шаг —
идешь себе, местный прохожий,
стоишь себе, местный чужак.

Тебе это место знакомо —
другого уже не найдешь.
На два исправительных дома
ты дважды, счастливый, живешь.

И ныне, одетый в больницу,
из бледных не выпустишь уст
синицу по имени птица,
калину по имени куст.



Святослав КАСАВЧЕНКО

БЕЛЫЕ ВОЛКИ

Р а с с к а з ы

СЛЕД СОКОЛА

Станица. Лето. Первая половина восьмидесятых.

Серьезный человек Иван Евлампиевич неспешно выходит из сада. Уже три поколения станичников за глаза зовут его Евлампием. Тридцать пять лет подряд (с одним единственным, зато трехлетним перерывом на войну) он учил детей физике и астрономии, оставаясь бессменным завучем. Беспартийным завучем. Сейчас — на пенсии. Здравуются с ним за квартал.

Дед Ваня склонен к полноте, но не толст, а грузен — в движениях, в поступи, во взгляде. Пройдет года три, и дедовы рубахи станут мне хороши в плечах, но коротки в рукаве. А пока мне одиннадцать — и дед кажется гигантом.

Он ставит на стол ведра с абрикосами и машет нам рукой. Ясное дело — сейчас будем лущить урожай на *курку*. Курка — станичное название кураги. Бабушка уже закатала не один десяток банок абрикосового варенья. Но абрикос в этом году уродил так, что на закрутки не хватает ни сахара, ни посуды. И *фрукту* сушат.

Мы лущим — разламываем на половинки абрикосины и выкладываем их на здоровенные листы тонкой, расслаивающейся от возраста фанеры. Мостим одну к одной ровными рядами. Дело идет весело — абрикоса лущится легче сливы. И в сто раз быстрее, чем яблоки, которые на сушку нужно нарезать пластинками не толще сантиметра. Вот это нудьга!..

Но с абрикосой мы с братом справляемся легко, и дед, оставляя нас одних, поворачивается к дому:

— Надя-я! Дай-мне-собаке!

Заслышав ритуальную фразу, рыжий Тюбик — мелкий, гладкошерстый, кривоногий и толстозадый — демонстрирует умственные способности. Он хватается зубами пустую миску и подтягивает к деду настолько близко, насколько позволяет цепь. И даже подпихивает миску носом. Дескать, видишь, хозяин, как я забочусь о твоём удобстве.

— Подхали-им... — усмехается дед. Наваливает в миску бурду из недоеденного детьми супа, птичьих костей, жареных рыбьих голов, размо-

ченного хлеба и бог весть чего еще и подвигает миску терпеливо ждущему Тюбику.

Тюбик говорит «гав» — и чинно приступает к трапезе. Несмотря на несерьезную кличку, он тоже уже не мальчик. Зрелый пес лет десяти. Уважение понимает.

— Надя-я! Дай-мне-под-задницу! — кричит дед, и бабушка, смеясь, выносит из хаты специальную подушечку. Раны у деда давно зажили, и нога исправно гнется, но на твердом сидеть по-прежнему тяжело. Зато с подушкой он комфортно устроится на тяжелом, как пень, уличном табурете.

Уличный табурет — как цепной пес: в станице он никогда не допускается в дом. В дождь и в зной он живет во дворе, спасаясь от непогоды, дважды в год педантично подновляемый слоем масляной краски. Сейчас — изумрудно-зеленой, в цвет перекрашенного в мае забора. В декабре дед подновит истоптанные за сезон закруток полы на кухне, и табурет станет сочно-коричневым. На селе все зависит от сезона.

Дед снимает с навеса добрый десяток щитов с сушкой и устраивается рядом с нами переворачивать сухофрукты. Для того чтобы каждая долька яблока, каждая половинка абрикоса или сливы вывялилась равномерно, не загнила и не забродила, сушку нужно ежедневно переворачивать. По одной, аккуратно укладывая рядами, чтобы всем фруктам в равной мере доставалось солнца. Перед вечерней росой или в случае дождя щиты с сушкой убираются под навес. После рассвета — опять ставятся на солнце. И так — все лето. Едва вывяливается одна партия фруктов, созревает другая, третья, четвертая... К осени в сарайке под потолком висят огромные сетки — с куркой, черносливом, яблоками и грушами. Это будут компоты-узвары и пироги, пироги, пироги... Но это — осенью. А пока — горе горькое — нужно все переворачивать, вместо того чтобы стрелять из лука по курам.

Соседские курицы — наша с братом «законная» незаконная добыча. Сосед Вовка плохо содержит свой птичник. Куры выбираются из него сквозь дырки в сетке и проникают на наш огород. Клюют виноград и помидоры — подвязанные к шпалерам розовые «богатыри», которые рождаются только у деда. Дед гневается. Кричит курам «кыш», с нашей помощью их ловит, перебрасывает через сетку в Вовкин дырявый птичник и грозит в следующий раз свернуть разбойникам шею.

Вовка (на самом деле мужик лет пятидесяти, длинный, усушенный солнцем, что наша курка) искренне кается:

— Недогадел, Иван Евлампиевич!.. — но дыры в сетке курятника не заделывает, а всего лишь прикрывает фанерками. И через день все повторяется.

Мы не можем простить Вовке дедовы огорчения. Поэтому охотимся на диких (домашние же в птичнике сидят!) соседских кур с луком. Мы намерены уничтожить всех кур, не понимающих, где Вовкина земля, а где — дедушкина. Наши стрелы снабжены наконечниками из отточенных гвоздей. Сидя в засаде на ветке ореха над самыми помидорами, мы всерьез жалуем, что у нас нет яда кураре — смазать жала стрел.

Почему-то предполагая, что грозный дед может запретить нам священную войну за родной огород, мы охотимся, только когда дед уходит вздремнуть. Поэтому сейчас мы с удвоенным энтузиазмом переворачиваем сушку. Дед искренне радуется нашей помощи и... снимает с навеса еще пару поддонов.

— Деда, эта, наверное, уже готова! — пытаюсь схитрить я.

Но деда с намеченного пути не сбить. О чем говорить, если, засаливая сало, он кладет в него листок с указанием дня засола и сроком возможного употребления в пищу. А вымачивая соленую рыбу — заводит будильник, чтобы не пропустить положенный по технологии срок. Так что переворачивать приходится все. А одна курица уже шастает по винограднику, и если ее увидит дед — прогонит. И плакала тогда наша охота. Побивая все рекорды, мы приводим щиты с сушкой в требуемый вид и едва не силой загоняем деда в хату.

— Надя, мальчики мне так помогли! — слышим мы голос бабушки из кухни. — Пойду я прилягу. А «Известия» уже принесли?..

Вскоре в окошке перестает маячить и бабушка — не все же ей стряпать для нас, оглоедов.

Наконец краснокожие могут выйти на тропу войны.

* * *

Мы крадемся по саду с луками, сделанными из тополиных веток, сжимаемая стрелы из тополиных прутьев. Через год у меня будет лук в мой рост из выпаренной, высушенной и укрепленной костным клеем лещины. Появятся струганные оперенные метровые стрелы в палец. Через два года луки уступят место самодельным «воздушкам» из велосипедных насосов. Через четыре года любимым оружием массового поражения станут гитара и классический «тяжелый пацифик на хорошем ремне». Но пока мы крадемся с луками, стреляющими от силы метров на десять.

Брат младше меня на полтора года. Надо ли объяснять, что я — командир... Во всяком случае, план охоты на курицу разработан мною — и брату приходится его принять. Сам бы он действовал иначе, но сегодня мы — индейцы, а про них я знаю больше.

Вообще-то, у нас с братом баланс. Он восхитительно тонок, я — умирительно упитан. Я почти брюнет, он — почти блондин (с возрастом мы стали одинаково сивыми). Я сильнее, он — быстрее. Я способен концентрироваться и преодолевать трудности. Он — предусматривать их и обходить. У меня, городского, шире эрудиция, у него, станичного, богаче жизненный опыт. Я знаю, как сделать настоящий индейский лук (вот только сухожилий с хребта бизона не хватает) и по падению перышка рассчитать поправку на ветер. Он делает рогатки-пращи (из ветки сирени, бинт-резины и куска кожи) и с двадцати шагов «по карте промаха не даст». А я — дам.

Когда я стреляю из рогатки, брат кричит, что самое безопасное место для зрителя — за мишенью (да-да, мы и в нежном возрасте были вполне язвительными гадинами). Зато я могу на те же двадцать шагов метнуть метровой лом. Хватит и сил, и мозгов. Попасть не попаду, но испугаю — точно.

Поэтому брат на время спрятал свою рогатулину в задний карман шорт и ползет рядом со мной вдоль виноградника. Стрелы уже легли на тетивы. Запасные зажаты в зубах (это индейский секрет скорострельности!). До курицы — шагов десять... Стреляем одновременно! Промахиваемся! Кура продолжает клевать помидор, которым мы жертвуем ради охоты. Второй залп. Моя стрела втыкается в помидор, висящий на метр выше курицы, потому ею не клеванный. Брат попадает курице в бок, и та, возмущенно квохча, удрызгивает.

— Видал? Видал?! — Брат цапает упавшую стрелу и ищет на наколочнике следы крови. Не находит.

Я изучаю продранный гвоздем помидор, понимая, что его, от греха подальше, стоит съесть.

— Думаю, стрела на пере самортизировала. Ты попал в крыло, а оно погасило энергию! — излагаю я. — Так обсидиановые наконечники ацтеков пробивали стальные кирасы испанцев, но застревали в индейских панцирях, плетенных из просоленной соломы.

— Значит, надо бить из пращи, — переводит теорию в практику брат. — Гамайцом я бы ее точно кокнул.

— Какая пра-аща-а? — негодную я. — Надо целиться в незащищенные места! Где перо потоньше — в шею, а лучше в брюхо. Но это надо снизу стрелять. Или сверху — в спину. К силе лука добавится еще и сила свободного падения. Тогда стрелы точно воткнутся.

Мы забираемся на орех, несколько веток которого висят почти над помидорами. Позиция уникальная. Обзор великолепный. Одна сложность — труднехонько натягивать тетиву и целиться, лежа на покачивающейся ветке толщиной в твою руку, метрах в пяти от земли и в семи от ствола. Да и забраться на эту ветку непросто. Зато слезть — легче легкого: нужно проползти по ветке еще метра полтора вперед, она под твоей тяжестью пригнется к земле, и ты спрыгнешь метров с полутора. А это уже целое приключение.

У брата великолепное настроение. Пару часов назад он выяснил, что для бабушки и дедушки он такой же родной, как и я.

Вчера мы по какому-то поводу поссорились сильнее, чем на стандартные десять минут. Брат во что-то не хотел играть. Кричал, что правила на самом деле не такие, что у меня правила постоянно меняются. И вообще, почему это мы должны играть только по моим правилам?

— А потому что мы находимся у моих дедушки и бабушки! — резонно ответил я. — У них фамилия — Касавченко. У меня фамилия — Касавченко. А у тебя — Прытыка! — Мы с братом двоюродные. — Значит, я роднее! Значит, слушаться надо — меня! А ты будешь главный в том дворе, где живет твоя бабушка — Прытыка.

Сказать по совести, в том дворе брат и так главный. Безоговорочно и навеки. Но мы же — в этом!

Убитый подлой судьбиной, брат вчера признал мою правоту и согласился играть, как хочу я. Правда, без особого энтузиазма. А нынче днем не выдержал и спросил у нагружавшей его пирожками бабушки Нади, верно ли, что он им менее родной, чем я. Ну и изложил: «А вот Славка сказал...»

Бабушка могла просто надрать задницу одному внуку и тем успокоить другого. Но поступила хитрее.

— Славка тебя дурит, а ты и уши развесил!

— Но он же и взаправду — Касавченко, а я — нет...

— Зато ты Иван, как дедушка, а он — нет. Вот он и завидует.

— А еще у меня в станице две бабушки, а у него — только одна! — воспрял духом брат и поскакал шкодить дальше.

И вот мы в засидке на орехе, ждем явления кур. Стрелы отточены. Луки в руках.

Кур нет.

Вовкины куры, клятые дуры, бродят, как мамонты, на горизонте. Они клюют червяков на паше — перерытой картофельной деляне. Там нет ни винограда, ни помидоров. Там вообще ничего нет, только чужие куры.

Брат, мурлыкая себе под нос «Мамо моя, ты вже стара», забирается на ветку повыше и навесом, метров с пятидесяти, посылает гамайцы в Вовкиных кур. Первый и второй проходят мимо, но третий камень попадает в бок ковыряющейся в пашне курицы. Она квохчет, отбегает на пять шагов в сторону и замирает, пытаясь понять, откуда угроза.

Я карабкаюсь на верхние ветки ореха, надеясь отобрать у младшего брата рогатку. Убедившись, что стою твердо и не чертанусь вниз с высоты четвертого этажа, брат протягивает мне пращу.

Я стреляю... Стреляю... Стреляю...

Брат выдал мне пять гамайцов — аккуратных, круглых и тяжелых. Все они прошли мимо, даже не потревожив дерзкую вражескую птицу, бродящую вдоль грядок с укропом и выбирающую из чернозема жучков. У брата остается только два камешка. Он отбирает у меня пращу, растопыривает ноги, как заправский робингуд, на вздохе растягивает бинтуху — и перед выдохом мечет заряд в курицу.

— Чвак!

— У-ух!

Отдаленное:

— Т-ка!

Курица, мотнув головой, как подкошенная падает на пашу.

Присматриваясь, мы понимаем — не на нашу пашню. На соседскую. Не заберешь!

Со скоростью воды в унитазе мы скатываемся с ореха на твердую землю и бежим во двор — якобы играть в дурака. Луки убраны в поленницу. Рогатуля — на крышу летнего душа. Мерные драгоценные гамайцы кучкой положены под верстак.

Мы ничего не делали!

* * *

Вы бы смогли беззаботно дуться в дурака, зная, что тело жертвы еще не остыло?

Карты мы сдали, но даже не стали определяться, чей ход. Нас занимали более важные вопросы. Первый — теоретический: имели ли мы

право уничтожать врага на его территории? По всему выходило — имели. Ведь его отступление носило вынужденный и явно временный характер.

— Мы нанесли предупреждающий удар! — двигал бровями брат.

— Как СССР по милитаристской Японии! — пучил очи я.

Звучало ладно, но точил червь сомнения — согласятся ли взрослые уравнивать Вовкину пеструшку с самурайской военщиной.

Второй вопрос имел практическое свойство. Если добычу не освежевать в течение часа — максимум полутора, она вспухнет. Жара. Солнце-пек. Кровь не сточили. А мясо пропадать не должно...

Был еще и третий вопрос — как сладить такой лук, чтобы он по боевым характеристикам не уступал рогатке? Но это мы решили обсудить позже. Совет в Филях и без того затягивался.

Мы шептались, сидя на штабеле дубовых досок возле дровяного сарая. В дом уже провели газ, вместо дров в сарае стоял верстак, но название сохранилось. Ему, кстати, я обязан своим первым филологическим открытием: имена, названия живут дольше предметов. Хранят память о былом, даже когда предметы полностью меняют свою суть. Получается — слово сильнее реальности?..

На стенах дровяного сарая в навсегда установленном порядке висели пилы и топоры, колеса и запасные рамы для велосипеда. Из деревянных инструментальных ящиков торчали пассатижи, плоскогубцы, кусачки, клещи, гвоздодеры. Зубила, рубанки, стамески, отвертки. Шпингалеты, засовы, печные заслонки и колосники. В жестяных закрывающихся банках, разобранные по размеру, под крышками таились тяжелые гвозди со следами солидола. На большом жестяном блюде висилась гора гвоздей старых — их выпрямляли на наковальне из обрезка рельса и снова пускали в дело. Коловорот. Вращающееся ручное точило. Полуторапудровая гирия. И даже взведенный крысиный капкан. Все двигалось, поворачивалось, вкладывалось одно в другое, образуя немислимые комбинации. Сладостное местечко.

В другую пору мы бы уже или прямили гвозди, или тыкали палкой в капкан, глядя, как он кусает. Но сейчас близость полного сокровищами дровяного сарая служила для другого: помогала упорядочивать мысли.

— Куру надо обпатрать! — резюмировал хозяйственный брат. — По-ско-рей!

— Ага, а как с огорода забрать?

— Сейчас, пока все спят.

— А следы останутся: там же все перекопано!

— А кто поймет, что это наши следы?

— А если поймут?

— А если наступать на картофельную ботву — следов не будет.

— Индейцы бы заметили.

— А Вовка — прям Зоркий Сокол?..

— А мы — белые волки!

— Га-га-га!

— Тс-с, дедушка отдыхает!

— Да ты громче меня ржал...

— Че ты гонишь!

— Тс-с! Че ты орешь? Ладно, пошли, я все придумал. Мы пойдем по меже. Там же натоптано.

— Точно! Никаких следов!

— Возьмем грабли — и прямо с межи куру достанем.

— Грабли нельзя — след протянем. Поднимем вилами!

— Точно! У них и ратовище длиннее...

Вилы у деда были знатные. Не какая-нибудь заводская штамповка, а кованые кузнецом, может, даже еще дореволюционные, с личным клеймом кустика. Зубья — тонкие, со следами молота на боках, изгибались с хищной грациозностью. Дед сжимал в кулаке пару соседних зубьев, и они смыкались остриями. Стоило отпустить — с певучим звоном становились на место. Что только деду за эти вилы не сулили. Вплоть до электродрели — дефицитной в ту пору вещи. Дед не соглашался.

С вилами наперевес мы прошагали через сад. Выдвинулись к натоптанной меже, разделяющей Вовкин и дедов огороды. По меже крались пригнувшись — для неприметности. Вот и щетка желтеющего укропа, за которой должна валяться жертва индейской меткости.

— А вам дед разрешал вилы брать? — громом среди ясного неба раздается голос соседа. — Куда собрались, шкода?

Вовка стоит в тени дерева, обирает с веток алычу. От него до места, где «загорает» курица, — метров десять. Он, как и мы, не видит ее исключительно из-за укропа.

— Нас послали картошки накопать, — нахожусь я.

— Так вы же ее в субботу убрали? — допытывается Вовка.

— То мы белую убрали, а синеглазку еще нет, — вступает брат. — Нам нужно пару кустов на пробу копнуть.

— Дедушка велел! — беззастенчиво вру я.

— А что без ведра?

— А в подол! — Голопузый брат машет рукой на мою угвазданную футболку, которую я ношу, стесняясь своей городской пухлости.

— Мало вас дерут, шкода! — замечает Вовка, возвращаясь к алыче.

Мы несемся на участок с картошкой-синеглазкой (она же «цыганочка» — продолговатая, с сиреневато-фиолетовой кожицей; сто лет уже такой не встречал). Выкапываем пару кустов — и футболку приходится снимать: урожай в подол не помещается. А Вовка все стоит у дерева и глядит в нашу сторону.

Спустя полчаса мы опять пытаемся пробраться на огород. Уже ползком. Но теперь там торчит другой сосед — Витька.

Что нормальному взрослому мужику делать на ниве в самый солнцепек? Нормальные мужики, как дед, все делают поутру или вечером, когда не жарко. Наши с братом тирады исполнены презрения к нерадивым хозяевам. И какая нам разница, что дед — пенсионер, а Витька и Вовка — работают и обеденный перерыв для них — законное время управиться по хозяйству.

— В жару?! На пашу?! Й-и-и! Нэ будэ з его путевого старика! — выносим мы безжалостный вердикт. И, наконец, добираемся до грядки за укропом.

А курицы нет.

Нет ни курицы, ни перышка. Может, собаки утащили? Брат отмечает мое предположение: в станице все бобики на цепи. Это Вовка забрал. И теперь — кранты. Он же видел нас с вилами. Все понял. Вечером расскажет деду! Беда...

Я предложил признаться до того, как Вовка донесет. Только не говорить, что грохнули куру на чужом огороде. Сказать, что подстрелили ее в винограднике. А потом подкинули Вовке. Потому что мы не воры!.. А? Хорошо придумано?

Брат сомневался. Он предлагал молчать до последнего. Мы же следов крови не нашли? И своих следов не оставили. Вовка не поймет, отчего курица сдохла. И патрать ее он не станет: в станице дохлятину не едят. Значит, и никаких следов от удара гамайцом не заметит.

К общему мнению прийти не успели: из дома вышел дед, а к заборчику между дворами прислонился Вовка. Мы обмерли. Сосед мялся, словно заговорить ему неловко, но дело требует.

— Иван Евлампиевич, а у вас...

«Ну вот и все!» — пронеслось в мозгу. На лице брата читалось то же самое.

Дед нас не драл. Не наказывал трудом или лишением отдыха. Не лишал сладкого или выхода на речку (который был возможен только в его сопровождении). Дед только искренне расстраивался и спрашивал нас — как же вы могли? И это было ужасно — стоять перед расстроенным дедом и не иметь никаких объяснений своему поступку. Лучше бы порол.

— А у вас пары ведер глины не найдется?..

— Найдется, Володя, найдется. Хату перемазать решил?

— Да надо бы, Иван Евлампиевич. Все не соберусь, а погода-то уходит.

— Я вот тоже хочу. Но одному тяжело. Жду, когда дети приедут.

— А эта шкoda на что? — Вовка глянул на нас, подтянувшихся поближе, чтобы не позволить соседу наговорить на нас больше, чем мы заслуживаем.

— Да малы еще...

— Деда, мы уже умеем! Мы же и в прошлом году помогали обдирать.

— И перетирать!

— И белить!

— Ну-у... Если вы поможете, родители будут рады... — задумался дед и вдруг направил свой дальнoзоркий взгляд в сторону виноградника. — Кыш! Чертова сволочь! Володя, я все-таки ей шею сверну.

— Извини, Евлампич, недоглядел!

По винограднику, прицеливаясь к черным ягодам, вышагивала соседская пеструшка. Та самая. С белым крылом. Живехонька.

— Одыбала, — подмигнул мне брат и кинулся выгонять диверсантку.

Ни до, ни после мы не перетирали дедову хату в таком замечательном настроении.

БЕЛЫЕ ВОЛКИ

— Если хату перетрете, взрослые смогут просто отдыхать. — Дед в шляпе в сеточку, старой рабочей рубаше и аж седых от древности, некогда костюмных брюках проминает влажную глину через крупноячеестое жестяное решето.

Мы с братом неширокими жесткими шпателями сдираем со стен прошлогодний набел. Если под ним проявлялись трещины — *расширушиваем* их.

Увлекательнейшее занятие. Цепляешь уголок жести глину, наливаешь на инструмент и смотришь, как струйками осыпается наземь поврежденная зимою штукатурка.

Я работаю с задором. Налегаю на шпатель от плеча. Брат попытался за мной угнаться, быстро устал и охладел к процессу. Но дед и из этого извлекает пользу. Он ставит меня на стремянку-дробыну и отмеряет фронт работ — добрые две трети стены сверху. Брату остается нижняя треть. Я горжусь оказанным доверием, ударничаю, былинными жестами отираю лоб и стремлюсь обогнать младшего. Младший отпускает меня на четыре шага, чтобы известь в глаза не летела, и боле не отстает, хотя активнее болтает, чем работает. Даже не вспотел.

Тут, пожалуй, стоит пояснить — хату мы обдираем снаружи. Сложенные из самана стены защищала от сырости глиняная штукатурка. За зиму на ней появлялись трещинки. После весенних и летних ливней трещинки становились щелями, через которые саман «тянул сырость». Чтобы хата не рухнула за четыре-пять сезонов, каждое лето ее обдирали «до живого». Расшурошенные трещины по-новому заделывали глиной. Мазали — перештукатуривали — стены везде, где обнажился саман. И — белили известью.

Нижняя треть стены всегда сохранялась хуже, чем верх, частично защищенный от дождей выступающей крышей. Обдирая верх, приходится прилагать силы. Обдирая низ, наоборот, сдерживаться, чтобы в трудовом порыве не прокопаться сквозь саман. Мудрый дед поставил брата вниз не для того, чтобы младшему легче работалось. Для хозяина важнее сберечь стены от моего разрушительного энтузиазма. А заодно и синхронизировать наши усилия.

— Деда, а если мы хату перетрем — взрослые на утряну пойдут?

— Ну... я не знаю, — дед глубокомысленно сдержан, — они же едут ремонт делать. Если увидят, что ремонт закончен, могут и пойти.

— Деда, а ты скажи им, что пообещал...

— Что — пообещал?

— Нам пообещал, что они с нами на утряну пойдут. А обещание надо выполнять.

— Я же вам ничего не обещал.

— Но они-то не знают? Скажи им, что обещал...

Дед посмеивается и сдается:

— Попрошу Прытыку на зорьку вас свозить.

Мы ликуем: деду взрослые не откажут!

С рыбалкой в том году как-то не ладилось. Одних нас на речку дед не пускал — это право мы завоеуем только года через два, и сам не водил. То

ли не любил сидеть с удочкой, то ли считал, что для завуча, пусть и бывшего, это зазорно. Но я ни разу не видел, чтобы он закинул поплавок в реку.

Мои родители любили удить на утренней зорьке, превращая рыбалку в ритуал. С вечера — проверка снастей. Подъем в полпятого. При едва сереющем небосводе переправа вброд и совсем чуть-чуть вплавь через сонный Бейсуг. Нам нужно добраться на дальний, третий канал-рукав впадающей в лиман речки. Там не просто клев лучше — там сазан берет! Но сазан — это фанаберии отца, а мы и любому карасику рады.

Вот только этим летом мои папа и мама почему-то ни в один из трех приездов на утряну не пошли. А на братова отца — дядь Славу, он же Прытыка, он же Пэрс, надежды мало. Он по жизни — рыбак. Главный рыбовод колхоза. Он с ранней весны до поздней осени встает в четыре утра и едет на пруды. Он привозит деду прудовых карпов, размером в руку, похожих на бревна толстолобов и отливающих ртутью тяжелых амуров. Их разделявают в саду на некрашенных дощатых козлах под пристальными взглядами всех окрестных котов.

Прытыка уху варит ведрами, а рыбу солит ваннами. И вовсе не горит желанием в свой редкий выходной встать до зари ради счастья наудить сотню красноперок. Но если его попросит дед...

Я наваливаюсь на работу и упираюсь в крыльцо. Едва убираю в сторону дробыну, брат обваливает последние полведра штукатурки.

— Деда, все!

Дед вдумчиво обходит хату, подковыривая шпателем места, вызывающие у него сомнения. Он доволен. Будем ли мы работать дальше? Конечно, будем!

Получив по мочальной кисти, успеваем устроить мушкетерский поединок за те секунды, пока дед показывает, как правильно замывать трещины. Переведя взгляд со стены на внуков, размазывающих кистями по пузам известковую пыль и грязную воду, дед ищет слова для окрика. Не находит, машет рукой и начинает замывать трещины самостоятельно.

Мы мигом успокаиваемся и приступаем к работе.

— Ты мне на голову льешь! — негодует брат, поправляя буденовку, сложенную из разворота газеты «Известия».

— А че ты стал под рукой!

— А где мне стоять? Сам встань сюда, а я наверх!

— И встану!

— И встань.

— И-встану-и-быстрей-тебя-замою!.. — Я ж герой-ударник. — Че ты брызгаешь!

— Я не брызгаю, я замываю!

— Я видел, ты вот так махал!

— Ты че делаешь? Мне теперь купаться!

— Ты че делаешь, это ж чистая майка!

— А че ты сам начал?

— Сейчас пойдете мыться, а ремонт закончат взрослые, — оглашает шагнувший из-за угла хаты дед.

— Не-ет! Мы больше не будем! Де-еда!..

Дальше работаем без свар. Только полусшепотом пытаемся выяснить, кто же первый начал. Выясняем, выясняем... и упираемся в веранду.

— Деда-а! Замыли!

— Ну... теперь гуляйте...

— А мазать?

— Я сам.

— Мы умеем!

— Идите, идите... Еще глину бабушка из вас не выколуывала...

— Уже выколуывала, когда мы крепость строи...

Брат якобы незаметно пихает меня локтем:

— Мы аккуратно!

— Ваня, да пусть уж помогают. Все равно купать... — Бабушка Надя похожа на одуванчик — тонкая, маленькая и с шапкой белых кудрей.

Дед ставит нас на участки попроще. Показывает, как правильно работать шпателем. Напоследок запрещает кидаться глиной:

— Я ее в обрез завел. Если не хватит — ремонт не закончим, рыбалки не будет.

Сраженные таким коварством, мы оставляем шкodu — и через какой-то час дед гонит нас мыться.

— А белить?

— Белить завтра. Глине подсохнуть нужно. Да и смеркается уже...

В летнем душе под деревянной решеткой-паелой живет жаба. Мы знаем, что от жаб можно заразиться бородавками, а убивать их нельзя — молния ударит. Один мальчик вот так жабу раздавил, и его молнией сожгло прямо вместе с душем. То ли брат мне это наврал, то ли я брату — уже не важно. Важно, что мы не любим ходить в душ, но сегодня несемся туда без приглашения.

Потому что проголодались, а грязных бабушка в дом не пустит.

Потому что от глины тело чешется, а известка еще и старые ссадины разъедает.

Потому что, если не выкупаться, бабушка сама перемоеет нас в тазах на кухне. И тогда не миновать мыла, которое щиплет глаза, как ни жмурься.

Жаба не показывается. Мыться скучно. Приходится веселить себя самостоятельно. Можно взбить на руках мыльную пену и с воплем «Гоним гниду!» вытереть их о волосы брата. Вода в станице такая мягкая, что выполаскивать мыло из шевелюры придется минут пять. Можно провести мыльной мочалкой по спине брата, прокричав ритуальное: «Кто грязнее паровоза?» Можно зачерпнуть ковш из стоящей рядом с душем бочки для полива и окатить напарника холодным. Можно толкаться мокрыми задями, спихивая друг друга со скользких брусьев паел. Можно пуляться мылом, а потом выуживать его из-под досок настила. Можно еще много чего придумать, но тут кончается вода в пятиведерном баке на крыше душа. Не успев развалить строение, мы стираем с боков остатки мыла и спешим к ужину.

Зря торопились.

Поправив очки, бабушка подгоняет нас под лампу. Заглядывает в волосы. Трет пальчиком наши шеи, локти... Палец у бабушки твердый, как карандаш. После него на коже остаются светлые полосы.

— Это что?

— Ну ба-а... Это загар...

— Цыганский загар. Без мыла мылись?

— С мылом. Это въелось, когда работали.

— Ага, мастера — один серэ, другой растера... Придется перемыть.

— Ба-а, давай завтра! Все равно мы же еще белить будем!

— Знаю... И задницу можно не вытирать — все равно опять до ветру идти?..

Наши грязные выползки, майки да шорты, лежат в углу сброшенной кожей гадюки. Страшной и неживой.

Подав через шланг от АГВ горячую воду, бабушка перемывает нас так же расторопно, как моет посуду. Р-раз! — и мы уже блестим. И опять видно, что волосы у нас разного цвета. Теперь можно и за стол.

Ужин камерный — *соус* из куриных запчастей, с картошкой, хлеб и молоко.

Все, что гуще супа, но естся ложками, в станице называлось соусом или рагу. Рагу готовили исключительно из овощей (хотя могли заправлять смальцем и даже шкварками). Соус подразумевал наличие мяса, птицы или хотя бы потрохов. Можете представить мое изумление, когда спустя много лет я узнал, что соус — это кетчуп или майонез. Я до сих пор отказываю кетчупу и майонезу в праве именоваться соусом!

А бабушкин соус с потрошками готовился так. Куриный желудок «пупок», печенка, сердечко, голова да две лапы от избушки Бабы Яги слегка (для запаха) обжаривают в сливочном масле в чугушке. Потом доливают воду, кидаются небольшая луковица да листок лаврушки и томится минут двадцать или полчаса, чтоб пупок помягчел. Совсем уж мягким он, конечно, не станет, но хотя бы утратит резиновость. После добавляют крупно нарезанную картошку, размером в половину куриного яйца. Если надо — доливают водой, чтоб с картошкой сравнялась, но не накрыла. Доводят до кипения, убавляют огонь, выправляют по соли и под крышкой тушат до готовности картошки. В это время делают за жарку из одной морковки и одной луковицы. На сливочном. Морковку жарят первой — до пожелтения масла. Потом добавляют лук и доводят до золота. В чугунок за жарку отправляют в самом конце. После (и сразу) — только укроп с петрушкой. Снять с огня и дать постоять минут тридцать, чтоб дети не обжигались.

Эту технологию я у бабушки намного позже срисовал, уже когда стал студентом и о за жарке на сливочном мог только мечтать. А тогда я просто ел. И думал не о рецепте, а о добавке.

Ужин камерный, потому что в доме редкое для лета затишье, всего пара внуков. Если б собралась вся семья — варили бы ведро борща или затирки. А сейчас ба приговорила каких-то жалких три литра соуса.

Легкотня! Она даже не просила помочь ей с картошкой. Если б съехались все (Касавченки — папа Саша, мама Таня, меньшей мой родный братец Илюшенька, да Прытыки — дядя Слава, тетя Люся, наша старшая и единственная сестрица Алёнушка, ну и мы — двое из ларца, погромщики двоюродные — Славка да Ванька) — сама бы не справилась! Вот уже завтра к вечеру они все будут здесь, а пока бабушка *курортничает*.

Бабушка по заведенному ритуалу делит потрошок. Себе — сердце и лапу. Деду вторую лапу и голову: он любит гребешок погрызть. Пупок и печенка — нам с братом. И картошка, картошка... Когда она крупными кусками, ее можно ломать краем ложки и даже толочь в пюре.

— Может, надо было сразу пюре варить?

— Не-а, ба-а! Так вкуснее.

А потом хлеб — и еще парное вечернее молоко от соседки. Остановиться невозможно.

— Славка, хватит тебе. Швыдка Настя нападет.

Бабушка знает — у нас с дедом желудки одинаково реагируют на молоко. И остановить нас, что в еде, что в труде, одинаково непросто — натуры страстные. Но лучше остановить сейчас.

— Все. Больше не дам.

Бабушка отбирает бидон, не позволяя налить по четвертой чашке. Брат с заготовленной краюхой хлеба вьется вокруг котом:

— Ба-а, ну полчашечки. Мне же можно...

Ему хорошо-о! Его желудок передоза молока не боится. Его только от зеленой алычи и недозрелого винограда несет.

Бабушка сомневается какое-то мгновение, но потом обретает решение: никому — значит никому. Брат расстаться с горбушкой не готов, но и на сухую она в него уже не лезет. Он, вздыхая, наливает чаю и бурчит:

— Вечно мне страдать из-за всяких засранцев...

— Ты че сказал? — Я старше на полтора года (в этом возрасте — серьезная фора) и склоняюсь к силовому урегулированию.

— Я? Ниче... Чаю тебе предлагаю.

— То-то же. Наливай.

— Я ж и говорю — всяким засранцам тут чаю наливаю.

Драчку пресекает бабушка, выгнав нас из кухни тряпкой.

* * *

Утро красит. Точнее — белит.

Синька уже вмешана в известь, разведенную до консистенции молока, хоть пей. Дед из своего арсенала выбрал для внучков хорошо обмятые мочальные кисти. Бабушка — новехонькие медицинские перчатки, чтобы мальчикам не поело пальчики. Мы с утра — само благолепие. Умытые, нарядные, тихие... Пока не проснулись.

Дед придирчиво осматривает нашу экипировку и велит раздеваться до трусов. Недоверчивый.

Мы просим оставить нам майки и шорты, а то комары заедят. Он не соглашается. Бесчеловечный.

— Деда, а если нас до кости проест? — дипломатично интересуется брат.

— Кто, комары?

— Побелка!

— Не проест.

— А меня на локте прямо до мяса проела!

— На каком локте? — Дед озабочен всерьез.

— Да это давно было, уже заросло, — выкручивается брат.

— Ну... раз заросло, так и... два зарастет, — сворачивает дискуссию навидавшийся и не таких хитрецов завуч на пенсии, раздевает-таки нас до трусов, нахлобучивает шапки из газет и отправляет работать.

У меня папаха — я казак, у брата буденовка с нарисованной звездой — он, соответственно, буденовец. При этом мы еще и индейцы. Это, наверное, потому, что мы оба — красные. Не от солнца — по раннепионерским убеждениям.

Белить — дело нехитрое. Главное — известь не перегустить и кистью мазать ровно. Поперву — провдоль, чтобы всюду зашло. Потом — начистую, напоперек. В смысле — вертикально. Тогда кто будет снизу смотреть — твои мазки не увидит: они к небу побегут и от чужих глаз все неровности спрячут. Ну и еще, конечно, нужно сначала верха пройти, а уж потом низа разбеливать, чтобы потеков не было. Еще важно кисть к кисти класть, чтобы хвостов не оставлять. Ну и кисть не ронять, чтобы пылюку на чистое не тянуть. Вот и все, что я знаю о побелке.

Брат это тоже знает. Знает и дед. И вот, заглянув к нам, осилившим уже половину задней стены, самой тяжелой, потому что без окон, он делает замечание брату:

— Ванюша, ровней клади.

— Смотри, как надо белить! — рад выпендриться я.

— А то ты умеешь!

— Конечно, у меня ж мама — художник!

Брат это хакает молча, дожидается ухода деда, зорко следит за моими выкрутасами с кистью — и, наконец, ловит меня на кривом-прекривом мазке.

Я, естественно, хочу мгновенно убрать со стены предательский хвост, но брат не дремлет:

— О-о! Написал, як бык поссал! Художник!..

К обеду две трети дома побелены на два раза. Это неспроста. Дед хочет, чтобы мы гарантированно убрались за пару углов до того, как он начнет маслом поновлять рамы и наличники. Опыт подсказывает ему, что внуков с известкой стоит держать от чистой работы подальше.

— Славка! Дурак бы тебя понюхал!.. — Собравшаяся позвать мужчин к столу бабушка застаёт дивную сцену: старший внук сосредоточенно ставит на себе отпечатки испачканной в извести пятерни. За ним не видно младшего, который ставит на себе аккуратные известковые точки — под леопарда.

— Слава-Ваня, брось!

Коллективный Слава-Ваня замирает. Понимает, что мытье неизбежно, и принимается из вредности размазывать друг на друге взаимные художества. Дело это настолько увлекательное, что едва не заканчивается

переворачиванием ведра с известкой. Тут уж мы пугаемся, успокаиваемся — прекращаем особо бузить — и с жизнерадостным «Дурак бы тебя понюха-ха-ха-ха-хал!» летим к колонке умываться.

Когда часов в семь вечера во двор на клокочущем оранжевом «ижаке» вкатит лихой Прытыка с тетей Люсей за спиной и сестрицей Алёнушкой в коляске, ремонт будет уже завершен. На фоне салатного штaketника, расцвеченный пестрыми дубками в бабушкином палисаднике, подчеркнутый еще блестящим маслом наличников, дом будет сиять первозданной белизной. У самого крыльца нам с братом останется дочернить разведенным в керосине битумом, для красоты и от влаги, не больше полутора метров цоколя. Черним мы по очереди, потому что плоскую кисть на это дело дед выделил только одну: смолой хату помазать хочется каждому, а сил воевать за кисточку у нас уже нет.

— Угрались, хлопчики, — резюмирует пронизательный Прытыка и, не дожидаясь просьб и намеков, говорит: — Чую, Люся, придётся мени йих завтра на утряну везты...

— От там их и брось! Мабуть, хоть в речке отмоются, белые волки, — изрекает, снимая мотошлем, наша взрослая, почти тринадцатилетняя сестрица.

* * *

— Дывысь — Славка лытучу рыбу впиймав. Цэ, Ваня, редкость!.. У нас в Брыньковской лытучих рыб нэмае. Допрэж, кажуть, булы, та браконьеры косянские всё извылы. Чого ты рыгочешь? Батьке не веришь? Ба-атьке? Я ж знаю всё! Я ж в тэбэ — ка-пы-тан!..

Под балакучую болтовню дядьки я безуспешно пытаюсь дотянуться до верховодки в полтора пальца. Я так долго ждал поклевки и, дождавшись, так лихо *цмыкнул* удочкой, что плотвичка улетела в поднебесье и запутала мою леску в ветвях растущей над Бейсугом жердели.

Дядька балакает, когда дурачится. Я кожей чувствую смешливые искры, летящие из его глаз.

— Славка, а ты заспывай «Сэ-эрдце! Чого ты впэрлось на жэрдэлю!» — мабуть, вона з дерева и слизэ...

Я тяну за леску, намертво запутелявшуюся в ветвях, и не знаю, сердиться мне или смеяться. Решаю подыграть и пою дурным голосом. Рыбка, разумеется, остается в поднебесье.

— Ны хоче... — констатирует дядька. — Добре ты, Славка, спиваешь, но рыба дужэ вредна попалась. Правильна летуча рыба з воды — прыг! — йи сама на кукан! Косянцы ж як ловылы? Пидут с куканом на бырыжок, помашут йим, рыба з воды выпрыгивае — и на кукан. Прямо рот раззявэ и кукан глотае. Нэ трэба ситки трусуть, в ричке мэзнуть, рыбу нызять — вона сама на кукан лизэ. Ось так усю лытучу рыбу и извылы... Ваня! Чого рыгочешь? Так и було! Я ж знаю, шо кажу — я ж сам косянский! Та йи *богато* лытучей рыбы було! Як на нерест йдэ — всё нибо чорно! Солнца за ный ны побачишь, тильки слышно, як косякы над головой плавникамы шуршат. Таки булы в нас рыбны ловли...

Брат заливается смехом:

— Надо было простынями ее ловить. Натянул простыню над двором — и только успевай собирать, что напутается.

— А так и робылы. Наволочку в небо кинут, вона падае — вже полна лытучей рыбы! Пырысыпав рыбу в мешок — и снова кыдай.

— А че сразу мешок не кидать? — дивляется брат.

— Я дывлюсь, ты в мэнэ, сынку, дурный. У наволочки ж халява — шире! В йи-йи бильше рыбы напутаицца!

— А ты, конечно, больше всех так рыбы ловил? Ты ж из всех косянцев — найкращий рыбак... — подначивает отца ни разу не ехидный девятилетний Ваня. — И наволочка у тебя была самая уловистая?

Но дядька на приманку не клюет, отказывается от шутовской балачки и, выбрав какие-то доверительно-раздумчивые интонации, удерживает инициативу:

— Я лучший рыбак, да... Это ты, сынок, правильно говоришь. Но наволочкой летучую рыбу на нересте я не ловил — врать не стану.

— А почему? — Сын строг и сосредоточен.

— Как — почему?.. Потому что ловить рыбу во время нереста — браконьерство!

— Да нет! Я спрашиваю, почему ты врать не станешь?

— Потому что я никогда не вру, хоть Славку спроси... — не моргнув глазом врет отец...

Понимая, что с земли удочку не распутать, и не желая лезть на дерево, я сильнее дергаю леску. Крючок с грузиком остаются на жерделе. Леска с поплавком из крашеного гусиного пера летит ко мне. А злополучная верховодка слетает с крючка и, сверкнув чешуей, падает в воду.

— Крочки одирвав? — интересуется дядька. — Я ж казав — цэ дюже вредна лытуча рыба попалась. Цэ знак: «Рыбаки, ны жадничайте! Йдытэ вжэ до хаты!..» А ну, что у нас тут?..

Дядька вытаскивает из воды садок из мелкой сетки, хамсароса, и поднимает его на уровень глаз. В садке, пожалуй, с ведро красноперок, окуньков, лещиков, карасиков — мелкорыбицы размером до ладони.

Дядь Слава (уже переросший прозвище Пэрс, но еще слишком молодой для уважительного Пытрович) стоит огромный, загорелый, белозубый, с черными, как смоль, волосами, весь в бликах от высоко вставшего солнца. Вода жемчужным потоком рушится с садка. Сквозь хамсарос светится серебром наша добыча.

— На жареху хватит! — приbedняется дядька, опускает улов в люльку мотоцикла и велит сматывать удочки.

Мы не против. Клев кончился. В пузе — бурчит. Пора.

В пять утра, отправляясь на рыбалку, мы вытаскивали мотоцикл со двора вручную и только на асфальте гыркнули двигателем, перебудив окрестных кобелей. Теперь же вкатываемся в распахнутые ворота триумфаторами — задорно сигналив и пофыркивая мотором «ижака». Это — ритуал. О том, что прибыл Прыгытка, должны знать все.

Дед цепляет улов крючком безмена, который называет кантаром. Дед — педант, любит точность, мелочей для него нет. Шкалы весов не

хватает. Дед делит улов на две части. В сумме выходит одиннадцать кило. Дед перевешивает рыбу тремя частями. Так получается на пятьсот граммов меньше. Дед прикидывает погрешность.

— Десять-двести... десять-триста... Может, триста пятьдесят. Пружина ослабла...

Бабушка смотрит с крыльца:

— Слава!

— А-а! — откликаюсь я.

— Большой!

— Да, мама... — отзывается дядька, вместе с дедом взвешивавший улов.

— Я все это чистить не хочу. Может, посолишь?

— Тю-у!.. — Прытыка машет огромной рукой, как крылом. — Идешь в дом, мамо, мы тут сами. Хлопчики помогут.

В дом бабушка не идет. Они с дедом устраиваются рядом с нами. Дед пришивает ремешок к разорвавшимся старым дворовым шлепкам. Бабушка просто сидит, смотрит, как мы чистим рыбу, и слушает бесконечный треп зятя.

Прытыка с рыбой управляется шутя: пара взмахов ножом, надрез под жабрами. Экономным движением извлекаются «кышечки». Рыбешка ополаскивается в тазу и бросается в миску. Гора чешуи рядом с дядькой растет. Рыбьи потроха летят кошкам, а пузыри мы лопаем, раздавливая их пятками прямо под столом. Бабушка пытается запретить эту потеху — мухи же налетят. Но стоит ей отвлечься...

Брат (даром ли — сын рыбака и рыбоведа) работает так же красиво, как отец, только медленнее. Вид у него серьезный — как у любого занятого делом мужчины.

Еще более серьезный вид у меня. Язык высунут. Плечи напряжены. Пальцы растопырены. Лоб в чешуе.

— Славка, цэ ны жаба, чога ты ййи давышь? Ого, як вона в тэбэ скаче! Мабуть, и жаба... Славка у нас, мама, седня був главрыбак, а мы булы у его пид рукой. Я ему удочку пять раз распутывал.

— Четыре, — лезу я под стол за очередной ускользнувшей красноперкой. — Последний раз я сам леску оборвал.

— Точно... Последний — сам. Но мы, правда, все были — рыбаки. Рядом с нами мужик удил — забыл его имя... За радиоузлом живет... Папа, он Квачам сват, худый такой, в возрасте вже...

— За радиоузлом? Там Подпальый... Алексей...

— Ни-и! Подпальый — то Лёшка Дранка! А цый — напротив его....

— А кто там — напротив? — задумывается дед.

— Бздюха-а! Квачам сват — Бздюха!.. — доносится из кухни голос колдующей там над борщом тети Люси.

— Точно! Бздюха! Люсенька, любоф-моя-любимая, а как ты все помнишь?

— Я завуч во втором поколении! — кричит Люсенька. — У меня профессиональная память на хулиганов и оболтусов!

— Мама, ты страшный человек! — голосом командира пионерского отряда заявляет наша строгая сестрица Алёнушка. С тазом свежевысти-

ранного белья она выплывает во двор и достает прищепки из висящей на шее торбочки. — Ты нам и папеньку выбрала из профессиональных склонностей — хулигана и оболтуса?

— Ого ты, Лена! — делано расстраивается дядька. — Люся! Меня Лена обижает!

— Она тебе правду говорит! — отзывается тетка.

— Мамо, шо воны меня уси забижают? — поворачивается Прытыка к теще.

Бабушка беззвучно хохочет, закрывая лицо ладошкой и отмахиваясь.

— Так вот — Бздюха!.. — возвращается к нашей рыбалке дядька. — Прикатил на велосипеде на час позже, встал от Славки в двух шагах — и ну тягать. Удочка — какой-то дрын метра в полтора. Точно ветку с акации срубил, только листья посшибал. Поплавок — из пробки со спичкой. Один крючок. Ловит на хлеб — не успевает забрасывать! А у нас снасть — трехколенки бамбуковые на медных стыках. На каждой — по два крючка. Поплавки — перо. Черви — сам бы ел. А Бздюха быстрее нас троих ловит... Я у него наживки попросил. Глубину посмотрел — такую же сделал. Он тягает — мы стоим... Потом у него крючок оборвался — я ему запасной дал, как у себя. Он ловит — мы стоим... Потом у него хлеб кончился, мы ему червей отсыпали. Он на наших червей окуньков таскает, у нас — хоть бы клюнуло... Он посзять отошел, я на его место поплавок забросил. Ни поклевки. Он вернулся — стал удить там, где я был. И опять — одну за одной. Наловил на свою акациевину столько же, сколько мы втроем. И уехал на час раньше. Вот как так получается?!

— Не плачь, папенька, — подходит развесившая стирку сестра, — зато ты брэшэшь лучше.

— Лю-юся! Вона мэни забижае!

— Она любя!

— А-а, ну если любя... Да-а — я брэшу складно!.. Да, доня моя?..

На керогазе перед крыльцом шкворчит сковорода. Сестрица Алёнушка, уже переросшая бабушку, заняла ее место. Бабушка далеко не уходит. Присматривает. Наверное, переживает, чтобы внучка не обожглась. Но внучка пошла в мать, в бабушку. У нее и руки на месте, и характер такой, что не забалуешь. Сказала — сама пожарю, значит, с советами лезть нечего. Отличница и активистка.

На желтом эмалированном блюде уже целая пирамида из золотистых рыбешек. За ними пристально наблюдает бабушкина кошка, два соседских кота и мы с братом. По карасику сестра нам выдала и велела больше не кланчить. Мы и не кланчим. Ленка — не бабушка, может лопаткой по рукам дать. Может и по лбу.

Из кухни выходит дядь Слава. Сразу устраивает бузу, толкая под локоть дочку:

— О! Ты чи, вже хозяйка? — и, смеясь, ловко уворачивается от стальной лопатки в тяжелой Ленкиной руке.

Усаживаясь на лавочку рядом с бабушкой, закуривает «Космос» и рассказывает нам, что в станице тощую летнюю рыбу жарить не любили. Потому что «она богато масла жрэ».

Мы не понимаем — при чем тут масло? Его же вон сколько, пять десятилитровиков в летней кухне...

— То сейчас... — поддерживает зятя бабушка, — то сейчас...

— Саламур! — Тетя Люся царственно выносит из кухни исходящую паром кастрюлю. В ней — в соленой-пресоленной воде и с целым венником укропных бодылок — отварены окуньки из нашего улова. Чистить окуней — занятие противное. Особенно когда они небольшие. Потому их варят в рассоле целиком — не чистя и даже не потроша. И уже в тарелке с отваренных снимают чешую вместе со шкурой. И добираются до сладко-соленого плотного белого мяса, чем-то напоминающего раков.

Саламур у нас любят все. Кроме меня, кривящегося от клейкого ощущения вареной рыбы на пальцах. Пройдет лет двадцать, когда я вдруг захочу саламура так, что хоть вой, и кинусь искать окуней. А пока я оттанцовываю от стола, надеясь под шумок стянуть у сестры пару жареных рыбок.

Тут стучает калитка. Во двор влетает мой четырехлетний братик Илюшенька. За ним — наши мама и папа. Все кидаются целоваться. Большой Прытыка ухитряется шуметь наравне с малым Илюшенькой. Весь этот гвалт перекрывает лай цепного Тюбика, требующего от прибывших своей доли поцелуев.

Семья в сборе.

ДЕД

Начало восьмидесятых. Поздняя осень. Морозящий дождь.
222, 223, 224...

Я считал столбы.

Сидел на заднем сиденье отцовской «копейки», моей ровесницы, и считал проплывающие мимо электроопоры. Не то чтобы мне было нечего делать (хотя и это тоже), просто хотелось понять, сколько же опор нужно, чтобы протянуть провода от Краснодара до Бриньковской. Это же целых сто шестьдесят километров!

Мысль, что электроэнергия может подаваться в станицу не только из краевого центра, мне, десятилетнему, в голову как-то не приходила. Если Краснодар — центр... Если автобусы в станицу идут из Краснодара... Если дефицит — сливочное масло для бабушки — мы везем из Краснодара, покупая его всей семьей по четыреста граммов в руки... Значит, и ток должен подаваться отсюда же. Как иначе...

* * *

566, 567, 568...

Жигуленок бежал бойко. Дед, сидевший рядом с отцом, — на переднем, куда меня по малости лет еще не пускали, — заинтересованно обсуждал расход топлива. Отец полгода назад растачивал двигатель и заодно поставил дополнительную прокладку под головку блока (это словосочетание для меня до сих пор звучит музыкой), которая позволила вместо

дорогого 92-го бензина заливать экономичный 76-й. По расчетам деда, именно на этом рейсе затраты на расточку должны были полностью окупиться.

— Ну да... Пожалуй, уже окупилось, — соглашался отец.

— А главное, семьдесят шестой почти на каждой заправке есть, а девяносто второй еще поищи...

Как раз в этот момент мы ехали мимо АЗС, на всех трех бензиновых колонках (72-й, 76-й и 92-й) которой шланги были замотаны восьмерками.

— «Восемьдесят восьмой» продают, — язвил отец.

Дед задумчиво кивал.

* * *

976, 977, 978...

Я сбился сразу после тысячи. Просто под Тимашами опоры торчали неправильно. Там сходились обычная линия, высоковольтная, и отводок куда-то на ферму. Попытавшись учесть все, я запутался и попросил у деда ручку — она всегда торчала у него из нагрудного кармана.

Тяжелое подарочное стило в стальном корпусе дед протянул вместе с записнушкой:

— Рисуй с конца — там телефонов нет.

«1002», — накорябал я в самом уголке листа, чтоб не забыть, и принялся ждать приметного места, чтобы продолжить счет, какой-нибудь развилки или фермы. Завтра нам этой же дорогой ехать обратно. Я просто пересчитаю опоры на пропущенном участке, приплюсую их к сегодняшнему результату и получу ответ на свой вопрос. Жаль, что не узнаю все сразу, сегодня же. Зато завтра уж точно буду знать цифру, не известную никому. Даже так — ни-ко-му! Наверняка до меня никто не считал столбы от Бриньковской до Краснодара. Я буду первым.

1601, 1602, 1603...

— Внучик, а что ты там бормочешь?

— Тысяча шестьсот семь... столбы считаю... Тысяча шестьсот восемь... деда, не сбивай... Тысяча шестьсот девять...

— Ну считай, считай...

* * *

2015, 2016, 2017...

Из-за сложной развилки у Старонижестеблиевской и остановки для санитарной прогулки в лесополосу я сбивался дважды. Контрольные цифры аккуратным столбиком теснились на последней страничке дедовой записнушки. Напротив них кратким шифром были отмечены точки, меж которыми столбы требовали пересчета. Я был крайне горд изобретенной системой, страхующей от неверного решения. Я уже предвкушал, как завтра скажу деду, что точно знаю, сколько столбов вдоль нашей трассы.

2135, 2136, 2137...

Беда пришла откуда не ждали. До дому оставалось всего ничего, но сумерки превратились в ночь, а морось — в нудный, но плотный дождь.

Я не видел столбов! Хуже — не засек место, на котором сбился со счета! Я не знаю, какой участок требует пересчета!

— Ы-ы! Ну почему?!

Взрослые вздрогнули.

— Проснулся? — спросил сосредоточенный на дороге отец.

— Сбился со счета? — обернулся дед.

— Сбился! Из-за темноты! И завтра пересчитать не смогу! Я же место, где сбился, не запомнил.

— Ты считал от дома до дома?

— Ну-у...

— Три тысячи пятьдесят семь целых и шесть десятых столба... плюс-минус пять штук. — Дед смотрел на меня особым хитрым взглядом. Такой взгляд у него появлялся, когда он говорил что-либо, призванное поставить внуков в тупик.

Смысл сказанного до меня дошел не сразу. Зато потом!..

Он что — знает? Откуда? Я же видел — он не считал. И что это за загадочные «шесть десятых столба»?

— Деда, откуда ты знаешь?

— Мне в детстве укол сделали.

— Какой укол?

— Чтобы все знал!

— Ну де-е-еда!..

Дед, конечно, не признался, увиливал от моих вопросов и довольно улыбался. От шока я отошел только дома — и тут смог задать правильный вопрос:

— А почему ты думаешь, что плюс-минус пять столбов, а не пятьдесят?

— Потому что я знаю. Я считал.

— Столбы?

— Опоры.

— Ты не считал! Ты с папой говорил!

— Я считал в прошлую поездку. На каждый километр приходится от восемнадцати до двадцати двух столбов. В среднем — девятнадцать целых и шесть десятых. От дома до дома по спидометру — сто пятьдесят шесть километров. Получается именно то, что я назвал. И погрешность, с учетом отступлений строителей и моей невнимательности. Я ее интерполировал.

— Че?

— Привел к среднему значению.

Я молчал. Обдумывал.

Потом отец рассказал, что в позапрошлую поездку дед заинтересовался количеством столбов. Он отмерял участки от одного километрового столба до другого и считал столбы электрические. Разброс был велик. Но и дед был велик! Он посчитал двадцать один километровый отрезок



из ста пятидесяти шести — просто так, потому что хотелось, и вывел среднее число столбов на километр. Потом учел количество километров, им не просчитанных, — и вывел погрешность. Учитель физики, что вы хотите... И подсчитал ожидаемое число столбов на трассе.

— С точки зрения математики — расчет безупречный! — заявил отец. Как один из первых системных программистов Краснодара, он имел право на такие заявления.

Я был посрамлен: все уже подсчитано!

Зачем же дед считал столбы, учитывая погрешность? Ему что, больше нечего было делать, находясь в кабине с единственным сыном?

А зачем считал столбы я?..

Любимая говорит, что боится даже представить — каким нудным я стану в старости. С каждым годом в ней я вижу все больше черт моей бабушки. Правда, бабушка меня так не высмеивала. Так она высмеивала деда.

В родной станице двоюродные дядья называют меня Евлампием. Это станичное прозвище деда. Внешне я на него не похож. Я крупнее и ужаснее во гневе. А на кого ж я похож?..

От моего дома до дедовой хаты 3059 столбов.

Я пересчитал.

ГУБНАЯ ГАРМОШКА И ОТСУТСТВУЮЩИЙ РОЯЛЬ

Рояль «Бехштайн» звучит очень насыщенно. Особенно — упав с четвертого этажа.

Инструмент слегка накренился в сторону изогнутого крыла и исчез из виду. Потом раздался тупой стук, заглушаемый многоголосым «Баум-м-м!» После — взрыв и «Буом-м!», исключительно на басах. Потом три или четыре «Пиу!» Это, взвизгнув, лопнули несколько тонких струн. Я отчетливо помню именно такую очередность. Но помню и иное: все «баум-м-м», «буом-м» и «пиу» звучали почти одновременно. Они начинались последовательно, но с таким мизерным зазором, в какой не вставишь и иголку. И все же паузы были колоссальными. В промежутке от звука до звука я успевал и умереть, и родиться.

А потом предсмертный всхлип рояля начал затихать, и по улице раскатилось «Твою ма-ать!..» рядового Кожуры.

* * *

Дежурный по полку капитан Измирский шел, как утка на манок. В просторной рекреации отданного военным бывшего техникума всхлипывал «Саммертайм». В третьем часу ночи. Первого января 1996 года.

Едва капитан, длинный и тонкий, как дирижерская палочка, сбежал с лестницы, мелодия сменилась на разухабистого «Августина». Звуки неравномерными комками вываливались из дежурки. Там, в зарешеченном «аквариуме» из оргстекла, сидя на тяжелой сварной табуретке, помдеж терзал губную гармошку.

Обычно губнушку я с собой в дежурку не брал. Оставаясь ответственным по роте — баловался, а заступая помдежем по полку — нет. Люди во круг, все на виду. Да и по уставу не положено. Но в новогоднюю ночь...

Измирский, иронично улыбаясь, выложил на заставленный телефо-нами стол несколько апельсинов:

— «Августин»?

Я кивнул одними глазами, не вынимая гармошку изо рта.

— Я-я! Хенде хох! — Капитан бросил апельсин посыльному. — Зольдат, яйки, гурки, млеко! Шнель, шнель!

— Товарищ капитан — только чай, хлеб и масло.

— Годится! — И ко мне: — Ну так-то любой сможет. Ты «Мурку» сыграй!

Я затянул «Сент-Луис блюз».

Мой губнушечный репертуар тогда был на пике. Кроме «Августина», «Саммертайма» и «Сент-Луис блюза» я наигрывал «Когда святые маршируют» и «Степь да степь кругом».

Игорь Измирский приподнял бровь, взял стакан и принялся как-то хитро в него поквакивать, то приглушая руками, то давая звуку волю, то хрюкая, то крякая. И не забывая отбивать ритм лаковой туплей музыканта. Посыльный перестал чистить апельсин и глядел на нас, удивленно улыбаясь. Его заспанный напарник выполз из комнаты отдыха и жмурился на свету.

Напраздновавшийся до усталости сверхсрочник из автороты плюхнулся на свободную табуретку:

— Если бы меня так вставляло, я бы тоже не пил...

Дирижер полкового оркестра Игорь Измирский обладал редким для военных недугом — аллергией на алкоголь. Это автоматически выносило капитана за пределы системы координат, в которой обитали остальные офицеры. И обеспечивало гарантированные дежурства по праздникам.

Когда полковник Зингер знал, что пьянки по ротным канцеляриям неизбежны, он поступал иезуитски. У командира полка хватало крутых подчиненных, способных обуздать лихую вольницу пятый год воюющего полка. Сам Зингер одним топорщеньем рыжего уса ставил на грань инфаркта бравых летех и отвязных прапоров. Но бывали ночи, когда никакой ус не действовал. Например, новогодняя.

Зингер ни секунды не сомневался: при любых запретах и инструктажах, даже при его личном присутствии в части, после боя курантов народ все равно начнет отмечать по каптеркам. Полковник мог лично пройтись по подразделениям и отчихвостить нарушителей. Но тогда поутру пришлось бы объявлять выговор каждому второму офицеру и всем контрактникам. То есть — выставить себя на посмешище.

Если же, выявив залеты, оставить их безнаказанными — удар по авторитету окажется еще болезненней. Простил однажды — прощай всегда. Следовательно, прощай дисциплина. А позволить народу спокойно напиваться командир не мог — он свою бедовую «кадру» знал: спокойно не получится.

Но у Зингера был Измирский. Никто, кроме непьющего дирижера, не рискнул бы впереться в поддатую компанию героев со словами: «Хелло,

брatья по оружию! Я вижу алкоголь? У меня галлюцинация? Я хочу прийти через полчаса и в этом убедиться. Слышали — полчаса!»

Время Игорь устанавливал произвольно. Смотрел на средний градус коллектива — и назначал. Самым пьяным — четверть часа. Только начавшим поддавать мог отпустить сорок пять минут. Но это — максимум.

С приговором Измирского никто не спорил. Никто не пытался торговаться. Не протягивал рюмку. Знали — бесполезно, Измирский не выпьет, не скотит, не простит. Придет с проверкой, как обещал. Увидит продолжение банкета — поутру доложит Зингеру о происшествии, с указанием фамилий всех участников. Если же принять приговор музыканта, то можно дернуть еще рюмку-другую и быстро свернуться. И не волноваться — выполнивших его требования Измирский никогда не сдаст начальству.

Любого другого офицера за такое обращение с боевыми командирами считали бы стукачом и нещадно били. Похожего на смычок музыканта безропотно слушались. Только уважительно разводили руками: «Дирижер, гля!..»

После Нового года мы часто дежурили вместе. Без совпадений и мистики. Вписывая подчиненных в «простыню» графика полковых нарядов, мой ротный специально ставил меня помдежем к Измирскому. Настоящий командир всегда знает, чем дышит личный состав, а ротный еще и обладал специфичным чувством юмора.

— «Пиджак» чувака видит издалека! — намекал ротный на мое ущербное гражданское прошлое и на сомнительную военность военного дирижера Измирского. — Смотри, гармонист, опозоришь меня перед лабухом, буду тебя помдежем к Громозеке ставить.

Громозекой звали дурковатого майора из артдивизиона. На его дежурствах постоянно случались ЧП по причине неумной принципиальности. То он, прикопавшись к наряду по кухне, задерживал обед. И ломал сложный, но отлаженный распорядок жизни полка. То выявлял какой-то пустячный непорядок и раздувал его до ЧП на полста рапортов. То докладывал в дивизию о самовольной отлучке бойца, который на десять минут опаздывал из увольнения. Помдежами к Громозеке ротные и комбаты любили вписывать проштрафившихся подчиненных. Он это знал и, заступая дежурным по полку, своих помощников называл «штрафничками». Я с Громозекой дежурил трижды и всегда к концу наряда хотел его разорвать. После такого наряд с Измирским был истинным санаторием.

— Я — ваш импресарио, — усмехался ротный. — Когда отчисления пойдут, а, дуэт?

— Старший лейтенант Фомин, покиньте дежурное помещение! — командовал Измирский, после чего другим, «гражданским» голосом добавлял: — Программа «По вашим заявкам» начнется в час ночи.

* * *

Час ночи — самая славная пора наряда. К этому времени ответственный по полку сваливает домой или засыпает на диванчике в штабе. Уходит в казарму наряд по столовой. Даже вечно копошащаяся авторота засыпает. Идеальный час для совместного музицирования на фоне дежурки.

Я — с губной гармошкой. Измирский — со стаканом, расческой, телефонами вместо барабанов, имитирующий и трубу, и саксофон, и кошачью свадьбу. Плюс акустика огромного пустого вестибюля. Благодать.

У нас появились почитатели. Несколько раз забредал даже прослышавший о «спевках» Зингер. Предупрежденные посыльным о приближении полковника, мы успевали чинно сесть перед пультом. Но «вождь краснорожих» (это было подпольное погоняло рыжего и моментально багровеющего во гневе Зингера), выслушав доклад Измирского, сидел на табуретку, наливал чаю из котелка и шевелил усами:

— Ну, начинайте, что ли, концерт «Для тех, кто так и не заснул».

Грозный Зингер казался мне, вчерашнему студенту, глубоким стариком. Ему было тридцать девять. Сейчас мне на год больше. Боюсь, нынешним двадцатичетырехлетним я кажусь таким же угрюмым танком, каким чудился мне комполка. Впрочем, у того, что ни день, находились поводы для шевеления усами и отработки тяжелого взгляда.

Дисциплина в части не хромала на обе ноги только из-за отсутствия ног. За пять лет существования оперативный полк не воевал двести сорок один день. То есть по бумагам полк как бы и не воевал. Но от половины до двух третей личного состава постоянно находилось на том или ином выезде. В самом полку оставались только бойцы последнего призыва. Они заступали в наряды через сутки и ждали отправки на боевые. Дембелей предпочитали увольнять прямо из района — чтобы в часть они возвращались только за документами и не успевали побузить.

С офицерами было сложнее. После штурма Грозного во всех батальонах образовались дыры. На бумаге уже к февралю 1995-го штаты залатали спешно призванными «пиджаками» — вчерашними студентами военных кафедр. В июле появились и свежиспеченные летехи из училищ. В реальности же прорехи остались. Одни офицеры, числясь в штате, залечивали раны. Другие решили проститься со службой, ставшей вдруг чересчур военной. Эти, оставаясь в списках, в части не появлялись, хлопоча об отставке или переводе. Реальный некомплект взводных и ротных (даже если считать «пиджаков» полноценными командирами) достигал трети. Это добавляло тягот армейской службе полковника Петра Зингера.

Заглянув в дежурку за полночь, Пётр Петрович выпивал кружку сладкого и крепкого чая. Минут двадцать молча слушал наши импровизации. Поправлял усы:

— Только службу тут не забывайте, оркестранты...

И уходил спать.

Общага, в которой две комнаты на пятом этаже занимал командир полка с семьей, стояла прямо за забором части, окнами смотрела точнехонько на полковой плац. На нем ежедневно перед отбоем пятнадцать рот и батарей проводили положенную по уставу прогулку — по двадцать минут маршировали с песнями.

У каждой роты песня своя. Время совпадает. Плац один на всех. Что это значит? Это значит — ежевечерне у тебя под окнами топочут сапожниками пятьсот человек, по взводу от каждой роты — остальные перманент-

но на выезде или в наряде; топочут и горланят разом пятнадцать припевов, стараясь перекричать и перетопать друг друга.

Зато при отсутствии какой-либо песни в полковой полифонии комполка знал, кто из офицеров не вывел роту на прогулку. И делал выводы.

А пели полковнику разное. От «У солдата выходной» и «Солдаты, в путь» до «Артиллеристы, Сталин дал приказ». За право исполнения последнего хита однажды чуть не подрались сержанты зенитного дивизиона со старослужащими противотанковой батареи.

Группа спецназначения маршировала и бегала под дикое «О-о-о! О! О! О! О-о-о! О! О! О!»

Жуликоватые «маслопупы» из ремроты сделали строевой лирическое: «Стюар-десса по-и-мени-Жанна». Не знаю, как передать этот ритм на письме: «Я иду-у, и сердце плывет! И все бли-и-иже наш самолет...»

Наша рота всегда выводила «Варяга». С помощью него я выиграл у Измирского пари. Игорь жалел, что в России не маршируют под джаз. Я пообещал показать класс и подгадал к ближайшему строевому смотру.

Тогда в роте была проблема с запевалой. Лучший голос призыва, обладатель звонкого тенора огромный рядовой Кожура, катастрофически не попадал в ритм. Он заводил песню со слабой доли и сбивал строй. Едва бойцы подлаживались под запевалу — опять синкопировал ритм, бойцы снова сбивались. Но у меня был козырь — младший сержант Ичеджиев, когда-то в техникуме игравший на ударных.

За вечер я приучил роту маршировать под барабан. За следующий вечер — маршировать под барабан, не отвлекаясь на пение Кожуры. На третий вечер нашелся десяток деревенских хрипунов, способных вторить запевале, при этом не сбиваясь с ноги.

На смотре рота прошла, печатая шаг на слабые доли, словно негры в церкви.

Звонкий голос Кожуры раскачивал воздух.

Оркестранты боролись с желанием танцевать.

Полковник Зингер побагровел.

После Пётр Петрович прокаркал мне, что «строевой смотр — не дежурка» и «отставить шуточки». На следующем смотре заинструктированный Кожура молчал, а запевал лично врио командира роты старший лейтенант Касавченко. Но на вечерних прогулках лелеющая собственную уникальность рота маршировала под джаз еще полгода — до отъезда Кожуры в район. А Измирский, услышав джаз на родном плацу, пообещал мне сюрприз.

В очередной понедельник на полковом разводе я, оставшись за ротного, выводил бойцов на прохождение торжественным маршем.

Кося глазом на личный состав, перекрывая оркестр удалым «Р-ро-о-ота-а!», я вдруг утонул в пронзительных трубах. Это Измирский махнул палочкой — и вместо привычного «Встречного марша» взвилось «Прощание славянки».

С тех пор, если по каким-либо причинам на разводе роту вел я, под мое «Смирно!» Измирский вступал «Прощанием...». Отчего-то мне

к горлу тут же подкатывал комок, делавший особенно хриплой команду «Вольно!»

А вообще, полковой дирижер так шутил. В ту пору «Прощание славянки» я никак не мог подобрать на губной гармошке. И Измирский, дразня считающего дни до дембеля «пиджака», глумливо напевал:

— В жо-пу клю-нул жареный петух!
 Остаюсь на сверхсрочную службу я,
 Надоела гражданская жизнь...

* * *

С фамилией Студнев сам бог велел дослужиться до начпрода, но подполковник заведовал дивизионной КЭЧ. Среднего роста, пухленький, но крепкий русоволосый мужичок с подвижным лицом и цепким взглядом — подполковник часто приходил из штаба дивизии в полк, чтобы вырвать полтора десятка солдат на какую-нибудь дурацкую работу.

Обычно к приданным Студневу бойцам приставляли сержанта. На этот раз ротный отправил старшим меня.

— Славентий, там роялино на четвертый этаж переть. Смотри, чтобы орлы друг друга не передавили. И смотри, чтобы инструмент не кокнули, а то поедем на Кушку взводами командовать.

Про Кушку, давно отошедшую к Туркменистану, он по привычке ляпнул, чтобы ответственность подчеркнуть. Потому что рояль мы должны были поднять в новую квартиру замполита дивизии.

«Бехштайн» был немолод, солиден и тяжел. И велик. Настолько велик, что не проходил в лестничный пролет блочной новостройки.

Он не проходил ни вдоль, ни поперек, ни поставленный на попа — цеплял потолок. Это стало ясно уже после обмера — от клавиш до дальнего изгиба крыла выходило 255 сантиметров, но мы все-таки почти час вручную пытались экспериментально обмануть геометрию. Не смогли. Только умаялись. Вернули «Бехштайна» на улицу и предложили Студневу взять кран и впереть роялину в окно.

От крана подполковник отмахнулся, как от нереального. Ушел. Вернулся. Еще раз ушел. Вернулся. Щедро бросил на рояль пачку «Магны»:

— Закуривай, орлы! Я договорился с соседями сверху. Мы с пятого этажа подтянем рояль к окну четвертого. Заведем его внутрь. Потравим. Примем. И всё! В часть я уже позвонил. Нам везут триста метров стропы.

— Не вытянем, товарищ подполковник.

— Юриваныч, Слав, Юриваныч... Вытянем. Вы ж его по лестнице шестером поднимали. Восьмером ворочали. Воинов двенадцать. Плюс ты, я и водитель. Вытянем!

Возможно, затея имела право на жизнь. Если сперва отработать ее на роялях попроще. Но у нас «черновика» не нашлось.

Представьте себе перехваченную крест-накрест коробку с тортом. Привяжите к ней четыре веревки. Дайте каждую веревку отдельному человеку, стоящему у окна на пятом этаже. И велите, не выглядывая из окна,

аккуратненько подтянуть торт к форточке этажом ниже. Не хватает синхронности?.. Вот-вот.

Тогда привяжите не четыре веревки, а одну. К центру торта. Тяните за нее. Опять перекашивается?..

Тогда прикрепите к обвязке коробки с тортом четыре шнура. В паре метров над тортом соедините их в узел. И уже к этому узлу крепите веревку, за которую потянете коробку вверх. Не перекашивает, но крутится и колотится об стенку?.. А привяжите к тарту дополнительный линек! За него кто-нибудь, стоящий внизу, пусть оттягивает торт от стены, когда люди с пятого этажа будут на веревочке поднимать коробку на четвертый.

Запутались? Тогда перечитайте два последних абзаца. И помните — наш торт весит под три центнера. Если тукнется в стену или чужое окно — отнюдь не кремовую розочку помнет.

Методу подъема рояля мы вырабатывали эмпирически. Инструменту это стоило подломленной ножки и в двух местах содранного стропой черного лака. Нам — часа возни и обожженных стропой ладоней. Зато потом роялина взмыл к четвертому этажу минут за пять. Девять бойцов и я, засев на пятом этаже, за спаренную стропу тащили инструмент вверх. Точнее, я глядел в окно и командовал: «И-и — раз! И-и — раз!..» Под мой счет солдаты выбирали стропу.

Чтобы рояль не сдернул их за окно, пацаны сидели паровозиком на паркете. Босыми пятками упирались в стену, друг в друга, в хозяйскую мебель. Сама хозяйка сбежала в другую комнату — подальше от крепкого солдатского духа.

На земле стодвадцатикилограммовый рядовой Кожура и еще пара приданных ему — в качестве груза — не столь толковых товарищей за дополнительную стропу оттягивали рояль от стены.

Когда мы наверху делали «И-и — раз!», Кожуру поддегивало к небу. Он послаблял стропу — и рояль устремлялся к стене. В последний момент Кожура останавливал его, как норовистого жеребца, оттягивал метра на полтора от стенки, орал: «Давай!» Я снова отмахивал: «И-и!..» Все повторялось.

На четвертом этаже подполковник Студнев покрикивал:

— Осторожней, мужики! Осторожней!

Рояль закачался перед окном замполитовой «трешки». Студнев высунулся по пояс, пробросил стропу и потянул инструмент в комнату. Тот качнулся, всунулся клавишами в окно — и уперся ножкой в подоконник.

— Слава, тyani!

Мы выбрали полметра стропы, ножка поднялась, зато натянутые стропы уперлись в оконный проем сверху.

По-хорошему, следовало бы вернуть инструмент на землю, но Студнев не хотел сдаваться. Рояль ведь заглянул в квартиру почти на полметра! Значит, зайдет! Студнев затребовал к себе двух помощников Кожуры и пару бойцов из моей бригады. Они встали перед роялем и приготовились тянуть его внутрь.

— Трави помалу!

Мои парни подали стропу назад. Но рояль не захотел ползти в новую квартиру. Он опустился на подоконник и попробовал упасть.

Мы не позволили.

Экзерсис повторялся раз десять. Говорят, в конце концов рояль вполз в квартиру почти на метр. Но дальше не шел. Это был пат.

Стропы упирались в оконный проем. Стоило нам попустить стропу — рояль перекашивался, скреб по подоконнику, полз на улицу и грозил ножкой окну третьего этажа.

Пытаясь выбрать стропу, мы выдергивали рояль долой. Так он и висел: на треть в комнате, на две трети — снаружи.

Силы кончались. Положение могли исправить дополнительные стропы, привязанные к тыльной стороне короба. Но мы их не предусмотрели.

Студнев решил опустить инструмент на землю и перевязать сбрую. Мы выдернули рояль из окна. Он вздрогнул, пошел обратно, потащил за собой упирающегося, но одинокого Кожуру и вlepил по раме.

Треснула и рама, и «челюсть» рояля.

Матерно запричитал Студнев. Кожура оттянул свой музыкальный тaран в сторону... и снова не удержал его. Рама покосилась.

К Кожуре спустилась подмога. Инструмент оттянули на безопасное расстояние.

И тут оказалось, что мы не можем его опустить.

Вверх тянуть было просто. Травить помалу получалось полчаса назад, но не сейчас. Парни не только вымотались, но и в кровь сбили руки. Рояль они удерживали, намотав стропы на предплечья. Опускать, удерживая груз, уже не могли.

Я заменил выжатого опорного.

Попытались подать махину вниз.

Клятый «немец» снова кинулся на стену. Кожура рванул его под уздцы и едва не выхватил нас из окна. Мы сумели остановить падение зампилюва инструмента ценой еще четырех сбитых в кровь ладоней.

Рояль — побитый, с треснувшей крышкой и примятой «челюстью» — висел на уровне третьего этажа. Камнем на моей шее.

Сосновый брус, подложенный ради сохранности чужого подоконника, стропа проточила пальца на три. Глаза удерживающих стропу пацанов не выражали ничего.

— Лёха, — заорал я Кожуре, — как пойдет вниз — отбегай дальше! Мужики — держим! Юриваныч!.. Упадёт!

— Держи, мужики! — донесся голос Студнева.

— Держим! — заорал я, перепиливая перочинным ножиком грубую стропу. — Держим!

Стропа поддаваться не хотела, но потом пошла.

Инструмент слегка накренился в сторону изогнутого крыла и исчез из виду.

Следом прозвучал самый мощный фортепианный аккорд в моей жизни...

Следующий день у меня был выходным, но после него прямо с утра посыльный вызвал к Зингеру.

— Товарищ старший лейтенант, кто отвечает за соблюдение техники безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ?

— Старший команды, товарищ полковник!

— И вы обеспечили безопасность личного состава при работах по заданию штаба дивизии?

— Так точно, товарищ полковник. Принял решение пожертвовать грузом.

— Твою мать! — сорвался комполка. — Твою мать! Мало нам, гля, «двухсотых» в районе. У меня в полку — диверсант! Ты, гля, знаешь, что Студнев написал на тебя рапорт по злостному нарушению ТБ?

— Никак нет!

— Научились, гля, отвечать! Ты понимаешь, что это, гля, для тебя неполное служебное — и прощай тринадцатая зарплата?

— Так точно! — нашел я силы ответить, внутренне рыдая.

Зингер поуспокоился и встал.

— Каса-авченко... Ну от тебя не ожидал такого...

Зингер прошелся по кабинету.

— На твое счастье, тринадцатой я тебя не лишу. Потому что перед твоим приходом позвонил замполит дивизии, рояль и окно которого ты расхерачил. И велел не давать ходу рапорту Студнева. Все ясно?

— Так точно, товарищ полковник!

— А на будущее, старший лейтенант Касавченко, запомните: офицер отвечает не только за своих подчиненных, но и за выполнение поставленной задачи! Как офицер, вы должны были или послать Студнева с веревками на хрен, или, раз взялись, засунуть этот сраный рояль в это сраное окно. Так как вы не сделали ни первого, ни второго, я объявляю вам три наряда вне очереди.

— Есть — три наряда вне очереди!

— Ой, гля... Иди уже, оркестрант. К Громозеке поставлю!

— Есть — к Громозеке, товарищ полковник!

Но Громозека ушел в отпуск, а потом уехал в район. Так что отдежуривал я наряды с Измирским. Тот ходил хмурый, не хотел музицировать и называл меня «истребителем немцев». А потом получил майора и повеселел, но устроить сэйшен нам больше не удалось: я отслужил свои два «пиджаковых» года.

— А ведь дирижер сильно рисковал, когда за тебя писался, — заметил ротный, отмечая мой дембель. — Замполит мог в ответ кинуть Игорька через майора! Но — обошлось...

Тут мне и открылась тайна. Разбитый мной рояль дореволюционной работы достался полку вместе со зданием техникума. «Немец» был в плохом состоянии, быстро расстраивался, требовал серьезного ремонта. Измирский выкрутил дивизии руки и заставил нанять реставратора. Мастер поправил внешний вид инструмента, но на отладку механизма ему

чего-то не хватило. Поэтому раз в три месяца рояль приходилось подстраивать. Деньги на это Измирский выбивал из коммунально-эксплуатационной части штаба дивизии. У Студнева.

А потом дирижер ушел в отпуск, и Студнев комиссионно (с полковым зампотылом и прапорщиком вещевого склада) списал «Бехштайна», как выработавшего свой ресурс. И поставил в полковой клуб новенькое пианино «Кубань». Фабрика «Кубань» в те дни умирала и отдавала инструменты практически даром. Кроме того, «Кубань», в отличие от восьмидесятилетнего «немца», не расстраивалась за три месяца.

Сделать с этим Измирский уже ничего не мог. Но когда он узнал, что рояль предназначался замполиту дивизии, и услышал о рапорте Студнева, пришел к замкомдиву и пообещал в случае моего наказания изложить историю приключений «Бехштайна» в письме военному прокурору.

Думаю, сделал это с тем же удивленным выражением лица, с которым убеждал младших офицеров прекратить новогоднюю пьянку. А потом полтора месяца гадал — дадут ему майора или кинут.

После моего дембеля губная гармоника исчезла из мира на десятилетие. Из залежей хлама ее извлек потомок, возлюбивший блюз. Разочарованный покоцанным корпусом и тремя западающими язычками, он выкрасил гармошку синим лаком. Язычки западать не перестали, и потомок с тоски и первой полочки купил новый харп. Не какой-то крашеный китайский «Батерфляй», как у замшелого отца, а настоящий хромированный китайский «Сильверстоун».

Теперь мужское население нашей квартиры не умеет играть уже на двух губных гармошках.

Игоря Измирского я вижу в День Победы вышагивающим с тамбурмажором перед полковым оркестром. Майор — должность не предполагает дальнейшего роста — все так же худ, но уже через волос сед. Перемолвиться нам не удастся уже лет десять.

На моем мобильнике вместо звонка стоит «Прощание славянки».

НИКОЛА НЕГОДНИК

Прапорщика Колю Петренко бойцы любили и недолюбливали одновременно. Любили за невиданную крутизну и безбашенность. Недолюбливали за них же.

— С Гэсэном только умирать хорошо, — охарактеризовал как-то Колю ротный, майор Першерон.

Гэсээн, группа специального назначения, было Колиным прозвищем. Майору же с его фамилией прозвища не требовалось. При росте метр семьдесят с копейками майор весил сто десять кило и не имел ни капли жира. Обладая даже не квадратной, а кубической фигурой, Першерон был безумно скор, в движениях текуч, идеально скоординирован и дрался как Ахилл и Гектор, вместе взятые.

За нарушения дисциплины майор карал бойцов собственноручно. И — собственноручно. В роте висела школьная доска, на которую по

приказу майора проштрафившиеся бойцы записывали мелом свои фамилии. Когда набиралось пять штрафников, Першерон строил роту вокруг борцовского ковра, надевал перчатки и учинял показательное побоище — один против пятерых. От наказуемых требовалось любым способом — нокаутом, нокдауном, болевым или удушающим — нейтрализовать ротного. Бойцы, сплошь разрядники (других в группу специального назначения не брали), справиться с Першероном не могли. Он мордовал разом пятерых. Раскидывал нападавших как котят, навешивал таких люлей, что смотреть было страшно. Бойцы дрались как тигры: заподозренных в поддавках или симуляции Першерон метелил втрое дольше и изощренней. Зато атакующие, оказывающие достойное сопротивление, могли рассчитывать на быстрый и милосердный нокаут или на окончание боя через три минуты. Кстати, продержавшимся против него три минуты штрафникам Першерон давал увольнение.

Один на один против ротного мог выстоять только Коля Гэсээн, прапорщик Петренко — невысокий, кругленький, как мячик, и такой же прыгучий, несмотря на свои девяносто кило. Их поединки казались схваткой кубика Рубика (непредсказуемо меняющего свою угловатую геометрию майора) и теннисного шарика (оказывающегося сразу везде прапорщика). Бойцы вечерами спорили, кто круче — Петренко или Першерон? Выглядели эти рассуждения спором второклашек — кто сильнее, боксер или каратист? Зрительские симпатии обычно доставались ротному. Но это была не столько оценка боевого мастерства, сколько признание адекватности. Трижды контуженный Петренко непредсказуемостью пугал даже спецназовцев. Да и вообще, что можно думать о человеке, который при первом знакомстве представляется:

— Гэсээн Петренко. Прапорщик. Но деруся — как майор!

На боевом выезде Гэсээн попал в штаб дивизии, утомив Першерона своими геройствами. Сначала он снял часовых. Своих. Службу которых надумал проверить, будучи помощником дежурного по части. Во втором часу ночи он отправился обходить посты. От часового к часовому нужно было идти по окопу. В кромешной тьме. Разве что иногда месяц выглядывал из облаков и слегка серело. Коля дошел до первого поста и нашел бойца спящим в щели. На втором — то же. На третьем... К четвертому (всего постов было восемь) Гэсээн не пошел. Вернулся в дежурку, накрутил по проводу начкара и сообщил, что у того сняли трех часовых и, скорее всего, полк уже уничтожен, но на всякий случай — тревога. Начкар от такой предьявы попутал. Настоящую тревогу так не объявляют, а уж учебную — тем более. Тем не менее поднял смену, проверил посты и обнаружил, что у трех часовых исчезли магазины.

Магазины обнаружили у Гэсээна, который брызгал слюной на комбата, чьи бойцы спали на посту.

— Ты, гля, не знаешь, гля, как твой караул стоит! А нас, гля, могли в ножи взять!..

Забрав магазины, комбат — целый «подпол», багровый от стыда и гнева, ушел казнить залетных подчиненных. Но черт дернул его обмолвиться кому-то, что чокнутый Гэсээн впустую бузит. Дескать, Коля по

окопу прошел, вот его и не слышали. А кабы пер со стороны «зеленки» через колючку и мины, сработала бы сигналка и по-тихому бы не вышло.

Как и должно было случиться, речи дошли до Коли.

Через неделю тот же комбат заступил дежурным по полку, а в караул опять вышли его подчиненные. В четыре утра Гэсээн внес в дежурку двух оглушенных часовых. Он ухитрился незаметно выйти за караулы, а потом пробрался сквозь напичканную сигнальными (и не только) минами «зеленку». И снял двух часовых в доказательство своей правоты.

Шухер вышел знатный. О нем прознали аж в дивизии. Командиру полка полковнику Зингеру объявили выговор. Комбат и вся дежурная смена схлопотали строгача. Вдули саперам за хреновую полосу отчуждения. Попытались вдусть Першерону за художества его подчиненного, но майор уперся и написал рапорт на имя Зингера — с просьбой поощрить прапорщика Петренко его, комполка, властью. А на словах пояснил, что, дескать, его першероновские brave спеццы днем и ночью воюют, а потому, когда не воюют, хотят отдохнуть. И лучше пусть чокнутый Петренко снимет этих убогих мотострелков, которые на посту спят и себе на буй наступают, чем всех вырежут «чехи».

Полковник рапорт порвал. Поощрять Гэсээна не стал, но и не наказал. Тем более что Петренко за сутки, пока шли разбирательства, успел поработать как минимум на «Заслуги перед Отечеством».

Особисты добыли инфу о схроне боевиков. Жирную инфу — с указанием не только места, но и тропок через минные поля. Подробности их и смущали. А если деза?.. Начинаешь операцию, а там ждут... Спецам была поручена разведка.

Першерон отправил Гэсээна с тремя добровольцами — пробежаться, осмотреться.

Коля «пробежался» пятнадцать километров по горам. Вышел к указанной точке на дистанцию прямого видения. По дороге убедился, что информатор особистов не соврал: тропки, мины именно там, где описывали. Вот только схрон был так славно замаскирован, что Коля со ста метров даже не мог понять, где он. Подходить ближе не хотел: слишком сладкое место для засады.

Коля долежал до вечерних сумерек и перед дорожкой назад выпустил два «шмеля» в точку, где, по описанию особистов, должен был находиться схрон. И попал. Сначала рвануло. Потом начало стрелять. Потом долго ухало.

Усталые, но довольные они возвращались домой.

А «дома» у полковника Зингера Гэсээна ждали разъяренные «смежники», которые, оказывается, этот схрон пасли. Хотели взять его с хозяевами да размотать — откуда дровишки. «А ты, прапорщик, все похерил!»

Коля смекнул, что «За заслуги» ему не светит, и включил дурака:

— Разрешите доложить, действовал строго по боевому уставу, предписывающему младшим командирам разумную инициативу.

С этим его и отпустили.

На смежников Зингер бы спокойно положил. Но они обратились в дивизию. Те стали требовать объяснений. Зингер объяснял, что смежники

ошибаются. И на войсковой операции положили бы на склоне кучу людей, а его виртуозный Гэсээн двумя «шмелями» все уладил. И за это надо медаль давать.

Хрен ему, а не медаль, отвечали в дивизии. Пусть радуется, что его «шмели» удачно вошли. Стрелял-то твой виртуоз наобум? Наобум! Не видя цели. А войди «шмель» на метр выше? Уйди вбок?.. Схрон бы уцелел. А боевики поняли бы, что обнаружены. И просто все перепрятали бы. А может, еще успели бы перехватить группу твоего Никола Негодника. И было бы у тебя, полковник, четыре «двухсотых».

После этого Зингер вызвал Першерона и приказал присматривать за резким подчиненным. Бо за три дня — два подвига с последующими разборками на уровне комполка и комдива, это перебор. Уже и погоняло новое — Никола Негодник. Уйми хлопчика. Найди ему дело...

* * *

Першерон нашел Гэсээну задачу, сводящую к минимуму «разумную инициативу». Он поставил Петренко сопровождать колонны на Владик.

К тому времени дороги уже в основном были оседланы блокпостами. Война сдвинулась в горы. Проводка колонн превратилась практически в рутину. Инициативничать в колонне Коле было негде. Тем более — на замыкающем бэтээре, от которого, при отсутствии неприятеля, требовалось одно — не отставать.

Ротный не учел малости: Петренко был не только воином, но и крестьянином.

Возвращаясь после первой же проводки, в десяти минутах езды от части Коля углядел одинокую корову. Она была, как большинство местных коров, маленькой, костлявой и не по-местному грязной. Вымя ее было переполнено. Она страдальчески мычала посреди заросшего бурьяном поля. Но отчего-то не шла на дойку, как порядочные буренки.

Коля знал, как такое случается. Корову могли напугать взрывы. Она могла утратить ориентацию от резких запахов пороха и мазута. Пережить стресс и потеряться. Коля взял из бэтээра канистру для питьевой воды и потыренный спецами с кухни плоскодонный дюралевый казанчик — «таран». Скинул броник, взял рюкзак. Оставил за себя сержанта Конику, из «черпаков», и велел ждать его в части:

— Я скотину подою, чтоб не мучалась. К табору выйду «зеленкой». Тут-то всего километров пять осталось.

До табора, вкопавшегося к зиме в грунт полкового лагеря, действительно оставалось километров пять. Но — через поля, на которых из сельскохозяйственных культур росли только мины. По дороге же выходило километров пятнадцать и два блокпоста.

— Для всех — я с вами. Понял? — проинструктировал Гэсээн сержанта. И смягчил интонацию: — Молочка принесу.

Корова чужому сперва не давалась, но Коля ее заболтал. Когда надой был перелит в канистру, а навьюченный рюкзаком прапорщик двинул к лагерю, буренка пошла следом.

— Я и подумал — у нее, гля, на задней ноге рассечение нехорошее. Похоже на, гля, осколок дня два назад. Будто миномет. Пропадет же скотина без хозяев! А у нас около второго батальона даже лужок есть. Научу бойцов доить. А там и сено найдем... — объяснял потом свои резоны Петренко.

В общем, накинул он буренке на рог петлю и повел в табор. Через минные поля. Опасные места обходил. По дороге снял пару гранат с растяжек. Но не уложился по времени. До части оставалось всего метров триста, когда легли сумерки. Коля углядел растяжку на тропе, но снимать не рискнул. При малом свете можно какую-нибудь подлость не усмотреть. Попытался провести корову через растяжку, но бестолковая скотина смахнула проволоку. Коля услышал щелчок и успел рухнуть дальше по тропинке. Корова гэсэновской подготовки не имела и приняла на себя львиную долю осколков РГД-5.

Петренко дострелил ее, плача. Первая пуля легла неудачно. Корова застонала по-человечьи. Второй выстрел прекратил мученья животного.

В части подрыв услышали. Выстрелы тоже. В «зеленку» на ночь глядя решили не соваться, но следили за ней — будь здоров. Минут через сорок из темноты слышали какие-то странные звуки. Запустив осветительную ракету, часовые увидели страшную картину: к одному из постов по выкошенной полосе отчуждения двигался бесформенный кровавый монстр. И крыл всех в три наката, за то что не догадались подсветить пораньше.

Коля приволок едва не сотню кило говядины. Так как ничего режущего, кроме штатного боевого ножа разведчика, при нем не было, разделять корову он толком не смог. Вспорол брюхо, вынул печень и выбросил остальные потроха, чтоб мясо до утра не пропало. А потом вырезал из суставов ноги, связал их через дыры в шкуре, как переметные сумы, повесил на плечи и припер в лагерь. И рюкзак с канистрой молока не бросил. Только таран с печенью возле коровы оставил. Его поутру спецы вместе с остальным мясом забрали. Ничего с ним за ночь не случилось.

А вот с Колей — случилось.

О подозрительных звуках на фланге полка дежурный успел доложить в дивизию. Ну и «явление Христа народу» произвело яркое впечатление. Зингер вызвал Першерона. Поведал, что дивизионное командование живо интересуется постановкой воспитательной работы в полку вообще и в группе специального назначения в частности. Что командование настолько изумлено размахом подвигов прапорщика Петренко, что даже не стало никому объявлять взысканий. И это — дурной знак. А потому пусть Першерон сам определит, по какой статье отдаст своего подчиненного под трибунал — за оставление боевого поста, за оставление части с оружием в руках или за мародерство. По законам военного времени любого из составов хватило бы для расстрела. Першерон попросил полковника позволить ему наказать Николу Негодника (они уже оба употребляли это прозвище вместо гордого Гэсээн) самостоятельно. Зингер заглянул в очи Першерона — и позволил.

Першерон драл Петренко перед всей ротой, как сопливого новобранца. Для начала он разжаловал в рядовые сержанта Конику. За то, что подставил ротного, не доложив, где на самом деле находится командир отделения.

Петренко пытался взять вину на себя, но майор прервал его презрительным:

— А-ацтавить, товарищ прапорщик! В-вас я пока не спрашиваю!

Коля был потрясен официальным тоном. Коник же снес лишение лычек стоически — он, как и весь экипаж Колиного бэтэера, считал, что их прапорщик круче ротного.

Но тут Першерон нанес второй удар. Он опять вывел из строя Коника и объявил новоиспеченному рядовому, что за безукоризненное выполнение приказаний, полученных от непосредственного начальника (понимай — Гэсэна), выносит рядовому Коннику благодарность и присваивает ему звание ефрейтора, что сегодня же будет отражено в приказе по роте.

Гэсээн совсем сник, он понимал, какое унижение для Коника ефрейторские лычки. И только тут Першерон снизошел до разговора с винником торжества.

— Прапорщик Петренко!

— Я!

— Доложите мне, ради какой разумной инициативы... разумной инициативы... вы сегодня совершили сразу три воинских преступления... воинских преступления: не исполнили приказ, с оружием оставили расположение части и занялись мародерством?

— Артур, да я ж... Молока пацанам... Корова мучалась же...

— Теперь она уже не мучается, товарищ прапорщик? Теперь ей в маринаде хорошо?

— Ну я ж не думал, что так...

— Вот это, товарищ прапорщик, верно! Это верно... Ну кто мог предположить, что так выйдет? Кто — тарарам! — мог подумать, мог подумать... что гулять в сумерках по минным полям в Чечне — небезопасно? Кто мог подумать, что прапорщик группы специального — трамтарарам! — назначения, гоняющий коров, это конкретный залет? Прапорщик Петренко!

— Я!

— Правами командира роты объявляю вам... что вы — идиот! Идиот, которому я даже не стану объявлять выговор. С завтрашнего дня вы со своим экипажем будете откомандированы в штаб дивизии. Смените находящееся сейчас там отделение. Вопросы есть?

— Никак нет!

— А зря! От того, как ваше отделение... ваше отделение... будет выполнять задачи по обеспечению безопасности передвижений комдива и офицеров штаба... офицеров штаба... зависит не только, товарищ прапорщик, ваше будущее... ваше будущее... но и шансы на возвращение в сержанты ефрейтора Коника... ефрейтора Коника... И последнее... В дивизию отбываете сразу после завтрака. Это, Николай, значит, что остатки туши должны быть доставлены в расположение сразу после подъема.

С дивизией Першерон ладно придумал. Что такое — сопровождать комдива? Дело ответственное и утомительное. Весь день на броне на ветру протрясись — на глупости сил уже не останется.

Кроме того, безопасность начальства обеспечивать — это не в казаки-разбойники с бородачами в лесу играть. Куража нуль, адреналина и

вовсе минус. Почва для самопроизвольного раскрытия крыльев всемогущества отсутствует. А нет крыльев — нет и залетов.

Наконец, если приданные дивизии спецы не в боевом охранении идут, а работают извозчиками, то все равно их штабные пассажиры по звездам будут не ниже подполковника. С таким клиентом на борту за молочком не побегаешь.

И кончились у Гэсэна залеты. Весь день он пристегнут к какому-никакому, а начальнику. Зато в быту — эдем. Квартует отделение в соседней со штабом землянке. В двадцати шагах — настоящая банька. Врытая в землю, буржуйкой отапливаемая, а все же — парилка. После полуночи, когда штабные полковники перемоются, можно бойцов потешить. Харч отделению от офицерской столовой идет. И хотя в дивизии, как и в полку, нету соли и мяса — вместо них к кашам соленая горбуша, но здесь-то и спецов других не присутствует! А это значит, что у поваров куда проще разжиться сгущенкой или консервами, чем в полку, где срочников — полторы тыщи рыл... и с крутыми явный перебор. Конечно, сам Гэсээн до маклей с поварами не унижится, но его бойцы давно навели мосты — и в землянке теперь вкусно.

* * *

Два месяца не было слышно о Гэсээне ничего. А потом он расстрелял гражданскую «копейку».

Ребята потом говорили, что передержал Першерон прапорщика на строгом ошейнике. Дернуться Коля не мог, но ему же рассказывали, как рота работала. Там были зачистки, бои, засады. А он катал штабных да сопровождал дивизионные колонны на Владикавказ. На очередной проводке и попал.

Он, как обычно, шел на замыкающем бэтээре. Колонна двигалась от Владика на Назрань и дальше в Чечню — к Бамуту. Только прошли черменский круг, как колонну догнала битком набитая смуглыми мужчинами жига с ингушскими номерами и намылилась на обгон. Коля велел водиле выйти на середину дороги (там тесная двухполоска) и не позволять себя обойти. Водителю «копейки» стволом АКМ показал на укрепленный на броне знак «обгон запрещен». Водитель не понял. Он сигналил. Пытался проскочить по обочине. Потом поотстал, сделал вид, что смирился, и вдруг припустил мимо бэтээра по правой обочине.

Коля помнил, что неделю назад под Малгобеком в мирной Ингушетии мальчики на москвичонке впаяли из гранатомета в обгоняемый армейский бензовоз.

Коля пальнул в воздух, а потом прошел очередью дерзкий жигуль.

«Копейка» замерла на обочине. Бэтээр с ревом пронесся мимо. Вообще, это было очень удивительно. Колонна шла под сотню. Жигуленок — изрядно за. По идее, он должен был скользнуть с высокой обочины и метров через десять врубиться в деревья лесопосадки. Бог миловал.

Километров через семь на блокпосту между Осетией и Ингушетией колонну остановили. Мобильники в девяносто пятом были еще редкостью, тем не менее на пост успели передать о расстреле вояками автомобиля.

Через двадцать минут приехал начальник милиции Чермена. Через полчаса — прокурор Осетии. Через сорок минут к посту собралось десятка три автомобилей с возмущенными родственниками и взвод осетинского ОМОНа, чтобы спасти прапорщика от самосуда.

Гэсээн не запирался. Да — стрелял. Так как поставлен обеспечивать безопасность колонны. Колонна, объект повышенной опасности, везет горючее и боеприпасы. Обгон армейской колонны запрещен, если на замыкающем автомобиле установлен соответствующий знак. Вот вам этот знак. Какие вопросы?..

Коля вряд ли дали бы шанс проговорить все это, если бы были жертвы. Но их не было! Стреляя сверху, прапорщик выпустил семь пуль — и все они вошли в капот и крышу «копейки». В автомобиле ехало семь человек. Никто не получил ни царапины!

Прокурор поставил вопрос ребром: по чьему приказу стреляли?

В деле был важный нюанс. Да, армейскую колонну, тем более — оборудованную специальным запрещающим знаком, обгонять нельзя. Джигиты были совсем не правы. С другой стороны, открывать огонь на поражение боевое сопровождение может только на территории боевых действий. И хотя от места ЧП до границы немирной Чечни было полчаса ходу, а на территории Осетии и Ингушетии постреливали, зоной боевых действий республики не считались.

Налицо было превышение полномочий. Или старшим колонны — если это он приказал стрелять по нарушителям, или Колей, засандалившим из автомата по дурным малолеткам. Коля сказал, что старший приказал ему повесить знак и, чтоб не повторить Малгобек, не допускать обгонов. Старший ответил, что о знаке он говорил, но приказа стрелять не давал. Это подтвердили свидетели.

Хмурые осетинские омоновцы увезли Колю в СИЗО.

Этим же вечером в штаб дивизии вошел Першерон. Он без лишнего шума выгнали старшего колонны из землянки и несильно, но долго, болезненно и унижительно бил. Бил, повторяя, что командир обязан брать на себя вину подчиненного в любом случае, а уж потом наказывать его, если он виноват. И если сраный полковник этого не понимает, то лучше ему повеситься на телефонном проводе, возле которого он проводит свою войну. Потому что Коля в камере, и осетины за своих могут с ним сделать все что угодно. И если с прапорщиком хоть что-то произойдет, то... полковнику лучше об этом не думать.

Вокруг стояло человек тридцать спецназовцев. Пока штабисты протолкались сквозь них и пресекли безобразие, Першерон убедил визави выправить ему документы для поездки во Владикавказ.

Завтра.

Для починки «бэтээров».

Трех.

Утром три бэтэера группы специального назначения припарковались перед СИЗО Владикавказа. Спецы с автоматами на локте остались на броне. В помещение вошел один Першерон. Безоружный. Его сразу провели к начальнику — грузноватому усатому подполковнику.

— Майор Першерон. К вам вчера доставили моего прапорщика Петренко.

— Доставили...

— Товарищ подполковник...

— Георгий!

— Георгий?

— Георгий Васильевич. Но можно — Георгий.

— Хорошо, Георгий. Мой прапор накосорезил и пойдет под суд.

— Пойдет, да... Как жалко!

— Я приехал сказать, что приеду опять, если до суда с Николаем хоть что-то случится.

— А что с ним может случиться?

— Я просто говорю. Просто. Но мои бойцы — волнуются.

— Пойдем. Пойдем, говорю... Коля, к тебе друзья пришли. Они волнуются...

Петренко сидел в одиночной камере. Рядом с ним был недоеденный осетинский пирог и какие-то овощи.

— Артур, ну я же был прав!

В СИЗО Владикавказа Гэсээн просидел девять месяцев и поправился на девять килограммов. Поправился, потому что заниматься спортом в камере было сложно, а охрана закармливала его шашлыками.

Только не подумайте, что подполковник Георгий испугался Першерона. Нет, все страшнее. Охранники сдували с Коли пушинки и принимали его как самого дорогого гостя, потому что в расстрелянной им «копейке» ехали кровники. Недруг недруга был другом.

Колю признали виновным, но выпустили сразу после суда, зачтя проведенное в СИЗО за срок. Он еще долго судился, восстановился в должности и звании, но потом его все равно уволили. Как водится — с каким-то скандалом, но этого я уже не помню. Говорят, сейчас он таксует на немолодой «девятке», но живет хорошо. У него есть несколько постоянных клиентов, которые, собираясь уйти в загул, нанимают непьющего (а не пьет он еще с самой первой контузии) Колю. Он возит пассажиров по кабакам, клубам и пикникам. Оплачивает их счета, доставляет их по домам и в целом гарантирует неприкосновенность. Сколько за это платят, Коля не рассказывает, но смеется, что больше, чем за охрану комдива.

Старший колонны, фамилию которого память моя не сохранила, по слухам, вышел на пенсию и был замечен в какой-то ветеранской организации.

Полковник Зингер ушел на пенсию и уехал в среднюю полосу, купив там квартиру с помощью сертификата. Рассказывали, что перед отставкой онпил сильно — даже по армейским меркам.

Майор Першерон погиб в 1999-м под Ботлихом. Группа бежала по «зеленке». Артур услышал характерный звук выдернутой чеки и понял, что кто-то из бойцов задел растяжку. Со всей силы майор толкнул двух срочников, бежавших перед ним, в спины. Бойцы полетели вперед и рухнули на тропинку. Осколки прошли поверх.

Самому Першерону вжаться в грунт не хватило секунды.

Анатолий АВРУТИН

РУССКАЯ ВЬЮГА

* * *

Бредет навстречу дряхленький Мирон,
Еще с войны контуженный, живучий.
Извечный завсегда́тай похорон
Других солдат, что в мир уходят лучший...

Он сдал в музей медаль и ордена,
Он потерял жену, а с ней — рассудок.
И встречного: «Закончилась война?..» —
Пытает он в любое время суток.

«Да-да, Мирон, закончилась... Прости,
Что мы тебе об этом не сказали...»
Он расцветает... И звенят в горсти
Монеты на бутылку от печали.

Бутылка — так... На первом же углу
Он встречного о том же спросит снова:
«Закончилась?..» Морщинки по челу
От радости бегут не так сурово.

Проклятый век... Шальные времена...
В соседней Украине гибнут дети.
А здесь Мирон: «Закончилась война?..»
И я не знаю, что ему ответить...



* * *

Вьюги поздним набегом
Города замели...
Я шептался со снегом
Посредине земли.

В суете паровозной
У хромого моста
Стылой ночью беззвездной,
Что без звезд — неспроста...

Я со снегом шептался,
Мне казалось, что он
Только в мире остался —
Ни людей, ни времен.

Хлопья рот забивали
И горчили слегка.
Комья белой печали
Всё сжимала рука.

Я шептался со снегом,
Я доверил ему,
Что спасаюсь побегом
В эту белую тьму.

Так мне видится зорче,
Если вьюга и мгла —
Обхожусь, будто зодчий,
Без прямого угла.

А потом — перебегом —
По дороге ночной...
Я шептался со снегом,
Он шептался со мной.

Снег пришел осторожно
И уйдет невзначай,
Как попутчик дорожный,
Что кивнул — и прощай...

* * *

По русскому полю, по русскому полю
Бродила гадалка, вещая недолю.
Где русская вьюга, там русская вьюга,
Там боль и беда подпирают друг друга.
Там, слыша стенанья, тускнеют зарницы,
Пред ворогом там не умеют клониться.
Там ворон кружит, а дряхлеющий сокол
О небе вздыхает, о небе высоком...

О, русское поле! Гадала гадалка,
Что выйдем мужик и ни шатко ни валко
Отложит косу и поднимет булаву
За русское поле, за русскую славу.
И охнет... Но вздрогнут от этого вздоха
Лишь чахлые заросли чертополоха...
Лишь сокол дряхлеющий дернет крылами
Да ветер шепнет: «Не Москва ли за нами?..»

О, смутное время! Прогнали гадалку...
И в храме нет места ее полушалку.
Кружит воронье, а напыщенный кочет
О чем-то в лесу одиноко хохочет.
Аль силы не стало? Аль где эта сила,
Что некогда ворога лихо косила,
Что ввысь возносила небесные храмы?..
Куда ни взгляни — только шрамы да ямы.

Лишь пес одичавший взирает матеро,
И нету для русского духа простора.
В траву одиноко роняют березы
Сквозь русское зарево русские слезы...

* * *

Расстегнутый ворот... Спешу не спешу,
Уже ничему удивляться не надо,
И тихая боль одинокой души
Не тише, чем шепот уснувшего сада.

И каждая буква как полустон,
Что в горле твоим же рыданьем задушен.
И в мире уже ни концов, ни сторон,
А только одни заплутавшие души.



Им больно вставать со скрипучих колен
 И больно нести пустоту и усталость...
 И гул не идет от натруженных вен,
 Где в тусклой крови и мечты не осталось.

Лишь утлая лужа звездами полна
 Да клевет сменил соловьиное пенье.
 А были ведь песни на все времена...
 Но то времена... А теперь безвременье...

* * *

В этом доме к утру по углам задрожит паутина,
 Закачаются стены, от гула качнет потолок...
 И ты бросишься ниц пред иконою... Охнешь повинно,
 Ощущая — томительный ужас тебя обволок.

Побоявшись поднять черный взгляд на корявую стену,
 Там, где трещинка криво, но все ж обошла образа,
 Ты душою покорной готов окунуться в геенну,
 И повинные слезы вконец застилают глаза.

И сквозь эту слезу вдруг узрешь — светло и широко
 Разливается в поле — где ратники — чудо-заря.
 И летят скакуны, и все слышится: «Око за око!»
 И упавшие замертво знают, что гибли не зря.

Одичалый сизарь — вислокрылый, худой и ленивый,
 Ни на что не пригодный, голодный и глупый сизарь —
 Лишь посмотрит хитро, удивится, что мы еще живы
 И что город наш пеплом не пущен, как было бы встарь.

И, слезу осушив о веселые искры рассвета,
 Вдруг поймешь, что являлись к тебе лишь в испуганном сне
 Этот гул грозовой, эта песня, что так и не спета,
 Этот ратник, упавший башкою к последней весне.

Потерев кулаком от испуга набрякшие веки,
 Удивленно прошепчешь: «Приснится же, ешкина вошь...»
 И все будешь гадать: «Это ж сколько всего в человеке...»
 А откуда ожог на ладони — никак не поймешь...

* * *

Эта робкая сирость нищающих тихих берез...
Снова осень пришла... Все опять удивительно просто —
Если ветер с погоста печальные звуки донес,
Значит, кто-то ушел в ноздреватое чрево погоста.

И собака дичится... И женщину лучше не трожь —
Та похвалит соседку, потом обругает ее же...
И пошла по деревьям какая-то странная дрожь,
И такая же дрожь не дает успокоиться коже.

Только женские плачи все чаще слышны ввечеру...
Увлажнилось окно... И я знаю, не будет иначе —
Если в стылую осень я вдруг упаду и умру,
Мне достанутся тоже скорбящие женские плачи.

Постоишь у колодца... Почувствуешь — вот глубина!
А потом напрямки зашагаешь походкой тяжелой.
Но успеешь услышать, как булькнет у самого дна
Та ночная звезда, что недавно светила над школой.

Вслед холодная искра в зенит вознесется, слепя
Обитателей теплых и похотью пахнувших спален...
И звезду пожалеешь... И не пожалеешь себя...
Да о чем сожалеть, если сам ты и хмур, и печален?



Наталья КОБОУ

ЖЕНА

Р а с с к а з

Свадьбу гуляли два дня. Пришла не вся деревня — такого давно уже не водилось, но все же человек восемьдесят за выходные перебивали, переобнимали, перекричали «горько!», перешептали на ухо «счастья тебе».

Ольге не верилось, что это все наяву. Что она теперь — жена. Хозяйка теперь, будущая мать. Теперь все становилось настоящим, взаправдашним: свой дом, ответственность за семью, за мужа. Она с любовью и ожиданием смотрела на раскрасневшегося Григория, прощала ему водку без меры, дерганные танцы с соседками под «Ласковый май», ссору с кем-то на крыльце... Теперь он был только ее, принадлежал ей.

Разминая оливье на тарелке, представляла, какими получатся их свадебные фотографии. Фотографироваться решили заранее, чтобы «по трезвяку». Вчера Ольга надела свадебное платье, сшитое вместе с мамой (очень простое, приталенное, она выглядела в нем как девочка), он — новый костюм (за костюмом пришлось ехать в Челябинск, в Кустанае таких не было). Розовые задники, сердито прикрикивающий фотограф (мало, что ли, он видел таких молодоженов, ну чего время тянуть?). Ей уже тогда стало страшно, сердце подкатило к горлу — неужели это навсегда теперь? С ним? Крепко уцепилась за его руку.

— Оль, ну чего ты, все пальцы отдавишь! Чего, боишься, что ли? Сейчас вылетит птичка! — подсмеивался над ней.

Бабушка была против:

— Нехорошо, что он Олечку заранее в платье увидит! Не полагается так! Счастья не будет!

Свекровь остудила:

— Анна Петровна, ну чего вы глупостями старыми пугаете! В понедельник фотостудия не работает, да и им потом уже не до того будет, — подмигнула незаметно будущей невестке. — Пока они проявят да напечатают, небось, неделя и пройдет. Нам же их всем разослать надо, Ленка вон как расстраивается, что не могут приехать на свадьбу.

— Нечего было черт-те куда уматывать... где родился — там и пригодился, — ворчала бабушка.

Крики на улице — «Гри-ша-ня! Гри-ша-ня!», качали на руках. Лица сливовые, потные.

— Свадьба удалась, веселая, — шушукались девчонки. — Счастливая ты, Олька! Какого парня отхватила!

— Ну-у, девочки, у вас тоже хорошие!

Чокались вином, стаканы все разные: синее стекло, красное, у кого-то с узорами. Большая свадьба — все соседи посуду принесли. Лишь бы не побили, крику потом не оберешься.

Отмечали в его доме: после смерти отца большой дом с тремя комнатами — только его и матери. Целое богатство. На ночь приезжих родственников положили в две комнаты — на кровати с приставленными в ногах стульями и на пол в кухне.

У молодых была своя комната. Григорий привел ее за руку, стащил с постели покрывало, кинул на пол, сверху набросал полотенце.

— Гриша, погоди, — пыталась она остановить. — Может, завтра лучше? Устал же, вон мокрый весь.

— Жена ты мне или не жена? Мало, что ли, я ждал? — засмеялся.

Она подчинилась.

Сравнивать было не с кем — первый раз. Перебрались на кровать и заснули как убитые. Утром Ольга проснулась от голосов и шума — это Гриша бегал по дому с полотенцем, демонстрировал друзьям: всё как надо, самые настоящие молодожены! Друзья топали и подсвистывали. Вышла к гостям вся багровая, но, к счастью, старшие родственники полотенце уже отобрали и спрятали.

На второй день все было то же самое: тосты, песни, пляски. Только уже без всякой системы: в субботу они еще кусали каравай, шли по вышитому полотенцу, слушали благословение родителей, а в воскресенье все было по-простому — больше молодежи, беспрестанно грохотала музыка. Ольге казалось, что она уже и не всех гостей-то знает.

Никак не могла привыкнуть к кольцу: норовила все время держать руки замочком — боялась, что оно вот-вот упадет с пальца. Когда никто не видел, украдкой любовалась, отставляла руку подальше — вот ты какая, взрослая жизнь.

Платье было уже попроще, но все равно красивое: розовое, с тугим поясом. К вечеру пояс стал невыносим, она потихоньку запускала под него пальцы и пыталась отдышаться. Ничего уже не хотелось — только смыть с себя пот и скорее на взбитые подушки, спать.

Разошлись за полночь. У нее не было даже сил проводить последних гостей — лежала на кровати, пощипывала себя, чтобы не заснуть, пока Гриша не пришел и не лег, а то какая же из нее жена...

— Красивая ты у меня, Олька-а... — погладил ее по груди и в секунду засопел. Она благодарно потрепала его по волосам, прижалась к его плечу и тоже уснула.

Следующая неделя была выходная. На его жигулях перевезли ее вещи от родителей в новый дом. Ольга намывала полы, крахмалила занавески, поливала и полола огород. Григорий взялся подновить баню, которая косела потихоньку в сторону соседского забора. Вечером ходили в центр, гулять. Надевали самое лучшее, она брала его под руку, вышагивали степенно, гордо — теперь муж и жена. Товарищи подсмеивались над ними, подначивали:



— Когда наследник-то будет?

— За нами не заржавеет, — отвечал Григорий и прижимал жену за талию. Ночи стояли душные, но они закрывали окно, — чтобы на улице не слышно было, как у них «не ржавеет».

В субботу утром Григорий с друзьями отправился на озеро, купаться. Ольга осталась — хотела выспаться, а потом сходить к родителям: рассказать про новую жизнь, помочь младшей сестре с уроками.

Вместо Тополиного озера ребята поехали на дальние карьеры.

Григорий нырнул вниз головой. Ударился о бетонную плиту на дне (разве никто не знал про эту плиту? Неужели там не было местных в тот день? Почему ему никто не сказал?! — задавалась позже вопросами Ольга вновь и вновь). Сломал шейные позвонки. К счастью, товарищи заметили сразу, как бессильно он повис в прозрачной воде. Вытащили. Увезли в больницу.

Дальнейшие недели Ольга запомнила плохо. Что-то происходило и тут же стиралось. Главное стало ясно быстро: ее муж полностью парализован. Травма спинного мозга, паралич всех конечностей, никаких шансов на выздоровление.

Первые месяцы Григорий должен был лежать неподвижно — чтобы срослись сломанные кости. Она ездила к нему в больницу, каждый день к двум часам, и сидела до вечера, держала за руку. Когда нянечки его мыли и делали процедуры, выходила в коридор. Поврежденные функции дыхания восстановились, и он мог самостоятельно дышать и говорить. Но молчал. Много недель.

Она плакала, говорила, что любит его, будет ухаживать за ним, что он поправится, что у них вся жизнь впереди. Потом перестала плакать, тоже молчала, гладила по рукам и лицу.

По утрам, до больницы, с 8:00 до 13:00 отработывала свою смену в школе. Ученики затихали, когда она входила в класс. Коллеги говорили в ее присутствии шепотом, на большой перемене приносили ей чай в учительскую, по очереди дежурили вместо нее по школе.

В начале третьего месяца Григорий сказал Ольге:

— Выпишут из больницы — разведемся. Не хочу, чтоб ты со мной... таким. Раз уж не получилось, то... Разведут без вопросов — понятно же.

Она знала, что к тому идет. Внутренне уже много раз перекачала камешки ответа с левой стороны рта на правую, с правой стороны сердца на левую. Отшлифовала их, ненужные выбросила, трюеточия подчистила до точки.

Его выцветшая мать уже говорила ей это.

Ее растерянный отец уже говорил ей это.

Ее мать уже рыдала в голос:

— Дочка, ты не понимаешь, что тебя ждет, на что ты идешь!

— Я твоя жена, — ответила она. — И буду жить с тобой.

Вышла в коридор. Ноги не держали, села на пол.

На следующий день приехала, как обычно, в два часа. Стала рассказывать ему про свой класс, про хулигана Мишу Казанкова, про отличную контрольную работу Светы Бочкарёвой. Раньше она почти каждый свой

день ему пересказывала, в подробностях. Дети же — у них каждый день что-то происходит.

Раньше в классе сидели и ее будущие дети, невидимые для всех остальных, и тоже учили правила сложения и вычитания. Теперь их не стало, они растворились в проклятом озере, и она их больше не видела. Но об этом она ему не рассказывала.

В течение нескольких недель после выписки из больницы к ним приходили врач и медсестра. Учили Ольгу и свекровь ухаживать за лежачим: как кормить, мыть, опустошать мочевой пузырь и кишечник, переворачивать и обтирать, сгибать, разгибать и растирать руки и ноги для поддержания кровообращения и, теоретически, восстановления чувствительности. Все понимали, что последнее — для галочки. Атмосфера в доме была тяжелая, черная — как когда стоит гроб с покойником. Только гораздо дольше, чем три дня.

Григория положили в «их» комнату, на «их» кровать, над которой висела свадебная фотография. Ольга спала в соседней комнате, свекровь — в большой, где праздновали свадьбу.

По ночам Григорий часто просыпался, кричал каким-то чужим, страшным голосом, похожим больше на вой, чем на крик. Ольга и свекровь вставали к нему, как встают к грудному ребенку, но не по очереди, а вместе. Разговаривали с ним, обтирали, переворачивали (вот как раз это — вдвоем). Потом свекровь уходила, а Ольга оставалась и пела ему колыбельные или шептала что-то, прижавшись губами к его лицу. Он успокаивался, впадал в забытье.

* * *

Как оказалось, так тоже можно жить.

Первая половина дня была «сменой» свекрови-пенсионерки, вторая — Ольги. Иногда приходили его друзья, мялись смущенно на пороге, комкали кулаки в карманах. Спрашивали, что купить, чем помочь. Ольга давала деньги, они ездили за продуктами на Гришиных жигулях.

Друг Андрей помог купить у больницы каталку на колесиках. В хорошую погоду они укладывали на нее Григория и вывозили в огород, побыть на свежем воздухе. Тузик истошно лаял от своей будки: не понимал, почему хозяин теперь все время на четырех ногах.

Пособие по инвалидности начислялось исправно. Родители Ольги, еще работавшие, помогали деньгами и по огороду.

— Как дела, Григорий? — бодро спрашивал тесть, заходя в дом и надевая рукавицы для работы. — Какие новости?

— Да вот, наши выиграла опять, — отзывался зять. Друзья скинулись и подарили им новый телевизор, который поставили напротив его кровати.

Приходила Ольгина сестра, читала ему вслух газеты и книги: в основном то, что ей задавали по школьной программе.

Прикидывавшая до свадьбы, как бы сохранить свои порядки в доме, свекровь теперь во всем беспрекословно слушалась невестку. Поздними вечерами она открывала потихоньку дверцу своего шкафа, с внутренней

стороны увешанную репродукциями икон, и молилась за рабов Божьих, Ольгу и Григория.

Наконец Ольге удалось раздобыть инвалидную коляску — самую простую, которую надо крутить движением колес. Этого Григорий, конечно, не мог. Но зато теперь вместо каталки они сажали его на коляску, чтобы вывезти на солнышко. Ольга предлагала ему «выйти» и за ворота, проехать, посмотреть на село, но от этого он решительно отказался.

— Не хочу, и не настаивай, — сказал он, как будто заглатывая лишний воздух. — Я вроде человек еще, уважай мое мнение, разве я многого прошу?

* * *

Через пять лет, ранним мартовским утром (свекровь приболела и лежала у себя), когда Ольга обмывала Григория после сна, ей показалось, что она почувствовала небольшое шевеление под рукой. Через несколько дней — опять. Некоторые функции организма у парализованных со временем восстанавливаются... Они снова стали мужем и женой.

Она забеременела. Это казалось невероятным. Родственники плакали от счастья. Соседи с подозрением переглядывались. Григорий с Ольгой сидели вместе на солнце, держались за руки, тихо разговаривали. Тузик присмирел: к инвалидной коляске он привык давно и гораздо быстрее, чем к каталке.

Зимой Ольга родила дочь Надю. В начале нового года ее младшая сестра вышла замуж и уехала в Челябинск, а свекровь однажды утром умерла от инсульта по дороге в магазин.

Ухаживать одной за Григорием было сложно, и внучку растила мать Ольги. Пока Надя была на грудном молоке, они жили все вчетвером, потом девочка переехала к бабушке и дедушке. Ольга забегала к ним утром, перед школой, а после обеда бабушка приходила с Надей и сидела с ней у кровати Григория. Два раза в день заходил дед, помогал переворачивать зятя. Количество уроков в школе Ольге пришлось сократить.

Распада Советского Союза она за своими делами не заметила. Просто в какой-то момент продуктов в магазине стало еще меньше, чем раньше, а зарплата, кажется, совсем потеряла свое значение. Ольга за бесценок продала машину — все равно водить некому, ржавеет только. По выходным и летом стала ездить на автобусе на городской рынок — торговать помидорами, огурцами и зеленью с огорода.

Когда Надя подросла, стало полегче: дочка убиралась в доме, полола грядки, кормила папу. Когда пошла в школу, молча и тщательно лупила мальчишек, припевающих: «Надькин папка — паралитик! Надькин папка — паралитик!»

Под конец дня Ольга ложилась на кровать к Григорию, клала голову ему на плечо и смотрела вместе с ним телевизор. Когда были силы, рассказывала, как прошел день в школе и что сегодня на базаре подрались две торговки. Советовалась с ним, как распределить семейный бюджет: Надьке надо пальто на зиму, а еще она коньков испросилась, давай купим ей.

В конце девяностых произошли важные улучшения: в продаже появились подгузники, влажные салфетки, специальные присыпки. Они не могли себе позволить такие покупки каждую неделю, но эти средства помогали в случаях Ольгиного отсутствия.

На похоронах ее отца Григорий в инвалидной коляске сидел среди прощающихся. Это был его первый за долгие годы выход в люди. Когда пришло время закапывать могилу, Ольга подвезла мужа к яме и, держа левой рукой, его правой кинула от них обоих горсть земли, как положено.

Ослабевшую, с постоянным высоким давлением мать младшая сестра забрала к себе.

* * *

На пятнадцатом году их семейной жизни силы Ольги иссякли. Произошло это как-то вдруг, в одночасье. Она стояла за своим прилавком на базаре, и вдруг какой-то молодой человек оглядел ее сверху донизу. И потом — снизу доверху. По-мужски оглядел. Ей стало жарко. Она уткнулась глазами в равнодушные огурцы и помидоры. «Ведь мне же еще и сорока нет, — подумалось ей. — Сколько же можно... Даже дочь уже родили...» Ныла спина: от постоянного поднимания тяжестей давно образовалась грыжа.

Она приняла решение. Несколько дней маялась, не знала, как ему сказать. Сама за стеной бесцельно перебирала вещи в шкафу. На четвертый вечер пошла в баню и долго плакала там в голос, сидя голышом на мокром теплом полу.

Наконец, отправив Надю на всю субботу к однокласснице (сначала пойдут собирать грибы, потом с родителями той девочки будут их чистить и жарить — так весь день и уйдет), сказала ему.

Он молчал. Побледнел.

— Я хочу видеть дочь, — сказал.

— Конечно-конечно! — заполошилась она. — Мы будем приезжать к тебе, каждые выходные!

Места для него пришлось ждать почти месяц. Они все втроем маялись неловкостью, как при затянувшемся прощании на вокзале: все слова уже сказаны, а поезда все нет. Надя приняла решение матери на удивление спокойно, но весь этот месяц она кормила отца сама, мать отгоняла.

Наконец Григория увезли.

Стояло сухое бабье лето. Ольга открыла все окна и проветрила дом. Вымыла с мылом полы, переставила в их комнате местами две тумбочки. Раскрыла шкафы, вытащила всю одежду, развесила в огороде на веревках. Собрала оставшиеся поильники, пеленки, подгузники, сложила в коробки и поставила в гараж.

Солнце заливало комнаты, мелкие трещины в полу, высвечивало ярко лица молодоженов на свадебной фотографии.

Через две недели Ольга поехала и забрала Григория обратно, домой.

Там они и живут до сих пор, уже двадцать пять лет.



ГЕОРГИЙ СУВОРОВ

(1919–1944)

ДЫМНАЯ ДОРОГА*

Георгий Кузьмич Суворов родился 19 апреля 1919 года в хакасском селе Краснотуранск, в крестьянской семье. Рано потерял родителей, рос в детдомах. Окончил педучилище в Абакане. Работал учителем начальных классов в селе Иудино (ныне — Бондарево). Учился на факультете русского языка и литературы Красноярского пединститута. Но в августе 1939 года со второго курса был призван в армию.

С первых дней Великой Отечественной войны Г. Суворов находился в составе прославленной Панфиловской дивизии. В бою под Ельней был ранен. После госпиталя, весной 1942 года, попал на Ленинградский фронт, где был сначала химинструктором, потом литературным сотрудником дивизионной газеты, а с конца 1943 года — командиром взвода броневой бойцов.

Стихи начал писать еще в педучилище. Публиковался в красноярских газетах. Но как поэт он сформировался во время войны. Его родившиеся на фронте стихи печатались в журналах «Звезда», «Сибирские огни», «Ленинград». Вынашивал Г. Суворов и поэтическую книгу. Под названием «Слово солдата» вышла она в Ленинграде в 1944 году, уже после его смерти.

13 февраля 1944 года гвардии лейтенант Георгий Суворов при форсировании реки Нарвы осколками разорвавшегося немецкого снаряда был тяжело ранен, а на следующий день, 14 февраля, в госпитале умер от ран.

В городе Сланцы Ленинградской области, на обелиске над братской могилой, где был похоронен поэт, высечены строки одного из последних его стихотворений: «Свой добрый век мы прожили как люди и для людей...»

Сегодня имя Георгия Суворова носит одна из улиц Абакана.

* Материалы предоставлены Городским Центром истории Новосибирской книги. Публикацию подготовил Алексей Горшенин.

* * *

Мы тоскуем и скорбим.
 Слезы льем от боли.
 Черный ворон. Черный дым.
 Выжженное поле.

А за гарью, словно снег,
 Ландыши без края,
 Рухнул наземь человек —
 Приняла родная.

Беспокойная мечта —
 Не сдержать живую.
 Землю милую уста
 Мертвые целуют.

И уходит тишина...
 Ветер бьет крылатый.
 Белых ландышей волна
 Плещет над солдатом.

* * *

Встанем и погреем руки
 На алеющем дыму.
 Вспомним об убитом друге...
 И не скажем никому,
 Как смеялся, как любил он
 Этот звездный снегопад.
 Вспомним, друг, о самом милом
 И храбрейшем из солдат.
 Может, написать два слова
 В дальний край его жене?..
 Между тем дымок лиловый
 Разойдется в вышине.
 На широком перекрестке
 Встанет парень молодой.
 И ударит ветер хлесткий
 Пеплом, дымом и зарей.

* * *

Пришел и рухнул, словно камень,
 Без сновидений и без слов,
 Пока багровыми лучами
 Не вспыхнули зубцы лесов.

Покамест новая тревога
 Не прогремела надо мной.
 Дорога, дымная дорога —
 Из боя в бой, из боя в бой...

* * *

Средь этих нив я собирал слова —
То пестрые, как вешняя долина,
То строгие, как горная вершина,
То тихие, как на заре трава.

Средь этих тучных нив не раз, не два
Я песню направлял в полет орлиный;
И песня, птицей став, неслась былиной
Из века в век, прекрасна и жива.

Средь этих нив я создал жизнь свою,
Подобную сереброкрылой песне,
На зависть всем и даже соловью.

Средь этих нив я лягу и умру,
Чтобы еще звончей, еще чудесней
Летела песня утром на ветру.

* * *

Еще на зорях черный дым клубится
Над развороченным твоим жильем.
И падает обугленная птица,
Настигнутая бешеным огнем.

Еще ночами белыми нам снятся,
Как вестники потерянной любви,
Живые горы голубых акаций
И в них восторженные соловьи.

Еще война. Но мы упрямо верим,
Что будет день, — мы выпьем боль до дна.
Широкий мир нам вновь раскроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.

Последний враг. Последний меткий выстрел.
И первый проблеск утра, как стекло.
Мой милый друг, а все-таки, как быстро,
Как быстро наше время протекло.

В воспоминаньях мы тужить не будем,
Зачем туманить грустью ясность дней?
Свой добрый век мы прожили как люди
И для людей.



НИКОЛАЙ КУДРЯВЦЕВ

(1901–1944)

ИЗ ФАШИСТСКОГО ПЛЕНА

(О виденном и пережитом)*

Николай Александрович Кудрявцев родился 16 февраля 1901 года в селе Лысково Нижегородской губернии. Учился в Московском плановом институте. Трудился на заводах и стройках Сибири, долгое время работал заместителем главного редактора журнала «Сибирские огни» и редактором краевой газеты «Сельская правда». Был делегатом I Съезда писателей СССР. Член Союза писателей СССР.

По сути, вся литературная деятельность Н. Кудрявцева была связана с журналом «Сибирские огни». Здесь увидели свет практически все его прозаические вещи. В 1934 году в Новосибирске вышла первая книга Н. Кудрявцева «Тяга времени», куда вошли его «производственные» произведения. Тут же в 1938 году появилась и другая прижизненная книга Н. Кудрявцева «Как село Маромыш с царем воевало». Н. Кудрявцев был известен прежде всего как мастер производственной прозы, но достаточно успешно выступал он и как детский писатель.

В Великую Отечественную войну Н. Кудрявцев добровольцем ушел на фронт. Был в немецком плену, бежал (об этом он написал в очерке «Из фашистского плена»), снова вернулся в часть...

1 февраля 1944 года старший политрук Николай Кудрявцев погиб.

Встреча с Ваней Удолиным

Ваню Удолина, комсомольца-танкиста, мы встретили в густом березняке, пробиваясь из окружения. Рядом проходил большак. По нему ползли немецкие обозы. Взад и вперед проносились мотоциклисты. Они наугад обстреливали соседние леса и рощи из автоматов. Один наш отряд попытался пересечь большак днем, потерял несколько человек ранеными и убитыми и — рассеялся. Ваня остался от этого отряда. Не имея компаса, не зная, куда идти, он засел в березняке в ожидании ночи.

Мне сразу запомнилось и понравилось его умное, худощавое лицо, глубоко сидящие черные глаза, темный пушок на пухлой верхней губе. Уви-

* Материалы предоставлены Городским Центром истории Новосибирской книги. Публикацию подготовил Алексей Горшенин.



дев наш отряд, молодой сержант встал и по-военному приветствовал нас. Мы расспросили сержанта. Он толково рассказал нам обстановку. Мы предложили влиться в наш отряд.

И с этого часа Ваня не покидал меня. На привалах никто лучше его не мог выбрать места для ночлега и в любую погоду развести огонь. Его практическая сметка была вне конкуренции, и не раз он оказывал отряду крупные услуги. Ко мне он питал особое расположение, а я к нему — взаимно. Будто мы предчувствовали, что случай свел нас не зря и мы разделим тяготы и опасности предстоящего пути, о котором мы тогда еще не имели никакого представления.

Мы держали курс на юго-восток. Двенадцать суток мы шли почти не покидая леса. Отдыхали днем, шли по компасу ночью... Но где фронт? Мы уже давно не слышим канонады. Никто из местных жителей не может ничего сказать о наших частях. «Проходили здесь суток десять назад, а где теперь — не знаем». В деревнях ходили самые нелепые слухи, распространяемые немцами. Ядовитую ложь этих слухов мы чувствовали, но и правды не знали.

К тому же кончилась наша карта. Кончились и леса. Дня три как съеден последний сухарь. Голод, наступившие холода, открытая местность впереди, в которой трудно остаться незамеченным, и полная неосведомленность в обстановке заставили нас, наконец, принять тяжелое решение. Мы принуждены были оставить «птичий путь», выйти к деревням и переодеться.

С Ваней Удолиным мы переодевались в маленькой глухой деревушке, расположенной на берегу безымянной речки. Осенний безветренный день. Хмуро, но дождя нет. Снег, выпавший дня два назад, стоял. На улицах грязь. Пашни за деревней словно политы смолой. Деревенские люди в это утро спешили «на картошку». Огромный урожай картофеля еще лежал в земле.

Спешил «на картошку» и мой хозяин — Степан Гришаков, согласившийся снабдить меня гражданским платьем. Он собирал по избе и по двору кошолки для себя и семьи, скребки и мотыги, мешки и веревки, готовил себе завтрак и между прочим доставал из сундука части моего будущего костюма — лохматый полшубок с воротником, почему-то окрашенным в розовый цвет, длиннейшими рукавами и укороченными полами, облезлый, бросовый малахай, штаны из брезента, в которых он когда-то работал на тракторе. Еще я получил расплзшуюся по всем швам вельветовую блузу, веревку вместо ремня и совсем уж драную кепку «на случай потепления погоды», как я сказал, а на самом деле для иного, хитрого, но, к сожалению, неудавшегося умысла...

Гришаков торопливо собрал мою одежду и спрятал ее куда-то на чердак.

Но как быть с плащ-палаткой? Что делать с котелками, с клейменым армейским бельем? Куда запрятать документы?

Мы были еще неопытны. Мы вполне допускали, что дорогой нас могут задержать и подвергнуть тщательному обыску. А уж эту процедуру фашисты, должно быть, произведут так, что даже и иголки от них не скроешь. Нам и в голову не приходило, что не все же немцы одинаково поднаторели в тонкостях кровавого рукомерства гестапо, что среди них есть много

беспечных, недалеких, просто равнодушных к инструкциям начальства или напыщенных глупцов, одурманенных военными успехами... Именно незнание врага заставляло наших товарищей бросать или уничтожать вещи, невинные в глазах фрицев, и брать с собой то, что даже какому-нибудь простодушному баварцу показывало при встрече с нами, с кем он имеет дело.

Например, мы с Ваней побоялись взять армейские котелки, но не рискнули расстаться с плащ-палатками, а повесили их через руки... Наш третий спутник — москвич — сохранил в котомке даже командирский ремень с портупеей...

...И неизбежное случилось в тот же день. У следующей деревни нас остановили. Целый отряд фрицев окружил нас. И было бы удивительно, если бы произошло иное.

Фашистское пари

Да, немцы задержали нас вскоре после переодевания. Маскировка в колхозные костюмы не помогла. Мы были неопытны. Мы захватили плащ-палатки и даже командирский ремень с портупеей, и эти вещи выдали нас... После обыска нас повели в деревню.

Плен!.. Странное, дикое и невероятное состояние... Словно тебя накого ведут среди одетых... Если бы кто сказал за месяц перед тем, что такое со мной случится, я, наверное, полез бы в драку. Но вот стряслось, и побить мне хочется только самого себя.

Как сквозь дым, вижу довольные краснощекие рожи наших пленителей, возбужденных удачной охотой, и мрачные лица Ванюшки и москвича, которого война оторвала от книг и ученых занятий.

Нас подвели к амбару. Что с нами сделают? Попытки, издевательства, расстрел? Мы были ко всему готовы. Вернее, мы ни о чем таком не думали. Наш завтрашний день померк, и на душе стало холодно, пусто.

Все дальнейшее, что с нами случилось, я вспоминал как сон. Какой-то долговязый немец, с лицом, усеянным чирьями, отмерил от стены амбара пятнадцать шагов и провел каблуком сапога жирную черту на земле. Здесь он положил пачку бумажных денег и затем достал из кобуры револьвер...

В это время другой немец подвел к амбарной стенке москвича и вокруг его головы начертил мелом нимб шириной в ладонь, какой богмазы рисуют белой краской вокруг голов своих святых. Мы с недоумением следили за этими приготовлениями, плохо понимая, что с нами будут делать. Немцы посмеивались, посвистывали, перекликались, и всех громче что-то выкрикивал чирьястый, стоявший у черты. Он все показывал на свои деньги и кого-то манил из толпы. Наконец тот, кого он манил, достал портмоне и рядом с деньгами чирьястого положил свою пачку, и мы догадались, что это пари. Это было пари фашистов, в котором о проигрыше должна была свидетельствовать наша жизнь.

Шесть выстрелов грянули один за другим.

То чирьястый стрелял в москвича. И москвич не упал... Он выдержал... Лишь немного пошатнулся, а затем чуть-чуть отставил от стены ноги, а спиной прижался к бревнам, должно быть, для устойчивости. Немцы заметили это, и засвистали, и закричали:



— Гут, гут!..

Тотчас к москвичу, оставшемуся стоять у стены амбара, подскокил немец с куском мела и, крикнув «айнс», поставил жирную точку внутри нимба. Таких точек он поставил четыре, а две точки отметил за линией...

Немец выкрикивал «цвай» и ставил точку, «драй» — и ставил точку. А другие немцы хлопали в ладоши и свистали, и лишь чирьястый стоял безмолвно, не совсем довольный своей стрельбой.

Когда была отмечена последняя точка, чирьястый спрятал револьвер в кобуру на левом боку и отошел к толпе. Ему на смену вышел веселый толстяк и тоже поднял на москвича свой револьвер. При этом толстяк улыбался, ему было немного жарко, и он распахнул куртку на волосатой груди.

Все повторилось бы много раз и не только с москвичом, но и со мной и с Ваней, если бы после третьего выстрела, произведенного толстяком, москвич не вскрикнул и не схватился за голову. Между его пальцами просочилась кровь. Он метнулся прочь от стены амбара, потом опустился на землю и забил по ней ногами.

А немцы что-то закричали, и толстяк перестал улыбаться, потому что ему было жаль своих денег, которые быстро подхватил с земли чирьястый.

Фашистское пари было кончено. Труп москвича бросили в канаву. К нам, живым, немцы потеряли всякий интерес, мы стали просто военнопленными, которых следует поскорее сбить с рук.

Вот то первое, что мы перенесли у немцев, — кровавое блюдо, которым они угостили нас при встрече. Школа ненависти к фрицам начиналась, и нам суждено было с Ваней пройти эту школу класс за классом.

Ночь в плену

В тот же вечер нас повезли на грузовиках под охраной конвоиров на сборный пункт военнопленных в городе Ю. Два часа машина ползла большим шагом между темными громадами леса. Потом замелькали контуры домов города, редкие огни, и грузовик, тяжело зарывчав, остановился.

— Рюс, фьют! — крикнул немец. И чтобы ускорить наш выход из машины, поддал каждому прикладом в спину.

Мы выпрыгнули из грузовика и оказались посреди грязной дороги, на которую несколько электрофонарей бросали желтые масляные блики.

Людей не было видно, а только фонари, которые вспыхивали и потухали, двигались и замирали в неподвижности... А невидимые чужие люди разноголосно орали на непонятном языке, и нам казалось, что это кричит на нас черная кромешная ночь и что она бьет нас прикладами в спину, загоняя в пространство между фонарями.

Наши ноги скользили, мы сталкивались друг с другом, падали... Тогда удары учащались, как удары цепов по снопам. Мы поднимались, пробовали бежать, на нас кричали еще злее, еще сильнее били прикладами.

Вдруг луч света упал на колючую проволоку и на свежевыструганные доски ворот. Фонари выстроились в две шпалеры, воротины тяжело открылись, мы прошли за них, и фонари исчезли. Лающие по-собачьи го-

лоса замолкли. Им на смену из недр дождливого мрака донесся неясный гул. Словно какое-то невидимое животное обдало нас мокрым дыханием и тяжким хрипом. Усталое и большое, оно скрывалось от нас во мгле ночи, и мы в страхе молчали, делая робкие попытки разглядеть его.

Мы ведь понимали, что это шумят люди. Но сколько их? Где они? Только меркнувшее пятно багрового света вздымалось из-за странного чашокола с круглыми неподвижными наконечниками, и мы скоро поняли, что именно от этого, временами разгорающегося, временами затухающего пятна идет к нам тот неясный гул. Молча и покорно мы пошли ему навстречу, на ходу отирая о штаны грязные руки.

Странный чашокол — это и были люди, круглые наконечники — их головы. Густо спрессованная толпа окружала и маленький костерок, зажатый в ее середину. Людей было много. Мог ли их обогреть жалкий, грозящий затухнуть костер? И люди, чтобы приблизиться к нему, напирали друг на друга, сталкивались, давили один другого.

Потрясенные и еще более пришибленные этим зрелищем, мы приблизились к толпе. Вдруг с земли раздался тихий стон. Я нагнулся. В грязи валялся человек. Мне сказали, что у него в бою были прострелены обе ноги. Он попал в лазарет, но сам лазарет попал в эту людскую кашу. И теперь никому неведомый и ненужный больной человек ждал смерти — смерти от голода, потому что немцы никому из пленников не давали есть, каждый должен был рассчитывать только на то, что принес с собой.

— Сколько же ты здесь времени лежишь, дружище? — спросил я раненого.

— Од... дин... надцать суток, — запинаясь, ответил тот. — Мучаюсь... и конца мукам нет... И нет конца и нет...

— А к врачу не обращался?

— К врачу-то! — Раненый вдруг хрипло рассмеялся, и страшно прозвучал этот болезненный смех через силу. Я понял всю бессмысленность своего вопроса и замолк, не голосом только, но и душой, как бы сразу оглохшей. Невольно я стал подсчитывать в уме, сколько сухарей и картофеля уцелело после обыска в наших котомках и на сколько дней их хватит. Вышло, что, если расходувать по три штуки того и другого на брата, мы имеем запас почти на шестидневку. Мы были счастливы, мы богачи в толпе голодных...

Я потянул за руку Ваню, чтобы с ним хотя бы силой очистить у костра для раненого место. Но мы не успели. Справа от нас вдруг громко закричали, зашлепали удары по чему-то живому, и такие же крики и шлепки раздалась слева и перед нами... В глазах мелькали желтые бельма фонарей — металась ночь, металась и кричали люди, и я стоял как огушенный, пока удар в голову, к счастью, смягченный шапкой, не свалил меня на землю.

Нас избивали несколько минут, а нам казалось, что целая вечность отсчитывает удары палками. Мы все уже давно лежали в грязи, но наши мучители все еще били нас длинными белыми палками и, словно кошки, скакали по нам, не желая ступать в грязь и портить начищенные до лоску сапоги.

Что же с нами было? Зачем нас били? Когда мы поднялись, то увидели, что вокруг нас тихая мрачная тьма. Костер не горел более, он был



потушен. Значит, били они нас для того, чтобы потух костер. Он и потух, как бы залитый кровью, которую мы утирали с разбитых лиц...

И тьма молчала, молчали люди и жались в тоске один к другому; глухо молчал раненый, в драке и нестерпимой боли укусивший немца и полувивший от него в награду пулю в сердце. Счастливцев! Ему теперь огня не нужно. Мы молча толпились над безгласным телом, а ночь все длилась, эта бесконечная ночь распада всего живого. И в школе ненависти мы заканчивали еще один немаловажный класс.

Побег

...Бежать! Во что бы то ни стало... Бежать немедленно и неостановимо!..

Пусть не такими словами, но так в существе думало огромное большинство военнопленных, когда нас утром палками выгоняли из поганого, обнесенного колючкой стойла, чтобы вести на запад. Бежать!..

Но — как бежать?

Оказалось, что бежать из немецкого плена можно. Мы с Удолиным простые средние люди. Я — городской, он — в прошлом деревенский. Нас никогда не судили, не держали в тюрьмах, не водили под конвоем. Нам не приходилось бегать даже от милиционеров. У нас не было никаких «познаний» в этом деле. И тем не менее из немецких лап на протяжении двухмесячных странствий мы выскользали не раз. Даже из концентрационных лагерей, огороженных несколькими рядами колючки, в те месяцы убежали многие наши люди.

По улицам Ю. нас заставляли двигаться впритруску. Несколько шагов — и человек оказывался покрытым грязью с головы до ног. На тротуарах стояли немецкие солдаты и офицеры — некоторые с любопытством, другие равнодушно наблюдали грязную и рваную толпу, катящуюся мимо них. Иногда рядом с колонной проносился мотоцикл или автомашина, и тогда всех крайних пленных окачивало серой жижей. Один шофер нарочно врезался в ряды пленных, потом загудел и помчался, и мы обошли то место дороги, где извивались в грязи и кричали трое придавленных пленных. Выстрелы конвоиров заставили их навсегда замолкнуть. И наша память фиксировала все это и напрягалась как струна.

За Ю. потянулась автострада. По обеим ее сторонам — леса. Иногда они отступали от дороги, и тогда как будто отворялись двери в утерянный нами широкий вольный мир. Иногда леса сдвигались, почти вплотную подходя к дороге, и Ваня тотчас оценил это и толкнул меня локтем в бок.

— Не зевай!..

Место, которое он выбрал, длинный темно-зеленый клин бора, пересекающий поле по направлению к дороге, оказалось выгодным еще и потому, что здесь нам попалась встречная колонна грузовиков, которая так же, как тот шофер-убийца, без сигналов врезалась в нас.

И мы, и наши конвоиры кинулись к обочинам, яростно ругаясь. Порядок в колонне нарушился надолго. Ваня, а следом я и еще несколько тотчас побежали, не слушая выстрелов, криков и тонкого напева пуль над головами. Мы побежали в лес. Мы вышли на свободу...

В лесу мы поклялись сгоряча вообще не выходить наружу. Эту лесную клятву мы, конечно, не сдержали — из леса вышли и уже следующую ночь коротали в бане села, в котором стояли немцы. Зато скоро мы научились ходить по открытым дорогам, не привлекая внимания фрицев. Для этого мы пускались на разные маленькие хитрости, и они нам удавались.

Но главное было не в нас и в этих хитростях. Разве прошли бы мы сотни километров осенью и зимой по пространству врага, лишённые оружия и всех средств жизни?!

Ни мы, ни сотни других не смогли бы сделать этого. Главное было в том, что нам помогал народ... Он кормил нас, он давал нам приют, он указывал наиболее безопасный путь. А когда нас все же где-нибудь застигали немцы, то простые женщины, бородатые деды, малые ребята, чтобы выволить «прохожего», называли его мужем, сыном, отцом... Народ ненавидел немцев и, жертвуя подчас собой, спасал нас. Поэтому хвастовством было бы говорить «мы вышли», правильнее говорить «нас вывел народ...»

Сумка за плечами

В армии большой авторитет у командиров завоевал рюкзак, у рядовых — вещевая сумка. Ее повесил за плечо и пошел, а ночью подложил под голову вместо подушки...

Хороший рюкзак достать нынче трудно. Мой погиб в лесах Смоленщины. Новый еще где-нибудь только шьется... Я хожу с простой торбочкой из своей холстинки, и об этой торбочке стоит рассказать...

Как-то под вечер мы вышли из леса на картофельное поле. Словно поздние ромашки, пестрели на картофелище женщины-сборщицы в ярких цветистых юбках. День был солнечный, пригожий, и все же праздничный вид женщин изумил и даже озадачил нас. Война... оккупация и — такие яркие юбки! После мы узнали — в эту деревню ждали генерала, и фрицы потребовали, чтобы «русский баб справил праздник»... Но генерал все не ехал, картошка мерзла в земле, и вот пришлось выйти на работу в этих чудом сохранившихся ярких платьях.

Мы пошли к женщинам прямо по пашне. И лишь на полдороге заметили, что из деревни к ним же движется цепь фрицев с автоматами в руках. Учиться ли они вышли или ловить партизан? Фронт далеко. Да нам от этого не легче, потому что немецкий пес мог взбеситься, хотя его и не тревожат.

— Что станем делать, Ваня?

— Что делать? Идти... Не стоять же на дороге!

Мы подошли, поздоровались, но ни одна не оторвалась от работы. И лишь рябоватая, с большими серыми грустными глазами женщина указала на два мешка, наполненные картофелем, и спокойно проговорила:

— Несите-ка, мужики, в деревню!..

И мы немедля взвалили мешки на плечи и тронулись полем к деревне. И сама она следовала за нами с кошелкой в руке. Уловка помогла — ни один фриц не обратил на нас внимания, хотя мы и пересекли самый центр их цепи.

Вообще, с ними чем смелее, тем лучше. Один окруженец, еврей по национальности, рассказал мне, что однажды немцы задержали его, крича:

«Ты юде, юде!» — «Нет, я армянин», — ответил тот, не растерявшись, и по-немецки обругал фрицев, что не могут отличить армянина от еврея. Так ведь подействовало! «Армянина» отвели на квартиру и приказали хозяйке дать ему «яйка и молёка». Правда, немцы все же его потом избили, и переводчик объяснил: его бьют из дружбы.

— Мы — господа, вы — нам служить! Мы вас бить, вы нас бояться и благодарить, — сказал избитому «армянину» переводчик и ударил его носком сапога в живот.

Поистине, если бешеная собака не лает, то и хорошо... Мешки с картофелем провели нас в деревню. Колхозница пригласила к себе и досыта накормила щами и напоила чаем. Подливая в наши чашки, она говорила печальным и строгим голосом матери, которая жалеет нас:

— И сынок мой так же вот к родному дому шел. Врач он у меня. В Москве служил, а потом пошел воевать... Ну, как фронт наш отступил, он и двинул напрямик на деревню, мать увидеть захотел. Так ведь не дали свидеться, дьяволы! Десяти верст всего не дошел, сцапали его с товарищем. И уж не знаю почему — товарища живого отпустили, а моего — к дереву... Разбойники!.. Из пистолета прямо в грудь... Ходила я в тот лес... Ничего не осталось. Одна вот торбочка из холстинки на траве валяется. Единственная уцелела...

Женщина повернулась к кухонной перегородке, и мы увидели белую небольшую сумку. Женщина сняла ее с гвоздика и сжала в пальцах. Должно быть, сын возник перед ней в ту минуту, и слезы, редкие, тяжкие слезы потекли по морщинистым ее щекам. Глубоким молчанием мы отметили ее большое горе...

Утром мы собирались в далекий путь. Но как же я был удивлен, когда женщина, прощаясь с нами и видя, что я хочу ее дар — ломоть хлеба — положить в карман, вдруг подала мне ту самую холстяную торбочку и тихо сказала:

— Возьмите! Расстраивает она меня... Сердце болит...

Я невольно отдернул руку. Она улыбнулась.

— Или боитесь? А говорят, вещи покойников приносят счастье.

— А память о сыне? — спросил я.

Она опустила глаза.

— Другую бы мне память о нем надо. Что ж, может быть, добуду...

Неясная, но сильная угроза прозвучала в ее словах, и я взял торбочку и ушел, и она действительно принесла мне счастье. С нею перешел я фронт, вернулся к своим, и она все служит мне, как скромный и бескорыстный друг.

Нож с деревянной рукоятью

В деревнях я приобрел привычку — хлеб перед едой разрезать на маленькие ломтики и бережно подбирать каждую крошку. Этому научили меня нужда и голод.

Теперь я прихожу в столовую, сажусь за стол и, получив хлеб, вынимаю из кармана нож. Мои соседи, командиры, невольно обращают на это внимание. Нож приметный — у него деревянная, кое-как оструганная рукоятка, а перо узкое, источенное, сделано из обломка косы. При взгляде

на такой нож каждому ясно, что делал его немудрящий деревенский кузнец своему сынишке, но почему этот неказистый нож у политрука — неясно, и нож всякий раз вызывал любопытство. Так не хотите ли послушать маленькую историю моего ножа?

Многие наши приключения были связаны с ночлегом, потому что заяц иногда забирается ночевать с лисой...

Так произошло и на этот раз. Деревня, куда мы под вечер пришли с Ванюшкой, оказалась пристанищем немецких карателей, и поэтому очень долго никто не хотел дать нам приюта. А ночь надвигалась, и с нею мороз и голод, и если наскочишь на патрульного немца, то он разговаривать с тобой не станет. Ночью по занятым немцами селам ходить нельзя.

Получая повсюду отказы, я медленно приближался к центру деревни и уже начинал думать, что придется удовлетвориться в эту холодную ночь каким-либо пустым сараем. Как вдруг совсем рядом со мной раздались голоса, чужая гортанная речь... Я живо свернул с дороги, и рука моя торкнулась в воротину, оказавшуюся неприкрытой. «Отсюда не уйду, — решил я. — Пусть меня зарежут или повесят, а не уйду...»

Так и сделал. Войдя в избу, еще ничего не успев разглядеть в ее сумраке, я обонял только запах щей и еще чего-то кислого, и на язык уже просились привычные слова: как бы обогреться, хозяйева, да подкормиться, да переспать до утра, хотя бы у двери на соломе... Луч яркого света, ударивший мне в глаза, предварил мои намерения, а чья-то рука, протянувшаяся от стены, смахнула с моей головы шапку. Я понял, что нарвался: в избе были немцы...

Но тот же луч света и спас меня. Он скользнул в угол избы, и я заметил там низкий чурбан около лавки, на нем кочедык, пучок лыка и нож с деревянной рукояткой.

Лаптей я плести не умел, но когда жизнь в опасности, то, как говорят, и волк чиркнет спичку. Я спокойно прошел в угол, молча уселся на чурбан и взял в одну руку нож, а в другую пучок лыка. И я заработал в темноте на ощупь, словно всю жизнь только то и делал, что плел лапти.

— Матка, твой старый пан? — спросил немец с фонарем.

Но «матка», стоявшая около печки, ответить не успела, вместо нее с полатей ответил раздраженный бас:

— Батогом бы этого пана! Лазит, где не следует!

— Что? — не понял немец.

— Лапти плетет, — запел тут молодой женский голос. — Мой тещюшко. Не знаю, как по-вашему «лапти», обувка такая деревенская...

— О-бу-ва, — повторил медленно и важно немец. И, удовлетворенный, потушил фонарь.

Я поплеывал на лыко, совал куда-то кочедыком, что-то резал ножом.

Немцам, их было трое, не понравилась тесная, неудобная изба, и они ушли. Тогда хозяйка завесила окна и зажгла коптишку, а хозяин сполз с полатей.

Я сидел по-прежнему в углу на чурбане и с опаской глядел на хозяина, а тот — на меня. Молчание длилось напряженное, как перед приговором

суда. Каждый понимал, что один из нас в избе лишний: двое мужчин в семье — подозрительно. А так как я был старше, оброс бородой и походил на старика, то хозяин подвергался во много раз большему риску сойти за партизана.

Судя по всему, он должен был прогнать меня, может быть, пустить в дело обещанный багот. Но он вдруг добродушно рассмеялся.

— Вот ведь олухи! И каких же олухов мы, прости господи, себе нажили! Что ж, баба, кормить надо прыткого тестя, — продолжал он со смехом. — Ишь, сколько лыка он мне перепортил! Но — хитер, по-нашему хитер, люблю...

Между нами установился полный мир. Хозяин оказался фронтовиком. Он был ранен в голову, в деревне на отдыхе его застигли немцы, и он был зол на них самой черной злобой и презирал их, как только может умный презирать случайно поднявшегося над ним глупца. Мы сразу сошлись с ним на том, что с такими олухами нам не жить и что казнь их постигнет большая.

— Большая казнь! — повторял хозяин понравившиеся слова. — Я на что теперь немощный, — говорил он, угрюмо блестя глазами, особо яркими на худом, небритом лице, — но и то хрип им буду рвать — пусть только возвратятся наши... Пусть только они знак нам дадут!

Вперегонку с хозяйкой они перечисляли обиды на немцев, и перечень обид быстро возрастал. Особенно памятной была хозяйка: она пересчитала каждую курочку, взятую немцем, каждое яичко, съеденное им; припомнила и свою шубу — новую дубленую шубу из лучшей овчины, — порезанную немцами на рукавицы. Себе они полы отрезали, а ей — рукава и спинку. Так у ней даже дух в груди застрял от жалости и обиды, а слезы из глаз текут, текут...

— Нет, не житье нам с ними. Пусть и не мечтают. И вы, мужики, знайте: мы, бабы, с этим не согласные. Так там и передайте, когда дойдете, так им и скажите — не хочет немца народ!..

...Из этой деревни я уходил с новым «вооружением» — я нес в своей торбочке недоплетенный лапоть, кочедык и вот этот самый нож с деревянной рукоятью.

— На память и... ради для отвода глаз, — напутствовал меня хозяин.

Под раскрытой крышей

Избушка, в которую мы зашли в тот день, стояла на пригорке. Еще издали она привлекла внимание своим удивительно лохматым видом. Она походила на разбитое бурей грачиное гнездо: крыша разворочена, дворишко разобран, с повети торчали жерди, будто кости полуистлевшего трупа.

Под пригорком, окованная ледяной коркой, таилась в снегах степная неглубокая речка. Лед в том месте, где через нее шла зимняя дорога, был разбит, из воды торчали доски, палки, желтели клочки старой соломы... Избушка принадлежала жене колхозника Сергея Коростенева. Мы вошли в его жилье с единственным намерением обогреться и расспросить, как пройти к следующему селу. Но тут получилась остановка, не входившая в наши планы.

Избенка встретила нас разноголосым плачем трех мал мала меньше ребят и монотонным ааканьем старшей сестренки, укачивавшей люльку с пятым грудным. Мать ребят была здесь же. В странной окаменевшей позе, сложив на коленях руки, сидела она около печки на лавке и ни звуком, ни единым движением не отозвалась на наше приветствие.

В избе было холодно, хоть печка и топилась. Тут мы увидели, что не только крыша, но и потолок был разобран, и в дыру смотрело зимнее пустое небо. И еще одна странность бросилась нам в глаза: весь земляной пол избы был усеян гнилой трухой вперемешку с зернами ржи. Около порога рожь была собрана кучкой.

— Герман, что ли, нахозяйничал? — хмуро спросил Ванюшка.

При звуке этого проклятого имени женщина быстро взглянула на Ваню, и плечи ее болезненно сжались, будто от удара. Но ответа и тут мы не получили, и только девочка у люльки, оборвав аканье, кивнула головой.

— Герман... Папку убили, а хлеб в реку ссыпали...

После этого Ваня молча смахнул с плеч котомку, я сбросил свою торбочку, и мы принялись выбирать из трухи рожь. Но как мы ни старались, а набралось не больше пуда. Потом Ваня разыскал под печкой топор и полез на чердак. На скорую руку жердями и остатками соломы он защитил дыру в потолке и взялся за переборку крыши. В избе потеплело. Ребенок в люлке уснул, девочка тоже отправилась на крышу. Малыши перестали плакать и хором запросили хлеба. А мать все так же неподвижно сидела на своем месте, упершись глазами в одну точку, и было жутким молчание ее...

Муж этой женщины не был бойцом и не был партизаном, он не был даже колхозным активистом — все его звали Сергейкой Коростеневым, и он состоял членом колхозной бригады, работая в ней так, как и все. Когда пришли немцы и колхоз был разграблен, а на селе поставили старосту, Коростенев проронил будто бы некое слово против старосты, взявшего без согласия общества племенного колхозного быка. И слово-то было негромкое, не то что раньше на собраниях, а робкое, как бы сказанное в кулак, но и такое слово было тотчас взято на учет и староста крепко его запомнил. В соседнем лесу в то время обнаружались бесхозьяйственные лошади, должно быть бежавшие из немецких обозов. Колхозники пошли их ловить, и с ними Коростенев забрал одну пеганку, но вести ее домой побоялся и здесь же в лесу оставил у бывшего лесника, своего кума...

— Врешь, сукин сын! — сказал тогда староста Коростеневу. — Ты партизанам, небось, коня отвел! Я тебя выведу на чистую воду.

Третьего дня староста ездил в район в немецкую комендатуру, оттуда примчались немцы на пяти машинах и всех женщин и мужчин деревни согнали на бывший колхозный двор. Пошла туда и Коростенева со своим Сергейкой.

На дворе стоял в стороне строем отряд автоматчиков и еще другой небольшой отряд с блестящими флейтами, дудками и длинными губными гармошками, свистульками и связками легких бубенцов. И здесь же волчком крутился староста — одним он совал в руки лопаты, другим — ломы или топоры. И колхозники строили под его руководством неизвестного назна-



чения сооружение, похожее на букву «П». Зачем такая постройка — они не знали, да и знать не хотели, и работали только под угрозой автоматов.

Коростенева староста заставил здесь же развести костер. Коростенев подчинился, тем более охотно оттого, что холод всегда его первым избирал своей жертвой в наказание за худую одежку. Костер получился жаркий, запас топлива большой, и Коростенев шуровал около него очень спокойно и при этом потягивал свою самодельную трубку, даже и не замечая, что другие колхозники почему-то шарахаются от него, будто проступила на нем проказа.

— Сергей, уйдем, бога ради! Уйдем отсюда! — встревожилась его жена и потянула было мужа прочь от костра. — Уйдем, милый!..

Впервые за это тяжелое время она назвала его таким ласковым словом, и он, отвыкший от ласки, ответил ей грубостью, более подходившей, по его мнению, к их неуютной жизни. Коростенев оттолкнул женщину и еще старательнее стал шуровать у костра, довольный, что не заставили его тесать и вкапывать в землю столбы для этой нелепой буквы «П».

Вот она поднялась среди двора, желтая и сухая, добротнo обструганная, а с перекладины свисала веревка почти до земли. И когда все это было кончено, колхозникам приказали отойти к амбарам. Они отошли и встали там темной, глухо замолкшей стеной. И все увидели, что к Коростеневу подошли трое дюжих немцев и взяли его за руки и за воротник.

— Комм!.. — крикнул один немец.

— Комм!.. Комм... — отозвался другой.

— Чего? — не понял Коростенев.

— Ви партизан... Вешайт... — ответил третий немец.

И тут только поняли русские люди назначение сооружения, похожего на букву «П»... Коростенев забился в руках немцев, закричал, но в этот момент дружно и визгливо заголосили немецкие флейты и дудки, запели губные гармоники, звякнули бубенцы и заглушили предсмертный крик Коростенева, уже стоявшего с петлей на шее под перекладиной, заглушили плач его жены, вопль детей, стон других женщин и ропот мужчин...

Коростенева вздернули. Он посучил ногами совсем недолго и затих, только сильно вытянулся, будто захотел дотронуться еще раз до земли, которую пахал всю жизнь. Потом его спустили с перекладины, и тут наступило самое страшное, поразившее жену Коростенева до предела: ее мужа вынули из петли и бросили в им же разведенный костер...

Больше женщина уже ничего не видела и не слышала. Ее без памяти соседки увели в избу, туда же прибежала ее старшая дочь, громко крича:

— Они пляшут, мама! Пляшут, играют на дудках, а тятка горит... Ох, мама, мамулечка, что же это такое будет?..

Правду говорила девочка. Немцы пляской вокруг пылавшего костра, пьяным гиканьем, визгом своих свистулек и гармошек отметили смерть простого русского мужика, колхозника Сергуньки Коростенева, осмелившегося сказать против одно только тихое слово...

Да, впрочем, и этого им было мало.

Среди дня, после того как нажрались колхозных поросят, яиц, масла и упились спиртом, принесенным старостой, пьяные и довольные содеян-

ным, немцы уселись на свои тяжелые машины и отправились в обратный путь.

А свистульки немецкие все пели, гармоники пиликали, бубенчики звенели. Обоз машин тронулся, но едва скатился на реку, как первая же машина проломила лед и забуксовала в илистом дне.

Потребовался настил. И тогда немцы кинулись к избе Коростенева, ближайшей к реке. В воду, в грязь, под лед ушла крыша двора, крыша избы, часть потолка, а чтобы лед не был скользок и ходить по нему было бы удобно, высыпали на него хранимый под семейной кроватью семенной и продовольственный запас зерна.

Этот разгром и застали мы с Ваней, придя в деревню спустя несколько часов после отъезда немцев, а рассказ о смерти Коростенева нам поведала девочка, его дочь, после того как мы с Ваней спустились с крыши.

— И вас, дяденьки, они убьют, — говорила девочка, глядя на нас умными, не по годам серьезными глазами. — Староста Архип Фёдорович скажет, они приедут и убьют и в костер бросят. Вы бы лучше в лес шли, там вам способнее... А то обязательно убьют...

— Не убьют! — вдруг страшно встрепенулась ее мать, и лицо ее перекосилось. — Не убьют! Спрячу!.. — повторила она хриплым голосом. — И Сергуньку бы не убили, да не послушал он меня... не понял...

Тут она пала всем телом на лавку и зарыдала, может быть впервые, как очнулась после казни мужа...

Мы оставались с ней весь следующий день. Мой друг Ваня Удолин, мастак на все руки, сделал для нее все, что мог. Она сама работала без устали, но все молча и только, прощаясь с нами, низко поклонилась и тихо проронила:

— Спасибо вам, добрые люди!..

Единоличные сани

Но не всегда мы были желанными гостями у хозяев.

Как-то на одном из переходов меня продуло. Поднялась температура. К тому же от непрерывного передвижения нарывала нога. Идти я не мог. Нужна была передышка. Но кто согласится принять и кормить постороннего больного человека несколько дней, да еще вблизи фронта, где в особенности свирепствовали немцы? Один только оставался выход — купить передышку, и неутомимый мой товарищ взялся за это, чтобы оказать мне помощь.

Несколько изб обошел он, и в одной из них ему предложили сделать сани — единоличные сани — розвальни. Только, к сожалению, поспешил мой Ванюшка, не разглядел души хозяина. Материал у них был, и материал хороший — дуб, береза... А главное — было нетерпеливое желание на развалинах разграбленного немцами колхоза заложить поскорее основу единоличной жизни.

Меня особенно поразили сыновья-подростки. Их было трое. До немцев они учились в школе, но не узнавал я в них молодежь советской школы.



Как будто ничто советское и не коснулось их. Самые хищнические инстинкты пробудил в них приход немцев. Они стали не только скопидомами-приобретателями, но и откровенными ворами. В свой двор они тащили все, что могли утащить из общественного добра или у своих соседей. Не раз их ловили, били, но, поощряемые отцом, они продолжали свое дело. Бревна, доски, жерди, гвозди, стекло, снопы немолоченной колхозной гречи, посуда, склянки от лекарств, обломки парт из разбитой школы, инструмент из кузни, гайки, болты, прутья — все стаскивалось под навес двора и пряталось в солому или зарывалось в землю.

А какие оказались кровопийцы! Будто родились кулаками! Они проявили природное умение выжать из человека все, что можно, и даже больше... Вот где не из книг, а из личного опыта познал я, каково оно, батрацкое житье! Пареньки, когда были дома, усаживались на скамью в ряд, а разжиревшая от безделья мать их лежала на печке, и все четверо оценивающими ревнивыми глазами следили за каждым моим движением, за каждым движением Вани, и он делался зол, чувствуя себя как на сцене.

Работал от темна до темна, рано утром начинал с коптилкой, с нею кончал поздно вечером. Он любил работать, душой отдыхал за работой, но здесь, под воздействием ревнивых и жадных глаз, Ваня задыхался.

Наш хозяин в избе появлялся к ужину. Его приход был настоящей пыткой. Что-то едкое, ядовитое отравляло воздух и давило на наши нервы. Минуту или две он молча осматривал то, что сделал Ванюша за день, — и безбородое, безусое лицо его выражало недовольство, серые глаза блестели, как у волка, губы чмокали, голова качалась.

— Ай-ай-ай, — восклицал он тонким сладким тенором, — как обессилел народ! Да ведь и как не обессилеть на колхозных-то хлебах! Бывало, трудящему человеку и хлеба вдосталь, и щи жирные, и овощи всякий, а ныне?! Тут тебе и немцы, и колхозы, и трудодни, а толку никакого. Не слышали в пути своем длинном — порядок-то они установят ли? Как они хозяйничать думают? Придти пришли, а землю всё не делят... Что с нами будет? Ох, голова болит от этих дум! Вот и срядил я вас, а не знаю, пользоваться санями придется ли?

— Этого мы подавно не знаем, — отвечал Ванюша хмуро. — Вам, поди, виднее.

— Видно, да не больно... Может, струмент вам не к руке? — подходил к нему старый иезуит вплотную. — Может, и не ладится у вас потому, что деревенский струмент не свычен? В городе-то к хорошему привыкли?

— Да что не ладится-то? Как будто я стараюсь...

— Стараешься, милый человек, я разве говорю, что не стараешься. Но результатов, вишь, маловато! Который денек топором тенькаешь! Пришел в воскресенье, сегодня четверг... Эх, да что! Я не упрекаю. Я понимаю беду твою — и себя содержи, и приятеля годуй, а время вон оно какое... Ныне каждый каждому зубы рвет... И вы, жеребцы, идолами сидите, — вдруг набрасывался он на сыновей. — Где бы помочь по-свойски, ась? Разленились.

Парни огрызались:

— Чай мы не нанятые! Мы ему не свойские... Взялся — значит, руби, а мы — посмотрим...

— Ай-ай-ай, — качал головой хозяин, — сердце у вас как ожескло! Без бога-то! Ай-ай-ай! Что ж! Пожинаем посеянное за четверть века... Плевелы в поле, плевелы в душе — ну и на сердце тоже плевелы... Квасок-то у нас еще есть, хозяйка?

После таких «вступлений» и «учета» ужинать что-то не хотелось: квас казался горьким, картошка — водянистой. Мне особенно кусок не лез в горло. С печки за мной пристально следили холодные глаза жирной бабы, и каждая картофелина, глоток кваса, проглоченные мною, расценивались как мой неоплаченный долг.

Наконец я не выдержал и еще больной попросил топор.

— Какой уж ты, небось, работник! Городской... — искривился весь хозяин, но топор принес поспешно.

— Вот, мил человек, тенькай с богом, да поаккуратней, топор на деньги не укупишь.

Протенькал я час, а на другой онемели руки, и спина заныла, и багровый туман застал глаза. Под шумное гыгыканье парней ударил топором вместо слезы по носку сапога и, оставляя на полу кровавый след, поплелся к стене на свою солому.

Никто из этих людей не двинулся с места. Не нашлось у них даже тряпки перевязать мне ногу. Перевязал мне ее Ванюшка, для этой цели он разорвал единственное полотенце. Он же положил на сапог заплату и вечером вытесал костыль из березовой палки...

Утром мы покинули одиночный дом, так и не закончив сани. И какой же руганью, какими проклятиями проводило нас обманутое семейство! Особенно постаралась баба. Сползла с печи и гавкала вслед нам, пока мы не скрылись из вида.

...И опять мы бредем по дорогам...

Поля давно саваном зимы покрыты, злая поземка швыряет сухую крупу нам в лица и за воротник залезает холодными пальцами. Днем гуськом — часами слова не скажем друг другу. Да и переговорено все, давно все переговорено.

А глянешь в сторону — горизонты широки, просторна матушка-земля родная, да теперь урезана, и бродят сыны ее по ней с опаской. Вон там идет один... А там двое тянутся, по-бродяжьи заложив за спину руки.

Что согревает им сердце, какое чувство? Какая надежда помогает жить?

Мы потеряли родную землю — самое дорогое у человека — свою большую семью... И мы шли мстить... мстить... мстить ее обидчикам.

Родину шел убивать немец. Мы на каждом шагу своим видели, как он убивал ее. Мы потеряли оружие, но мы страстно хотели вновь получить его и шли, чтобы убивать убийцу, — учить других ненавидеть и убивать его.

Для этого нужна стойкость. Для этого нужна стойкость таежных деревьев, которые неумоимо тянутся к солнцу, обходя все преграды.

Мы должны были стать такими деревьями.

Пусть мы так же, как они, утерям красоту мирного человеческого облика, пусть острыми углами и узластыми петлями пойдут наши сучья, искрученные ветром, — зато железная твердость будет в наших стволах... И дунут ветры с запада, с востока, дунет северный ветер или южный — мы зашумим грозно листьями, мы вспружиним ветви и корнями своими упремся в родную землю. Мы выстоим... мы выстоим в любую бурю!

Выход

В начале декабря мы выходили к Елифани.

Здесь особенно зло работали каратели, все было объято страхом и глубоко затаенной надеждой. Все чутко прислушивались к тому, что доносилось от огненной линии фронта, и каждый жил здесь днями и часами. Каждый знал: произойдет «что-то» — и не удивлялся, когда немцы подпалили сразу десятки деревень, а жителей тысячами погнали в тыл, на запад.

Несчастье застигло нас в деревне. Мы только что узнали, что уже пятый день, как победоносно наступают наши части, и что они уже под Елифанью, а Горлово ими взято. Радость вскружила нам головы, надежда на близкий выход убила осторожность. И мы не ушли в лес, хотя это нужно было сделать. Мы вошли в деревню, не зная, что она окружена. Туда нас фрицы впустили, а из деревни... из деревни мы пошли вместе с ее жителями, угоняемыми на далекий запад. Какой же это был тяжкий удар, скосивший нашу молодую радость!..

На этот раз немецкий конвой был силен. Попытка к бегству неизменно кончалась расстрелом. Шли мы медленно по полям, еле прикрытым снегом, защищая один другого от ледяного ветра. Лишь на третий день мы достигли станции Валово, усталые, голодные, потерявшие надежду. Нас было уже свыше тысячи. Вошли мы в пристанционный поселок часа в четыре после полудня, а в это время другая колонна, перевалив железнодорожное полотно, медленно уходила в степь, отуманенную поземкой.

Улицы поселка были забиты немецкими грузовиками. Нечего было и думать бежать оттуда... И вдруг резкое и сухое бубуканье тяжелых пулеметов и удары громовых взрывов покрыли низкое гуденье немецких моторов... Сперва мы не поняли, в чем дело. Немцы что-то закричали, забежали, бросились в канавы, щели... Нас бросили.

— Воздух! — крикнул тут кто-то из наших.

Да, воздух... Налет нашей авиации, короткая, но энергичная бомбежка...

Так вот оно как немец паникует!.. Отличная, веселая картина, представление, какого в театре не увидишь! Мой приятель не дал мне этим зрелищем полюбоваться. Он увлек меня в поле, за насыпь, в группу низкорослых березок — к свободе. Уже вечерело. Дула поземка. Вновь отвоеванная свобода морозно и жарко дышала нам в лица. 11 декабря задержали нас немцы. 13-го мы ушли от них с помощью советских летчиков, конечно, не подозревавших о таком итоге своей бомбежки.

Весь остаток дня и вечер полями и оврагами шли мы к востоку. Ночь скоротали в омете соломы, а рано утром вновь вошли в лес, густой, матерый...

Деревни вокруг все горели. Тяжелые громады дыма бурыми тучами закрыли небо. Переливался грохот далекой канонады, но где-то совсем близко вспыхивала сухая дробь пулеметов.

Мы шли к фронту, фронт шел к нам навстречу в своем грозном величии. Движущуюся линию фронта мы пересекли лесом. Нас вел местный человек по фамилии Суворов. Ему была известна здесь каждая тропинка.

Утром 15 декабря мы сидели на краю густого осинника, глубоко зарывшись в сугробе. По дороге метрах в двухстах от нас двигались какие-то воинские части. Немцы ли, наши ли — мешала разглядеть поземка. Мы замерзали в своей «смоленской одежонке», но не решались покинуть снежного увала. Потом дорога опустела. Мы хотели идти дальше, как вдруг звонкое цоканье подков опять всколыхнуло тишину морозного леса. Небольшой отряд всадников рысил мимо нас, направляясь на запад.

Это не признать было трудно. Лохматые лошади, посадка всадников, что-то неуловимо знакомое и родное...

— Наши! — не своим голосом завопил Ваня и бомбой вылетел из снежной ямы. Следом и я выскочил наружу.

Всадники остановились. Изю всех сил, по колено в снегу бежали мы к ним так быстро, как только могли нести ноги. Мы бежали, и за нами все еще гнались призраки проклятой фашистской топи...

— Наши... Наши... Товарищи! — повторяли мы взапуски, громко, самозабвенно, и всадники с удивлением и скорбью созерцали одичалые наши лица...

...Окружение кончилось, мы вышли. Родина принимала нас. Мы чувствовали себя, как чувствуют себя матросы с разбитого судна, когда выберутся из волн моря на твердую землю.

Звездочка

Теперь на мне вновь пехотинская, уже не новая, армейская шинель. «Бэ-у», как выразился о ней складской работник, — «была в употреблении»... Но эта шинель дорога мне, она мне роднее, чем та форсистая, что осталась у Степана Гришакова. Ту я получил, эту — заработал. Да, что бы ни говорили скептики, эту — заработал...

И великий смысл боевой шинели — славной формы русского солдата — открылся мне ныне, как никогда не открывался, когда о войне с ее бедами я знал лишь по книгам...

Красноармейская звездочка украшает пилотку... У ней отломлена скрепка. Она пришита к пилотке черными нитками, и это меня не смущает.

Звездочка дорога мне как память о пережитом. Когда я смотрю на нее, вспоминаю друзей боевых, вспоминается Ваня, которому она принадлежала. Мне вспоминается, какими они все были и каким я был тогда с ними...

Владимир САПОЖНИКОВ

**РАССКАЗЫ
СТАРШИНЫ АРБУЗОВА**

ПОЕДИНОК

В Венгрии это было. Наш дивизион стоял в обороне под лесом большим. Послали меня этот лес разведать. Трудное было дело, как сейчас все помню. Издали еще видно, что лес густой-густой. Деревья стояли одно к одному. Вышел я из окопов, пополз вперед потихоньку. Сумрачно кругом, глухо. Высоко над головой все сплелось, и лишь кое-где клочок неба голубел. Редко падало на землю солнце, освещало кустик незабудок, валежник сухой.

Ползу я, помню, от дерева к дереву, от одной мурашиной кучи к другой, в землю вдавливаюсь, прижимаюсь к ней, как дитя прижимается к матери. За валежиной, за кустом шиповника — везде жди врага: блеснет огонь, выстрел хлопнет и... не сделать разведчику своего дела. Первым надо увидеть врага, первым дыхание его услышать.

А в лесу тихо. Фронтальная тишина обманчивая. То слышишь, как шмель над цветком жужжит, а то вдруг взревет где-то пулемет, загрохочет. Эхо проснетесь и долго мечется меж деревьями, сосны загудят, заволнуются.

Ловлю каждый звук. Разглядываю всякую мелочь. Что темнеет за большим пнем? А вон в той воронке что блеснуло? Не ствол ли автомата?

Майский день душным теплом дышит. Я закутан в зеленый маскхалат, со лба на траву пот падает.

В руке у меня автомат, друг неразлучный. Прошли мы с ним немало дорог вместе, в разных местах воевали. Ползу, передвигаю его рядом с собой, каждую секунду готов вскинуть к плечу.

Звякнула пуля, совсем рядом в землю ударилась. Не меня искала? Обсыпало руку, в которой автомат был.

Впереди на земле лежит толстое дерево. К нему ползу. Нет ли чего на той стороне? Может, траншеи там или мины заложены?

Дерево большое, в три обхвата. Должно быть, снарядом тяжелым ударило его под корень, и свалилось оно, разбросав по сторонам обломанные ветки. Замечаю, недавно упало: еще хвоя не пожелтела.



Подполз, лежу за деревом, слушаю. Спокойно кругом. Наверху над головой попискивает лесная пичужка. Гудят сосны. Прислушиваюсь. Вдруг, может, показалось, хрустнуло где-то. Тихо так, очень тихо. Замер я, автомат на изготовке — жду. Ничего вроде нет: шмель гудит. Долго, терпеливо жду. Опять прошуршало, треснуло где-то впереди за сосной. Что же это? Нет, не так падает с сосны сухая шишка. И у козы лесной не такой скок. Подбираюсь, осторожно раздвигаю ветки. В трех шагах от меня, там, за сосной, куча веток. Они рыжие, поблекшие. Под ними что-то зеленое. Секунда — угадываю: маскхалат? Ветки дернулись, из-под них показалась голова в каске, мелькнули глаза, большие, округленные в страхе.

Миг — я на ногах. И только чуть-чуть опаздывает он. Тонкий, высокий, он тоже вскочил, рвет на меня свой автомат. Но мой уже у плеча и грозно смотрит ему в переносицу. Не зевай, разведчик: в этой секунде твоя жизнь! Лицо врага перекопилось: понял — опоздал. Рот открыт в беззвучном крике, на лице сдвинулись морщины. Нацупываю курок, сейчас выстрел... Мушка — прорезь — жму курок, дергаю его, гну, но... нет выстрела. Молчит автомат как мертвый. Почему молчит? Чувствую, на лбу у меня пот холодный: не будет выстрела. Запорошило затвор, когда ударила пуля...

И тот, враг мой, понял это. Рот его, раззявленный в страхе, закрылся с лязгом. Он отпрянул назад, и уже его автомат смотрит мне в грудь крошечной черной точкой. Вижу, глаза от радости хмельные, осматривает меня с ног до головы. И между нами — только три шага.

Колотится, стучит в груди. В лицо сырым холодом веет. Что же? Конец? На лбу врага морщины сделались углом, на губах улыбка: торжествует.

Я сгибаюсь и весь в прыжке — рвусь вперед, дотянуться бы до горла фашиста, и чья возьмет... Но резанул выстрел, ударила в лицо горячая гарь пороха: приметил враг, отскочил. И снова между нами только три шага.

Каска у него съехала, обнажился голый череп, и на нем от виска до затылка шрам. Багровый, изогнутый шрам. Достал ли тебя клинком в атаке казак или пуля партизана настигла, когда ты топтал мою родную землю?.. Серые глаза врага жадно сузились... Вот как довелось встретиться! Тонкие губы его шевельнулись, и вдруг:

— Хэндэ хох!

Что? Зачем руки?

— Хэндэ хох! — еще раз выкрикнул враг.

Понимаю с трудом: живьем хочет взять, в плен... У меня перехватило дыхание, до боли стиснуло горло. Безоружен... нечем дать ответ!

На размышление — секунды. Смерть или плен? Умирать страшно, умирать жалко, ведь тридцати еще не успел прожить, но плен... Хочу рвануть на груди гимнастерку, шагнуть прямо на автомат. Удержало меня что-то, не дало сделать эти три страшных шага. Нельзя умирать разведчику, нет, нельзя!..

Я начинаю поднимать руки. Не слушаются. Каленым жаром обдаёт их.

А он осторожно обходит меня, впился прищуренным через мушку глазом — рисковать не хочет...

— Форвэртс!

Медленно, едва переставляя ноги, шагаю вперед. Растягиваю каждый шаг. Два шага, три, четыре... Враг сзади, он за спиной. Слышу его дыхание. Семь... Восемь... Девять шагов... Во все глаза гляжу по сторонам. Впереди толстая двойняшка сосна. Из одного корня выросли два могучих дерева и срослись вместе. Только высоко над головой они разделялись надвое. Не спускаю с нее глаз: она чуть в стороне. Четырнадцать... пятнадцать шагов... Все ближе к ней. Ее двойной ствол в толстой коре — такой и снаряд выдержит. Еще шаг — руки задевают за ветки — я рывком бросаюсь за сосну и сразу слышу за собой грохот автомата, но огромный ствол сосны уже разделяет нас. Враг рванулся за мной, но я увернулся. Он бежит вокруг дерева, посылает в меня очередь за очередью. Увертываюсь, сгибаюсь — ни секунды на месте. Тороплюсь, скорее, скорее, отцепить гранату... В лицо ударяют щепки, обдаёт гарью, но надежно заслоняет меня сосна своим двойным телом. Знаю — самая малая ошибка может стоить жизни.

Враг не подходит к дереву: я наготове, могу за автомат схватить. И он кружит, гоняется издали. Пули — везде, они рвут сосну, тонко визжат, уходя в сторону. У меня надежда: расстреляет он диск, а перезарядить... нет, не дам я ему перезарядить! Я высовываю пилотку, уголок маскхалата. Пробит! Кончился бы диск... Обожгло коленку, в лицо впиалась щепка, и маскхалат мой вьется клочьями.

Но уже в руке у меня тяжелый зубчатый шар — граната. Удалось-таки отцепить с ремня. Сейчас захлебнешься, сейчас!

— Р-рр-ы-рры! — ревет автомат, и все быстрее разгорается между нами смертельная погоня. Она похожа на детскую игру в салки. Только сейчас салка стоит жизни. Я прижимаюсь к дереву, быстро выглядываю и прячусь. Враг стервенеет. Со щеки моей стекает струйка крови. Но уже отогнуты усики чеки — сейчас... Короткий взмах — летит за сосну тяжелый шар — раз... два... три...

— Р-рр-ррах!

На секунду скрылось все — падают сучья, сосновые шишки. Где же он? Выглядываю... Но снова выстрел, сорвало пилотку. Значит, успел отскочить... Эх, что наделал?! Надо бы задержать гранату!

А теперь у меня только нож — на него вся надежда. Враг замолчал. Целая минута прошла — ни звука. Высовываю кусок маскхалата — не стреляет. Почему не стреляет? Все патроны?

Слышу, хрустнула ветка... Опять... ближе... еще ближе!

Идет к сосне? Зачем? Выглянуть нельзя — близко: скосит. Сжимаю в руке нож, жду. Шаги: туп-туп-туп... Еще ближе... Значит, изменил тактику: хочет бить наверняка. Шаги, медленные шаги. Со звоном колотится сердце — прижимаюсь всем телом к сосне, угадываю, где враг. Недалеко, но с какой стороны появится?..

Присел, приготовился и вижу: у корней, взрыхленный моими ногами, — песок. Крупный, тяжелый песок. Догадка!.. Нож в левую руку, а в правой полная горсть песка. Выпрямляюсь, жду. Он — рядом. Между нами два шага.



— Ну!

Размахиваюсь и бросаю песок за дерево, туда, где должно быть лицо врага. Вперед! Не промахнулся: он сломался надвое, трет глаза! Не зевай, разведчик, поживей! Один удар, и враг на земле. Я в воздухе ловлю его автомат, вмиг прижимаю к плечу. Корчится, мычит.

Пересохло у меня в горле, выговариваю хрипло:

— Вставай! Хэндэ хох!

На секунду я прислоняюсь к сосне: зеленые круги летят перед глазами. Стискаю зубы:

— Ну, пошел!

Плечи у него вздрагивают, трясутся пальцы поднятых рук. На эсэсовских погонах — песок.

И у меня на мокрой ладони тоже песок.

Дружеская венгерская земля... Горстка ее помогла мне победить в трудный час моей жизни!..

МИХЕИЧ

Вечерело. Лес, что был впереди нас, начал темнеть; затягивало синим нейтральную полосу, изломанное снарядами шоссе, автомашину, что лежала обочь кверху колесами. В траншее было душно. Пахло сырой глиной, да еще нет-нет заносило откуда-то сладость поспевающего винограда. В обороне мы сидели четвертый день, и казаки соскучились по коням (они остались километрах в пяти от передовой), по ночным маршам, по привычной казачьей жизни на войне. Коротали время кто как мог. Вели обычные солдатские разговоры, кое-кто прилаживал на продранную коленку заплатку. Пулеметчик Петя Селезнёв тихонько, совсем про себя пел:

Может, завтра утро голубое,
Мне седлать горячего коня...

У Пети лицо мальчишеское, детский румянец еще не потемнел, задумчиво смотрит он в за вечеревшую даль. Взгрустнулось Пете.

А у автоматчиков все вокруг Моисеенко, развеселого, острого на язык казака. Сидит он на ящике с патронами, в зубах самокрутка, пилотка на затылке.

— Да-а... Вынес я ее, братцы, — рассказывает он, — из того горящего дома, дал воды: в чувство, значит, стремлюсь привести. Ну, все как следует. Встала, улыбается. Уж до того хороша была девушка! Потом посмотрела на меня и говорит...

За лесом негромко стукнуло, в воздухе зашуршало, заскребло, быстро приближаясь, шваркнуло над головой:

— Р-ррах! Р-ррах!

Аж в ушах зазвенело! Посыпалась на спины земля.

— Тяжелую бросил, — сказал кто-то.

— Ну вот... — продолжает Моисеенко, аккуратно стряхивая землю с пилотки. — И говорит, значит, мне: «Выйду замуж за тебя, Моисеенко, как только война кончится».



Слушатели посмеивались, дымили папиросками. А Петя Селезнёв на пулемет облокотился и все грустит:

Потеряю я свою кубанку
Со своей удалой головой...

Ему подтянули. Тихо так, задумчиво, и забилась песня по траншее, как огонек в печурке.

Все потонуло в темноте. Изредка над вражескими траншеями вспыхивали ракеты, снова ненадолго появлялся впереди лес, и шоссе, и перевернутая машина на нейтральной полосе. Редко хлопали одиночные выстрелы, пересекались нити трассирующих пуль. Вдруг кто-то сказал:

— Братцы, кажись, Михеич приехал!

Позади наших траншей — глубокий лог. Он весь в густом орешнике. Там останавливался с кухней Михеич, наш эскадронный повар. Сейчас в логу чуть слышно постукивали колеса. Это означало, что Михеич привез ужин.

Я взял Моисеенко и еще четырех казаков, и мы стали спускаться между кустов в лог. Михеич уже ждал: он стоял на колесе кухни, помешивал черпаком в котле. Даже сейчас, в темноте, было видно, что человек он хотя и невысокого роста, но грузный, как и подобает настоящему повару.

— Здорово, Михеич! Как жизнь? — весело обратился к нему Моисеенко. — Что на ужин?

— Что дадут, то и съешь, — ответил Михеич.

Особых разговоров от Михеича не добьешься. Один ли он сидел возле кухни, курил ли с казаками — все больше помалкивал. В длинных его, ниже подбородка, усах седина белела. Из-под бровей, кустистых, песочно-го цвета, смотрели маленькие, угрюмоватые глаза. Будто он все про себя что-то думал и думал. И держался как-то особняком, в одиночку. Старая привычка, наверное: до войны-то пасечником был.

По званию Михеич был сержант, но все обращались к нему просто: Михеич. Так уж установилось в эскадроне. Он привык к этому. И к его нелюдимости привыкли.

На неласковый повара ответ Моисеенко нисколько не обиделся. Он крутился уже около Михеичевой лошади. Была она маленькая, крепенькая, веселой буланой масти, а по спине — темный ремень. В эскадроне за маленький рост, за красоту звали ее ласковым девичьим именем Фенечка.

— Как дела, Феня? Вот я тебе что-то принес, — говорит Моисеенко.

Фенечка повернула голову, взяла с ладони сахар и захрустела, а Моисеенке — радость: смеется.

Надо сказать, что по характеру Фенечка была совсем не то, что ее хозяин. Нрав ее был общительный и... как бы объяснить? В общем, солдатский нрав.

Бывало, в марше обедают казаки возле кухни, Фенечка поглядывает на них мокрыми блестящими глазами, словно бы радуется их крепкому аппетиту. Казаки, хоть у каждого свой конь, любили ее и сделать стремились что-нибудь приятное. Тот сахару принесет, другой — кукурузы початок,



третий — хлеба кусок, присыпанный махоркой в кармане. Фенечка все ела. И подарки эти нехитрые, понимали мы, радовали еще больше, чем Фенечку, ее молчаливого хозяина. Ведь ими казаки как бы свое уважение к Михеичу проявляли. Но виду он не показывал, что доволен, — такой уж характер.

— Как думаешь, Михеич, разговор понимает Фенечка? — спросил Моисеенко.

— Балабон! — буркнул Михеич.

Вообще, любил он, когда казаки ласкали Фенечку или разговор про нее заводили. Гордился своей лошастью, да и не зря: и резва, как огонь, и вынослива. Он считал, что Фенечка — чистых донских кровей. Мелкорослость же ее относил за счет военной жизни. «Конь что ни на есть — самый фронтвой, — говаривал он. — И съест немного, и спрятать легко».

Наполнил Михеич ведра, отправил казаков и только после этого бросил себе каши в котелок. За ужином коротенько обсказывал мне свои дела: получил крупы, масла; интендант обещал свежей картошки; ухналей достал: перековать Фенечку надо — задняя левая ненадежна.

— А завтрак, должно, привезу затемно, старшина, — заключил он. — Больно бьет днем-то по дороге. Пораньше позавтракаете — оно поспокойнее обойдется.

Но все пошло совсем по-другому. Только уехал Михеич, как из-за леса, где был враг, вдруг сразу взревели минометы. Мины без перерыва шипели в воздухе, осколки, комья глины летели на спины. Немного погодя — команда: «Приготовиться! Танки!» Справа в кромешной темноте ревели, грызли землю танки, шли, должно быть, лавиной. Мы приготовились, ждали. Но основной бой шел справа от нас. Там гудела канонада, огненные всполохи вздымались в небо, пулеметы так и захлебывались.

Шум боя прошел по флангу, и уже сзади за нами горела деревня. В какие-то два часа это случилось, и скоро мы узнали, что танки прорвались, зашли в тыл. И еще мы узнали, что на той стороне остались наши кони, обоз с провиантом.

Пришло к нам горе.

— Кони-то, братцы, кони! — пошел разговор по траншее. — Неужто погибли?..

Но это была только малая беда. Бой шел всю ночь, а к утру стало известно, что немцы прорвали нашу оборону и с другой стороны.

Значит — окружение...

— Ну, братцы, готовьтесь! Канитель горячая будет! — говорит Моисеенко. А сам свой автомат проверяет да начищает.

Готовимся, подкапываем траншеею, укрепляем оружие на брустверы.

— Пробьемся! Наши выручат.

А Петя Селезнёв спрашивает меня:

— Должно, каюк нам, товарищ старшина?

Рассердился я:

— А ты не ной. Заумирал раньше смерти! Заливай вон воду в козух!

Вместе с нами попала в окружение еще рота пехотинцев да две батареи артиллеристов. Наш дивизион соединился с ними, и мы заняли кру-

говую оборону. Виден был весь клочок земли, который у нас оставался. Слева лесистые холмы шли. Туда успели забраться артиллеристы и казаки других эскадронов. Справа, глубоко в долине — речка. За ночь пехотинцы накопили над ее берегами траншей и теперь ощетинились штыками своих винтовок. В глубине нашей позиции виднелись обломки стен, разбитые печки — остатки деревни. Пехотинцы берегли наш тыл, а мы стояли лицом к прежнему фронту. И главный удар направил враг как раз на наш эскадрон. Мы поняли это утром. Еще не рассвело как следует, начался ураганный артоналет. Из-за леса сразу били несколько батарей. Гудело, рвалось кругом. Над головами крутились смерчи. Воздушной волной прижимало к земле, забивало рты горячей пылью.

И так целый день. Ненадолго враги давали нам передышку, совсем ненадолго, потом все начиналось сначала. Мы не выпускали из рук оружие, глядели, не зашевелятся ли вражеские траншеи, не выпрыгивают ли фашисты, чтобы идти в атаку.

Как жаркий костер, прогорел этот день. Подошла ночь, по дивизиону команда — не спать: ночную атаку ждали. Тревожно проходил час за часом. Кто-то сказал:

- Подзаправиться бы, братцы...
- Да-а! Не мешало бы... Где-то наш Михеич?
- Живой ли?

Я целый день был в траншее — неделю как заменял убитого командира первого взвода — и не знал, что стало с Михеичем. Если он погиб, то совсем туго нам придется, ведь у казаков оставалось всего по несколько сухарей. Я с тревогой раздумывал об этом. А когда совсем стемнело, кто-то вдруг крикнул, сам запыхался, прибежал, видно, откуда-то:

— Братцы-ы!.. Братцы! Михеич приехал. Ходил сейчас за водой, сам видел.

- Врешь?!
- Говорю, видел. В логу стоит.

Будто свежим ветерком потянуло по траншеям от этой новости. Казаки ободрились:

- Михеич не подведет! Это же не кто-нибудь, а Михеич.
- Важное дело — еда в жизни солдатской!

В логу я увидел нашу двухколесную кухню и Михеича возле нее. Заметил темный бок Фенечки. Она жевала траву, а завидела нас — весело подняла голову, мокрый глаз у нее блеснул в темноте. Михеич копался у топки, стучал чем-то. Он рассказал, что прошлой ночью поехал в обоз за продуктами и едва под танки не попал. Вырвался, Фенечка вынесла, опять же прямо из огня выхватила. Вот только топку в кухне осколком повредило. И как всегда, Михеич неторопливо, но очень споро делал свои дела. Подложит дров в топку, чтобы не остывал суп, подтянет чересседельник, сигарку свернет — и все больше помалкивает.

— Вот, старшина, две пачки махорки, — сказал Михеич, когда я собрался уходить. — Раздай казакам.

Ночью совсем нельзя было сомкнуть глаз. В темноте подползали враги и забрасывали траншею гранатами. А утром, как по распорядку, всегда в



один час начинали над нами кружить штурмовики. Шли волнами. Бросали гранаты, обливали пулеметным огнем.

Погиб Петя Селезнёв. Ночью вылез он из траншеи ноги размять, освежиться и уснул незаметно. Недоглядел я. И тут ударили вдруг минометы — шквал пронесся, — и Петя наш так и не успел проснуться...

...Танковыми гусеницами прогремели над нами еще три дня. За это время гитлеровцы несколько раз ходили в атаку. Шли широкими цепями. Мы отбивались, и под ногами хрустели кучи стреляных гильз. Выдержали мы эти три дня. Знали: один шаг назад — и смерть, гибель. Но надеялись, — выручат, придут наши.

Михеич все время поддерживал нас. Едва темнело, в логу слышалось осторожное постукивание колес, и немного погодя он сам поднимался в траншею и говорил всегда лишь три слова:

— Давай, за ужином!

Поворачивался и уходил. За длинные, как год, страшные сутки у нас это была одна радость — съесть десяток ложек каши. И мы ждали Михеича, верили в него.

Но на четвертую ночь он позвал меня к себе. Я знал, где Михеич остановился: в километре от передовой, в каменном сарайчике. Когда я пришел, он сидел на опущенной оглобле. Задумался, цигарка пальцы ему жгла. Вот тогда-то он и сказал мне самые страшные слова:

— Ну, старшина, всё. Больше варить нечего.

И глядел на меня из-под кустистых своих бровей, тяжело молчал. Знал он, конечно, нечего мне сказать, понимал, трудно у меня на душе, и сам он закаменел как-то весь. Даже в полутьме видел я, как глубоко запали у него на лбу морщины.

— Ты, Михеич, казакам об этом особо не говори. Они на тебя сильно надеются.

Что я мог еще посоветовать своему повару? Чем мог помочь ему?

— Михеич, ты поищи что-нибудь. Может, борщ какой сообразишь, хоть из крапивы.

Я сказал это на всякий случай. Он промолчал. С тяжелым сердцем вернулся я в траншею.

Утром в этот день на нашем участке была танковая атака. Из-за леса вышли четыре «тигра» и на большой скорости покатались на нас. Били на ходу из пушек, из крупных пулеметов. Перед траншеями разделились в разные стороны, пошли вдоль фронта. Наезжали на траншею, разворачивались и обрушивали ее, землей заваливали.

Многих из нас похоронили бы так, если бы не выручили артиллеристы. Ударили сзади через наши головы, дружно ударили, дрогнули танки, повернули назад. Одного успел настичнуть снаряд, в башню угодил. Танк остановился, пошел набок да так и замер на нейтральной полосе.

В этот день нам не было ни минуты отдыха. Минометным огнем сносило брустверы; мы подкапывали траншею, полузаваленную осколками, гильзами. Глаза резало, виски горели у всех, в голове гул стоял.

В моем взводе прямым попаданием убило пулеметный расчет. Погиб наводчик Иван Башкин. В грудь осколок угадал, и он упал худым лицом на пулемет... Будто все еще смотрел в ту сторону, где был враг.

Весь день над нами кружились штурмовики. Они летали низко, по головам. Мы слышали запах сожженного бензина. Но и этот день мы выдержали. Со страхом ждал я ночи, когда должен был приехать Михеич. Ведь знал я, что не приедет он, знал, как тяжело будет казакам после такого дня ожидать другого, ожидать без сна, без отдыха и... без пищи.

Но я ошибся. Как всегда, кто-то первый узнал, что он уже в логу с кухней. Я почти бежал туда. Верил и не верил: радость-то какая, если правда... Но все было как всегда. И кухня стояла у куста, и Михеич погромыхивал ковшом о железное дно, и Фенечка тихим ржанием встречала нас.

Казаки ели молча, с жадностью, слизывая каждую каплю. Галушками накормил нас Михеич.

Поели, стали возвращаться в траншею, несли в ведрах остальным. Моисеенко подошел к Фенечке, хотел, видно, приласкать ее, но рука у него упала бессильно и он сказал только:

— Спасибо, Михеич!

— Какое еще там спасибо?..

Когда все ушли, рассказал он мне, что ходил в деревню и нашел немного муки, в погребе одним откопал. Он собрался уезжать, как вдруг остановился, спросил:

— Казаки говорили тут, будто танку ихнюю подбили...

Я рассказал про танк. Михеич помолчал немного, потом зачем-то снова слез с кухни и опять привязал Фенечку.

— Ты куда, Михеич? — спросил я. Он пробормотал что-то, а тут как раз меня отозвали, и я не понял, что собрался делать Михеич. А перед утром он приехал снова и привез завтрак — мясной суп. На этот раз Михеич был разговорчив и, чего с ним никогда не бывало, пошутил даже: «Ну, Моисеенко, спел бы что-нибудь».

И хотя неловкая была шутка, все улыбнулись, понимали: Михеич подбрить хотел, по-своему, как уж умел.

— Трофейный суп-то, — хитро подмигнул мне Михеич. — В немецкой танке тушенку нашел.

Начался пятый день. На рассвете эсэсовцы пошли в атаку. Рослые, в темных френчах, катились они широкой лавой, надвигались частыми перебежками. Прятались в воронках, бежали вдоль дороги. Мы уже видели потные лица, говор их слышали, солнце играло на серебряных нарукавных нашивках.

Загорелась, вскипела огнем наша траншея. До гранат дошло, кое-где до штыков...

Потом как-то вдруг все стихло. Когда ветер разнес пыль и дым сизый, на нейтральной полосе, в воронках, на дороге стали видны длинные трупы в темных френчах с серебряными нашивками на рукавах...

...Этой ночью схоронили мы многих своих. Позади траншей под орешником выкопали им по последнему окопу. Землей присыпали, свежим дерном привалили. Спите спокойно, друзья-товарищи!

Загорелось утро шестого дня. Думали мы, что он будет для нас последним. В автоматы поставили последние диски, с пояса сняли последние гранаты. Без команды положили их в выемки траншей.



Днем душила жара, комья глины ссохлись и звенели, как осколки. На руках вспухли жилы, а голова, тяжелая как камень, падала на грудь. Мы напрягали последние силы, те последние силы, которые, наверное, только у русского солдата бывают.

Но в середине дня закружились над нами самолеты с красными звездами — прорвались-таки наши! Часа два бросали нам боеприпасы: патроны, пулеметные ленты, гранаты. Правильно, это было самое необходимое. Без пищи солдат останется до самой смерти солдатом, а без патронов...

Мы ободрились, ждали. На похudevших лицах, в запавших глазах радость затеплилась.

Михеич приехал в эту ночь раньше, чем всегда. Когда Фенечку привязывал, зло ругнулся на нее. Никогда раньше этого с ним не было. Потом долго отвинчивал крышку кухни.

— Чаек... — уныло сказал кто-то.

Больше никто и слова не проронил. Гремели котелками, вяло втягивали в себя горячую жидкость, потом шли обратно в траншею. Михеич тоже молчал, и в темноте его грузная фигура казалась придавленной, беспомощной.

И опять сидели в траншее, боролись со сном. Ведь сон был для нас все равно что смерть. Молчали, и губы ссыхались, и не было сил разомкнуть их.

Ночь теперь была страшнее дня. Глаза резало, будто были они железными опилками запорошены. В голове стучало, а рот наполнялся горькой слюной.

В эту ночь Михеич совсем не приехал, но перед утром пришел от него казак, передал, чтобы шли в сарайчик с ведрами. Там будто бы готов был завтрак. Какой завтрак? Откуда? Не шутка ли это? Но я послал казаков, и через час они вернулись с полными ведрами супа! Настоящего мясного супа, да каждому досталось еще по куску мяса. Что за чудо! У всех, кто был тогда с нами, этот завтрак останется в памяти, наверное, на всю жизнь.

И обедом накормил нас Михеич, и ужином. И незаметно прибывали силы, и снова смотрели мы вперед, готовые в каждую минуту встретить врага. И еще сутки выстояли, не дрогнули.

А на восьмой день пробились-таки наши. Ночью справа грохнули пушки, вышли верткие тридцатьчетверки и понеслись к лесу, где сидел враг. Загудел, затрещал лес и сразу вспыхнул, как сухая трава. Далеко отшвырнули врага, и стояли мы уже плечом к плечу со своими.

Радости было — не расскажешь. Обнимали танкистов, плакали, целовались... А потом уснули мертвым сном — первый раз за всю неделю. К вечеру сменили нас свежие войска. Дивизион готовился к выступлению. Прибежал я в сарай к Михеичу. Ворота распахнуты. Увидел его и не мог сразу выговорить ни слова. Он сидел ко мне спиной, как всегда на оглобле кухни. Она была пустая, незапряженная. Плечи Михеича ссутулились, в пальцах цигарка тлела. Он поднял голову, медленно так поднял, и я увидел, дрогнули у него губы и на седой ус скатилась скупая солдатская слеза. Подошел я к Михеичу, обнял его за плечи, и мы пошли рядом, туда, где строился наш эскадрон.

На сарайчик, в котором виднелась кухня, неподвижная, покинутая, на ее пустые оглобли он оглянулся только один раз.

И по обычаю своему — ничего не сказал.

ДО СВИДАНИЯ, САША!

Помню, все время у меня стучало в голове. Стучало мягко, со звоном, похоже на то, как капля падает в таз, и я прислушивался к этому звуку, будто был он не во мне, а шел откуда-то снаружи, из-за стены. Еще помню, что всегда было сухо во рту, а перед глазами плыли черные облака. Сколько времени было так, не знаю. Когда я пришел в себя, то увидел сначала светлый, яркий шарик. Он висел высоко надо мной, и от него разбегались в стороны тонкие, острые нити. Я долго думал, что же это такое? Будто льдинка на солнце искрится. Потом догадался: лампочка. Тихо было, очень тихо. «Наверное, в госпитале», — догадался я.

Я безотрывно смотрел на лампочку. Налетел откуда-то мотылек, быстро-быстро закружился, зашуршал крыльшками. Мне резало глаза, но смотрел не мигая, боялся, ошибусь в догадке: вижу — значит живой. Я пошевелил ногами, руками. Чувствовал их. Сердце тоже чувствовал. Билось оно и в груди, и в голове. Теплая волна радости прошла по всему телу. Живой...

Потом я увидел чье-то лицо: быстрые серые глаза, и в них — по светленькой искорке. Со лба опускались светлые прядки, нос остренький — девушка какая-то.

— Проснулись? — спросила она. — Вот и хорошо.

Ее руки касались моего лба, осторожно так касались. Руки были маленькие, с тонкими пальцами.

— Сильно меня обломало, доктор? — спросил я.

— Ой, вы, кажется, заговорили? — удивилась девушка. Она наклонилась ко мне, пристально посмотрела в глаза, и я увидел золотистый пушок на ее верхней губе. От ее рук пахло чем-то, как от цветов. — Ранило вас немножко... сильно. Но Иван Илларионович говорил, что вы уже поправляетесь. А я не доктор. Я — сестра, ухаживаю за вами.

Я хотел ее спросить что-то, но в голове опять застучало, а перед глазами поплыл туман. Ее лицо закачалось, как цветок на воде, поплыло, и я еще долго видел его и все не мог разобрать, то ли цветок вижу, то ли девичье лицо.

Потом сквозь забытие услышал, кто-то спросил мужским голосом: «Как Арбузов?» — «Лучше, Иван Илларионович, — ответил тот же девичий голос. — Он совсем молодец. Приходил в себя, даже разговаривал». Жесткая рука взяла мою руку, сжала ее: «Разговаривал? Ну что ж, Сашенька, видно, выходила ты парня».

Кровать скрипнула, мужчина ушел, постукивая каблуками. А Саша была здесь. Я не видел ее, но знал, что она не ушла. То одеяло подоткнет, то на подушке рубчики разгладит, то про себя скажет что-то вполголоса.

Потом я стал чаще приходиться в себя. А Саша увидит, что я проснулся, и заулыбается вся.



— Проснулись? — спросит. — Здравствуйте. Что-нибудь хорошее видели во сне? Ну, ладно, давайте умоемся и — завтракать.

Она вытирала мое лицо мокрым полотенцем, потом обнимала за шею и кормила с ложечки. Есть мне всегда не хотелось, но как откажешься? Ел, боялся обидеть Сашу. Она дышала мне в щеку, я близко видел остренький нос, щеку с маленькой ямочкой и слышал даже, как бьется за белым халатиком ее сердце. Она всегда что-нибудь говорила:

— Вас зовут Андрей Степанович? Да? А меня — Саша. Вот мы и познакомились. Я здешняя. Живу с братом. Он токарь, на заводе работает. А вы сибиряк? Из самой Сибири? Ой-ей! Ну, ладно!..

За длинный, очень длинный госпитальный день Саша заходила в палату много раз. Придет, поправит одеяло, спросит, как чувствую себя. Один раз я сказал, что плохо: Саша побледнела, растерялась, пролила даже что-то из склянки, и у нас долго пахло в палате. Я стал всегда говорить, что хорошо мне: жаль было девчоночку.

У меня сильно болела голова. Будто кто сжимал ее ладонями: сожмет — отпустит, сожмет — отпустит. Временами от боли тек у меня с лица пот, подушка делалась мокрая.

После обхода и завтрака становилось в палате тихо и темно. За окном, должно быть, стояли деревья, и солнце не попадало к нам. От боли в голове или от чего другого стал я бессонницей мучиться. Днем не могу уснуть и ночью лежу с открытыми глазами. Слышу, как в темноте занавеска плеснет, будто вздохнет кто, где-то машина прогудит и стихнет. И все думаю. Что же теперь дальше будет? Может, так вот и останусь лежать на больничной койке? Голова болит... разламывается.

Днем все-таки легче было. Кругом люди ходили и, главное, Саша. Я не видел двери, но сразу узнавал, когда она заходила в палату. На окне медленно отдувалась занавеска, слышались легкие шаги, шуршал ее халатик. Она останавливалась у кровати, приподнималась на цыпочки: сплю я или нет? Если я не спал, то она говорила:

— Проснулись? Здравствуйте.

И опять я видел светленькие точки в ее зрачках и ямочку на левой щеке.

— Что-то вы сегодня бледный. Плохо спали? Знаете что? Давайте я вам спою. Я, конечно, плохо пою, но как уж умею.

Она садилась ко мне на постель и вправду пела. Голосок у нее тоненький, как у синички, смотрит сама в окно и поет потихоньку. Знал я, что это доктор приказал ей петь, а все равно приятно. Была у нее песенка одна, про гусей перелетных. Запоет ее, и мне всегда вспоминается почему-то деревня наша и луг заливной над речкой. Всегда он в росе, луг-то. Бегали мы ребятишками по нему за гусями, телятами. Побежишь, бывало, сухой, а возвращаешься весь мокрый от росы и желтый от цветов.

Один раз доктор приказал выкатить меня в садик перед корпусом. Лежать под деревьями было хорошо. Над головой сквозь листья небо виделось и облака плыли такие спокойные, такие белые. Они появлялись из-за крыши корпуса, легкие, как лебеди, и плыли по небу, пока не скрывались за макушками деревьев. Эх, и давно же не видел я облаков! Смотрел во все

глаза, провожал каждое, и вроде боль моя становилась тише. А Саша принесла в тот день цветы, положила на подушку и хитро так зашептала:

— Андрей Степанович, вот я цветов нарвала. Вы любите цветы? А знаете что? Думайте, что эти цветы подарила ваша девушка. Ладно?

Попросил я, чтобы меня выносили на улицу каждый день. Как-то налетела скорая гроза, меня вымочило. Саша испугалась, а мне даже лучше стало. Уж очень хорош был дождь, теплый, крупный. В каждой капле с чайную ложку воды. От такого дождя хлеб за ночь на полчетверти поднимается.

Говорить я понемногу начал. Придет Саша, сядет со мной рядом, рассказывает про то, про другое, забавляет по-всякому. Раз я говорю ей:

— Хорошая вы, Саша, милая. Счастливый будет человек, которого вы полюбите.

Покраснела она, смутилась. Сквозь листья падало на Сашу солнце, ложилось пятнами на светлые волосы, на лицо, на руки. Была она совсем еще молоденькая, может, недавно только девушкой себя почувствовала.

Незаметно прошел месяц. Сдружились мы с Сашей. Рассказывает мне, бывало, про брата своего, Федю, про себя. Приветливый характер у нее, простой, и сама она веселая, как ручей лесной, что бежит по камням, светлый такой, звонкий.

Пошел я на поправку. В голове уже не стучало, и стал я шевелить понемногу руками и ногами. Меня перевели из тяжелой палаты, и стала ухаживать за мной другая сестра. Но утром я все равно смотрел на занавеску, ждал: вот-вот она надуется, стукнет дверь, войдет Саша и скажет:

— Проснулись? Здравствуйте!..

Но входила пожилая, высокая Лидия Ивановна, громко ставила на тумбочку ящик с пузырьками и спрашивала:

— Как себя чувствуем, Арбузов?

Перевязку она делала ловко и быстро, но совсем не так, как Саша.

На улице сделалось пасмурно, шел дождь, и я целыми днями лежал в палате. Дни были одинаковые, длинные, и временами мне уже казалось, что Саша была только во сне, не верилось, что она за стеной, ходит, говорит, заботится о ком-нибудь.

И все-таки однажды она пришла в нашу палату, поставила на мою тумбочку цветы и строго сказала, что это приказал доктор Иван Илларионович. Такие же она приносила мне в первый раз: огоньки, колокольчики, ромашки. Больше Саша ничего не сказала.

Начал я ходить понемножку и однажды вышел даже в коридор. Долго стоял у окна. Голова у меня кружилась, а я ждал чего-то и сам не знал, чего жду. Хорошо было стоять, только ноги отвыкли и дрожали в коленях.

Вдруг откуда-то вышла Саша. Она не узнала меня сразу, стояла и издали смотрела. Потом подбежала, засмеялась:

— Ой, какой же вы большой, Андрей Степанович! Ужасно! А я вот совсем маленькая.

Она действительно была маленькая. По плечо мне. Смотрела на меня снизу вверх, и в глазах у нее бегали светленькие искорки...



Я стал выходить в коридор каждый день. Сяду на диван у окна и жду. А Саша бегает по коридору, то к доктору, то в палату, то одно у нее дело, то другое. Некогда ей. А я сижу, и никуда мне не хочется уходить.

Один раз подошла ко мне Саша и говорит:

— Андрей Степанович, а я рассказала про вас брату Фёде.

— Правда? — удивился я.

— А знаете, что он сказал?

— Что?

— Ой, такую глупость! Мы поссорились с ним из-за этого.

— Что же он сказал?

Она не ответила, только долго так посмотрела на меня и ушла.

Была она какая-то все время неодинаковая. Вдруг перестанет со мной разговаривать. Проходит, не оглянется, голову держит важно, строго, еле кивнет, как полужнакомому.

— Саша, вы в обиде на меня? — спрошу ее.

— Странно! За что я могу обижаться на вас?

А то начнет смеяться надо мной:

— Вы были казак? Да? Это, значит, со шпорами и с усами? Вот бы нафотографировать вас, а карточки на базаре продавать.

Со смехом так и убежит.

Однажды замечаю, беда какая-то у Саши: глаза красные, и сама ходит тихая, молчаливая. Что, думаю, случилось? Спросить — не решаюсь. А вечером она сама подошла и говорит:

— Андрей Степанович, я вам хотела сказать... Фёдю в армию взяли... Вчера проводила.

— Вот оно что! Одна, значит, осталась?

— Одна.

Саша всхлипнула совсем по-детски как-то, и по щеке скатилась слеза.

— Я его так люблю. Он хороший, Фёдюшка мой...

— Не надо плакать, Саша. Такое не только у тебя. Придет еще Фёдя.

Саша еще раз всхлипнула, смахнула слезы кончиком платка:

— Андрей Степанович, вы можете мне посоветовать?

— В чем?

— Я надумала уходить из госпиталя.

— Куда, Саша?

— На завод, на место Фёди.

— Почему же ты так... решила?

Саша вздохнула:

— Не смогу я, наверно, объяснить. Глупая совсем. Ну, почему? Вот Фёдя ушел на фронт и... и вы, когда поправитесь, уйдете. А я буду все здесь, в тепле, в чистоте, и никаких у меня трудностей. На руках вот даже маникюр.

— Она ведь и твоя работа несладкая, Саша.

— Знаю, но все равно... В доме нашем женщина одна живет, Анна Михайловна. Муж у нее на фронте, а с ней четверо детей осталось. Она на Фёдином заводе работает. Встречусь я с ней, глаза девать не знаю куда, руки прячу.

Понимаю, все равно Саша сделает как решила. Да и как бы я стал ее отговаривать?

— Трудно советовать тебе, Саша. Я думаю, к чему лежит сердце, это и правильно будет, а к чему не лежит, такое забыть надо, выбросить.

Может, по голосу моему понял все Саша. Она долго молчала, смотрела мне в глаза, чего-то ждала. Но я больше ничего не сказал. А дня через два она ушла. И после я уже не сидел в коридоре у окна: никого не ждал и сделался самым послушным больным у Лидии Ивановны. Раньше всех являлся на перевязку, послушно принимал во множестве всякие лекарства, исправно делал зарядку. Старшина Арбузов к порядку приучен: военный человек...

Все время помнилось, как на прощанье Саша пожала мне руку и сказала:

— Андрей Степанович, можно я зайду... к вам... поговорить?

Не о чем, видно, было говорить, потому что прошла неделя, другая, а Саши все не было.

Я стал выходить в сад. Сад был большой, старей. Под тополями — они стояли вдоль железной решетки — были скамейки, и мы, раненые, сидели там днем. За решеткой тянулась улица, по тротуару целый день шли люди. Ребятишки подбегут с сумками, облепят решетку, галдят галчатами:

— Дяденька, а у тебя рука железная?

— Дяденька, а ты кто? Танкист?

— А у казаков сабли, как у Чапаева?

Девушки пройдут с фабрики, останавливаются, с ранеными разговаривают.

И опять неожиданно-негаданно встретились с Сашей. Сижу я однажды на диванчике, на улицу гляжу, вдруг заметил, идет по тротуару вроде бы мальчишка в синих штанах и беретике. Присматриваюсь, а это — Саша.

Увидела меня, подбежала, руки протягивает.

— Здравствуйте, Андрей Степанович!..

Глаза у нее все те же — ласковые, большие, и светленькие точки бегают в зрачках, как солнце на воде.

Саша вошла в садик, села рядом. Руки у нее были темные, мизинец обмотан лентой изоляционной. Она сбоку, через плечо, смотрела на меня:

— Вот я какая стала. Изменилась?

— Трудно тебе на заводе, Саша?

Она как-то хлебнула воздуха, опустила голову.

— Трудно, Андрей Степанович.

Похудела Саша. Нос у нее стал совсем остренький, и лицо потемнело. Я взял ее руки и погладил маленькие пальцы. Она еще ниже опустила голову и тихо, почти шепотом, сказала:

— Андрей Степанович, я вас очень, очень люблю.

Так все время и звала меня по имени-отчеству, хотя в годах у нас разница была не такая уж большая. Стал я ждать Сашу каждый вечер. Она заходила в сад, когда шла с работы. Походка у Саши тоже стала другая — тихая, усталая. Саша рассказывала, как точила тяжелые снаряды или про то, что у нее поломался резец, а мастер ругался, и Саша плакала.

Бывало, что она не приходила, и я тогда дотемна сидел на скамейке, пока Лидия Ивановна не разыскивала меня и не начинала ворчать:



— Арбузов, сейчас же идите в палату. Безобразия. Если каждый больной будет нарушать режим из-за какой-то девчонки, то что же у нас получится?..

На другой день Саша говорила, что на заводе был срочный заказ и она работала две смены и ночевала тоже в цехе. Около носа были у нее темные пятна, изолятором были завязаны оба мизинца. Мне жалко было Сашу, и я говорил ей:

— Иди домой, поспи. Совсем устала.

— Еще немножко посижу. Только минутку...

Я принес ей однажды кусок хлеба. Она рассердилась, даже хотела уйти, но потом нечаянно отщипнула крошку, незаметно съела все.

Один раз пришла Саша не с работы, а из дому. На ней было голубенькое платьице, тоненькая косынка, и волосы распущены по плечам. Красивая была Саша. Я не сразу решился сесть рядом.

— У меня выходной сегодня. Может быть, вы... пойдете ко мне в гости?..

Я пошел отпрашиваться, и Лидия Ивановна сердито ворчала:

— Безобразия, Арбузов. Если каждый больной будет отпрашиваться из-за какой-то девчонки, то что же у нас получится?

Но отпустить — отпустила и сама прислала одежду.

Саша жила в маленькой комнатке на втором этаже. И все там было белое и чистенькое. Над кроватью висела фотография парня в серой шляпе. Парень подмигивал и задорно улыбался. Был он очень похож на Сашу.

— Это — Федя, — сказала она.

Мы сидели у окна и разговаривали. Обо всем разговаривали. Не заметили, как вечер наступил.

Я стал ходить к Саше. Когда не заставал ее, то сидел на лавочке против дома и смотрел на окно Сашиной комнаты, где потихоньку вислась занавеска. А потом уходил.

Раз я пришел к ней. Воскресенье было, и день стоял погожий. Постучал, никто не отвечает. Открыл дверь — Саша лежит на кровати, а спина у нее мелко-мелко вздрагивает. Она оглянулась и снова уронила голову на подушку.

— Федю... Федюшку убили, — всхлипывая, сказала Саша.

На столе лежала маленькая бумажка в черной каемке, а портрет Феди лежал на подушке, и на него падали Сашины слезы. Я сел рядом и стал гладить ее по голове.

— Теперь никого у меня не осталось, кроме вас, Андрей Степанович.

Я поправился. Рубец на моей голове затянуло, руки и ноги двигались вроде нормально. Меня послали на комиссию. Доктора прослушали, просмотрели по всем статьям, потом старший — капитан — сказал:

— Ну что ж, старшина, воевать вам пока не придется. Поезжайте домой. На отдых.

— Как же, товарищ капитан? Я же вроде здоровый.

— Здоровый, да не солдат.

Пошел я к Саше. Обрадовалась: смеется и плачет. Сняла с меня вещмешок, шинель, прижалась.

— Саша, я ведь навсегда пришел, — говорю я. — На всю жизнь... Не прогонишь?

Она не ответила, только обняла еще крепче.

Прожил я у Саши с месяц, отдыхал. Утром провожал ее на работу, шли мы, взявшись за руки, и она смотрела на меня снизу вверх. Ходили на речку, в лес. А вечером сидели у окна и разговаривали.

Сделал я все, что мог, по домашности. Подровнял пол, окна подремонтировал, да много ли дела найдется в крошечной комнате? А на работу все-таки не поступал. Нет, не от лени и не от болезни. Беспокойство было какое-то на душе.

Проводил я как-то Сашу на завод, домой возвращался. Да как на грех дорогой ошибся и долго по городу петлял. В одном месте увидел пожилого человека с усами, на бочке он ехал и похож на Михеича — страсть. У меня мурашки по спине забегали. Вгляделся — отлегло: не он, не Михеич. Только после не мог я думать больше ни о чем другом, как только об эскадроне нашем. Вспомнились мне ребята: Козловский, Шишкин, командир наш. И представилось, что видят они меня и знают все о жизни моей.

Убеждаю себя, что сделал свое на фронте, вчистую отдал что мог, а на сердце все равно тяжело.

Хожу по городу. Люди кругом. И мужчин много. Рота солдат прошла. Гляжу на них. Толкую себе: они-то здоровые, что с ними равняться? Случай со мной в тот день нехороший был. Идут мне навстречу двое: мужчина и женщина. Идут себе спокойно, гуляют, должно. Толстые оба, довольные, тротуар загородили. Все обходят их, а они хоть бы что, ни на кого внимания не обращают. И сделалось что-то со мной — прямо на них иду, раскачиваюсь. Подошел — мужчину плечом, — он с тротуара в пыль белыми туфлями.

— Позвольте?..

— Чего?.. Не видишь, солдат идет?

И стыдно было потом, да не воротишь, что сделано.

А потом спросил, где военкомат, и — туда.

К вечеру получил дорожный паек, в маршевую роту меня зачислили. Отпросился на два часа, прибежал, разбудил Сашу — она с работы только пришла. Скатка у меня за плечами и погоны на месте. Смотрит спросонья большими глазами, молчит, слезы бегут по щекам. Ни одним словом не упрекнула, не осудила. Поплакала тихонько, потом сказала:

— Каждый день буду ждать, что бы ни случилось. И еще что я скажу... вдвоем будем ждать скоро.

— Как вдвоем, Сашенька?

Она молчала. Я взглянул ей в глаза и понял все.

— Назови его именем моим, Саша.

— Да, да, назову.

Проводила меня на вокзал, ночью это было, обняла крепко, шепнула:

— До свиданья, Андрей Степанович.

Так и не научилась звать меня по имени.

До свидания, Саша, дорогой человек мой!

РАСПЛАТА

За раскрытыми дверями вагона уплывали просторные поля, все в желтой налитой пшенице, березовые околки, деревушки дальние, а внизу под полом — быстрый перестук колес, будто разговор человеческий. Задумаешься, всякие мысли в голове побывают. Последние деньки мелькают, часы. Еще десяток ночей поспишь не в окопе, не в воронке, а хоть не на мягкой, но все-таки на постели. А что будет потом? Нет, не знаешь, как повернется судьба солдатская, когда выстукивают под тобой колеса вагона, что бежит и бежит на фронт.

Ехали долго, привыкли к жизни вагонной и к ветру, что залетал с полей в раскрытые двери. На станциях, как только поезд останавливался, мы высыпали из вагонов и тут же, между путями, раскладывали костры, варили в котелках суп из сушеной картошки. Пообедав, ходили по вокзалу, зубоскалили с молоденькими проводницами, знакомства заводили: солдат — веселый человек.

Но вот протяжно свистел паровоз, и на все голоса затягивалась команда:

— По ваго-о-о-нам!

И мы сломя голову бежали к своему длинному красному составу, к знакомому вагону с трехэтажными нарами, с чугунной печкой, с проволочной лесенкой. И опять, свесив ноги, сидели у раскрытой двери, смотрели, как убегают назад телеграфные столбы, облака в небе, махали пилотками девушке, что остановилась на извилистой проселочной дороге и глядела на нас из-под ладони. До свиданья, милая, вернутся еще солдаты...

А то соберемся все в круг, сядем плечом к плечу да как грянем в сорок голосов «Выплывают расписные...», — березки клонятся от дружной песни нашей.

Народ в вагоне был разный. Многие, вроде меня, по второму, по третьему разу из госпиталей возвращались, были и старше, как наш Михеич, но больше ехало молодежи, которая пороху еще не нюхала.

В нашей жизни походной люди быстро свыкаются, такой уж обычай. В первый же день я познакомился с сержантом одним. Звали его Константином Оленевым. Парень он хоть и веселый и разговорчивый, но было в нем несолдатское что-то. Ростом крупный, телом не по годам полный, а главное — носил очки. Должно, какой недостаток в зрении имел. В вагоне сначала посмеивались над этими очками, да скоро перестали. Раз появилась у нас гитара откуда-то, взял ее в руки этот самый Оленев, тронул только струны, а она так и запела, так и залилась в руках у него. Все в вагоне свесились с нар, не дышали, глаз с него не спускали. Вот тебе и очки!

Ласковость в нем была какая-то. Со всеми Оленев умел поговорить и взгляд имел хороший, приятный.

Подсел этот Оленев однажды ко мне, улыбается просто так, очками поблескивает.

— Смотрю я на тебя, старшина, — говорит, — и нравишься ты мне, ей-богу. Какой-то ты простой да ясный, и, должно, мыслей у тебя скверных не бывает.



Разговоры мудреные он любил заводить. Спросит, бывало: «А что такое человек счастливый?» И такой вокруг спор затеется, хоть водой спорщиков разливай. Рассказывал, книгами много занимался, по газетному делу работал.

— На добром слове спасибо, — отвечаю ему, — но ты, должно, прощачком меня считаешь. Будто у меня и мыслей никаких не бывает?

— Напротив, старшина, напротив. Я так полагаю, что ты уже пере-думал те мысли, над которыми я бьюсь.

А он действительно подумывал над чем-то. Играет на гитаре, тихонько так наигрывает, а сам нахмурит лоб, задумается, не услышит, когда что спросишь.

Частенько мы разговаривали с ним, незаметно сдружились. Даже места на верхних нарах были рядом. Ночью уснут все, темно в вагоне, лишь колеса выстукивают, а он спрашивает меня:

— Старшина, а ты думаешь, что вот... ну, убить тебя могут?

— А как же, — отвечаю, — бывает, думаю, особо если поем тяжело.

Засмеется он сердито:

— Говоришь ты об этом, старшина, черт знает как. Все равно что о портянках или там о каше.

— Угадал, — шучу я. — Смерть у солдата в одном с портянками вещмешке находится. Только по боевому уставу портянки полагается иметь при себе, а смерть — об ней ничего не сказано. Значит, думать о ней не положено.

— Молодец, старшина! Все у тебя хорошо, просто получается. Завидую.

Я засыпаю и чувствую, не спит он, в потолок смотрит. Ничего, пусть обдумается, это хорошо. Обдумается, обомнется — будет солдатом. Лишь бы мысли правильный ход взяли.

А днем менялся. Всегда со всеми — парень хоть куда. Нарядится девушкой, очки снимет, а глаза у него серые, светлые, и давай перед солдатами и так и этак, — прямо как в спектакле — со смеху все помирают. Уважали его в вагоне.

— Оленев, организуй развлечение, — просят, бывало, солдаты.

— Костя, соври что-нибудь.

Смешно у него все получалось: накинёт на себя шинель полами кверху, завяжется и давай солдатам по рукам с цыганским приговором гадать:

— И-и-и, брильянтовый мой! Счастливый будешь. Отпади голова моя, счастливый будешь. На фронт приедешь, пофартит: дадут тебе ружье, длинное-предлинное, большое-пребольшое — пэтээрм то ружье прозывается. Вот в чем счастье твое, солдатик. Носить будешь да покряхтывать. Позолоти ручку, позолоти поскорее!

А приходила ночь, лежа рядом со мной, он ворочался, вздыхал, потом шептал мне на ухо:

— Как приедем в часть, ты возьми мой адрес.

— Зачем?

— Матери напишешь.

— А ты что, сам разучился?



— Не понял, чудак. Напишешь, когда превращусь я в молодой, красивый труп.

— Дурак ты. Чего скулишь, не пойму.

А поезд все шел, торопился вперед, и уже ехали мы по местам, где тяжелыми ногами прошагала война. По Гжатску поезд двигался осторожно, чуть-чуть постукивали колеса. Домов не было: лежали груды камня. Тихонько объехали большой серый элеватор. Он стоял, наклонясь всеми своими башнями вбок, но стоял целый, чудом не упал. Оленев сидел у двери, смотрел на город и улыбался. Губы у него чуть побледнели.

А за Смоленском средь бела дня наш поезд рванул вдруг назад, попадали котелки, с грохотом покатились печка.

— Вылеза-а-ай!

Мы посыпались как горох, а с неба несся завывающий рокот: над поездом кружил разлапистый «юнкерс». Вокруг него вились два наших «ястребка», вились, как ласточки летом, и в реве самолетов слышался басовитый говор пулеметов.

Рядом рванула бомба, еще одна. Мы лежали на земле, и тут я услышал, кто-то кричал:

— Бей их, братцы! Жарь его, гада! Еще всыпь!

Голос был тонкий, мальчишеский. Оглянулся, а это Оленев. Он стоял во весь рост, размахивая руками.

— Ложись! — крикнул я.

Но он не услышал и все кричал, бегал по полю. Я схватил его за ногу, прижал к земле:

— Ты что, дурную смерть ищешь?

Он как-то сразу затих, замолчал и самый последний сел в вагон. Ну что ж, фронтовая жизнь, она никому легко не дается. К ней привыкнуть надо.

И вроде бы не ошибся. Казачья служба пришлась по душе Оленеву. Его назначили помкомвзводом, и, надо сказать, был он неплохим командиром. С казаками в хороших отношениях, они уважали его, слушались с первого слова.

Нашему эскадронному Оленев тоже понравился разговорами умными, веселостью. На отдыхе или во втором эшелоне случалось быть, Оленев оживлялся: на гитаре играл, а то анекдоты начинал рассказывать. Ценил его капитан. «Один веселый человек, — говорил он, — двух стоит».

Мы и здесь дружили с Оленевым. Бывало, у меня какая забота, он подойдет и скажет:

— Что хмуришься, старшина? Саша не пишет? Слушай, давай накачаем сами. Сочиним расчудесное письмо! Хочешь?

Уважал я его за это.

Однажды летом мы с неделю стояли в обороне. Траншея наша тянулась по берегу глубокого лога. Склоны его густо заросли акацией, диким орешником, а внизу даже днем лежал туман. На той стороне лога виднелся длинный каменный сарай, за ним в полкилометре начиналась деревня. Оттуда били по нашей траншее минометы. Командир решил разведать лог и для этого дела вызвал Оленева.



— Пойдешь в разведку, — сказал он. — Твое дело — через лог до сарая добраться. Узнай, можно ли там пулеметы установить. Смотри в оба: могут быть минные полосы, на охранение — прозеваешь — напорешься. В общем, Оленев, действуй, надеюсь на тебя.

Я сам собирал Костю. Положил в карманы гранаты, автомат проверил, портянки просмотрел. Сунул сахару кусок — усталого очень освежает.

Костя жадно искурил подряд две папироски, посмотрел на меня и сказал:

— Ну, все. Пойду.

Выпрыгнул из траншеи, зашагал сначала медленно, нерешительно как-то, потом все быстрее, вот скрылся за кустом, еще раз мелькнула его пилотка и пропала в темноте. Ночь стояла звездная, теплая. Все будто замерло кругом: ни выстрела, ни крика. В траве трещали кузнечики, а на той стороне в деревне лаяла собака.

Ползет Костя. Ох как осторожно надо ползти!.. Чтоб ни веточка под тобой не хрустнула, ни лист сухой не прошуршал. Успей все увидеть, услышать, ни одной оплошки не допусти. Помнишь ли об этом, сержант Оленев?..

Я делал свои дела, а сам все думал о нем. Может, сейчас спустился Костя на дно лога, там ручей должен быть. Напился воды, еще раз прислушался и дальше пополз.

Медленно, тяжело тянутся минуты. Траншея наша замерла, ждет. А может, встретился сейчас с врагом, взялись они в смертной схватке один на один, эх, своей бы добавил силы!..

Тихая ночь, очень тихая. Сарай чуть виднелся на той стороне, в темноте он походил на лежащую лошадь. Может, подобрался уже к нему Костя? Показалось, будто мелькнула там тень, мелькнула и пропала. Нет, обман — далеко...

Вдруг зашуршало рядом, ветка хрустнула.

— Стой! Кто идет?

— Свои... Это я, братцы.

Голос Кости хриплый, еле узнаешь.

Дышит тяжело, слез в траншею, устало прислонился спиной к стенке.

— Ну как? Докладывай!

Это подошел командир эскадрона.

— Выполнил, товарищ капитан.

По лицу Кости тек пот, дышал часто.

— В сарае был?

— Был.

— Никого нет?

— Нет.

Костя, не отводя глаз, пристально смотрел в широкоскулое лицо капитана. Говорил твердо.

— Через полчаса поведешь ребят к сараю, — сказал капитан, но тут заметил, что Костя держит левую руку в правой. — А с рукой что?

— Вывихнул, товарищ капитан. С обрыва сорвался.

— Ах ты, досада! Ребята без тебя пройдут?



- Пройдут.
- Не собьются?
- Нет, не думаю.

Темно было в ту ночь, безлунно, не разглядишь, что на душе у человека...

— Шишкин! — позвал капитан.

Подошел наводчик станкового пулемета, коренастый, светловолосый Сергей Шишкин.

— Возьми пятерых автоматчиков и крой потихоньку до сарая. Укрепи там. Утром мы слева пойдем, а ты чтоб огоньку дал. Понял? Огонек чтоб форменный был!

— Понял, товарищ капитан.

В две минуты они собрались, вытянулись цепочкой, пошли.

— Ты отдохни, Костя, — сказал я. — Приляг. Давай руку перевяжу.

— Какой тут отдых? Покурю лучше.

— Садись, вместе покурим.

Он сел, но сейчас же вскочил, пошел куда-то. На ходу бросил:

— Постой, я сейчас.

Прошел по траншее к пэтээровцам, к пулеметчикам и все курил папироску за папироской. От боли в руке, должно.

Мы готовились к атаке, и я потерял его из виду.

Капитан поглядывал на часы, ждал, когда Шишкин подаст сигнал: так ему было приказано. За логом над деревней взлетали в небо ракеты, повисали и плавно падали по крутой дуге. В зеленом дрожащем свете появлялся на бугре сарай, весь зеленый, на землю ложилась тень, трепетала, и снова все проглатывала темнота. Из лога дул теплый ветер. Пахло цветущей акацией; тихонько ухала далеко сова.

Вдруг рядом загрел пулемет, за ним — другой, рванула граната. Оглянулись: там, на бугре, у сарая. Недружно ответили наши автоматы, засвистели пули, кто-то крикнул, и опять все смолкло. Капитан бросился в темноту.

— Неужели... на засаду? — скрипнул зубами. — Где Оленев?

Костя подошел, стал рядом.

— Что это? Что?

— Не знаю, товарищ капитан, не пойму...

Решили ждать. Если что случилось, Шишкин должен вернуться или казака послать. Что же там? Стычка?

Тихо как в гробу было: ни звука, ни шороха. Траншея встревожилась, мы стояли у оружия, ждали. Ухала сова в дальних кустах.

Вдруг впереди что-то шевельнулось, прошуршало. Хриплый голос сказал:

— Братцы, свои...

Я кинулся в кусты. Шишкин это был. Он хватал рукой землю, полз. Рядом — станок пулемета, сзади, шатаясь, шел второй номер. Мы втащили их в траншею. У Шишкина из левого рукава капала кровь.

— Ранен? — спросил капитан.

— Руку... осколком...

— Остальные где?

Шишкин задыхался, долго не мог выговорить ни слова, с каждым вдохом вырывался изо рта хрип.

— Там остались... у сарая.

Он опять замолчал, тяжело поднималась грудь; утер с лица пот разорванным рукавом гимнастерки. Капитан хрипло спросил:

— Что там? Засада?

— Конечно засада! — звонко вскрикнул Оленев. — Подошла, пока они ползли.

— Нет, не засада... — тяжело выговорил Шишкин, долгим взглядом посмотрел на Оленева. — Там, перед сараем — дот... три пулемета.

— Не может быть... Врет он. Какой дот? Не было дота.

— У сарая — дот, — повторил Шишкин. — В три наката. Из пулеметов обстреляли... Гранаты... Полегли ребята... Пятеро...

Оленев засуетился, забежал глазами от капитана к Шишкину, комкая в дрожащих руках пилотку.

— Не-не-неправда... Никакого дота. Заблудились они. Сами виноваты.

Капитан медленно повернулся к Оленеву:

— Значит, ты не был у сарая?

Он долго глядел в лицо Кости, тяжело дышал. Потом шагнул ближе, рука его медленно пошла назад, к кобуре.

— Людей угробил, гад... Шкуру свою спас!

Пальцы медленно расстегнули кобуру, стиснули рукоятку пистолета. С выкаченными глазами Костя начал пятиться назад, хватался за стены траншеи.

Кто-то положил сзади ему руку на плечо. Оленев замер, втянул голову в плечи. В деревне выла собака.

Но рука капитана остановилась, опустила пистолет назад в кобуру. Сквозь сжатые челюсти он выговорил с трудом:

— Ну ладно, пусть по закону тебя... Старшина, отведешь его в штаб.

...Начало рассветать, когда я повел Костю. Он шел в двух шагах впереди. Часто снимал очки, горбился. На шоссе вышли. Поднималось солнце, две наши тени пересекли дорогу. На траве светилась роса, шаги наши глухо раздавались в тихом воздухе. Костя высоко поднимал ноги, будто боялся спотыкнуться и упасть. На спине и локтях у него засохла глина. Вдруг он повернулся ко мне, спросил:

— Старшина... Андрей... Меня расстреляют?

Я молчал. Лицо его было совсем изменившееся, длинное, с беспокойными глазами. Не узнавал я этого лица... Дрожали бледные губы.

— Не хочешь говорить? Андрей, ты-то за что?

Я молчал. Нет, другой человек был это. Такого я не знал. Я смотрел ему в спину. Она дрожала мелкой дрожью. Как же получилось так, что не знал я человека, с которым... с которым ел из одного котелка?

А он будто мысли узнал, заговорил:

— Андрей, вспомни, друзья мы с тобой. Вспомни это.

Остановился, посмотрел мне в глаза.

— Андрей, отпусти. В другой полк уйду. Слово даю. Смою позор. Кровью своей смою.

— Уйди, Оленев! Поздно разговоры вести. Поздно!

На лбу его собрались морщины, на глазах за очками сверкнули слезы и потекли по щекам, на лице остались грязные полосы.

— Андрей, прости. Бей меня, ругай, сапогами топчи, только отпусти. Ведь все равно тех не воскресишь. Все равно — мертвые. А я жить буду. Ты ничего не потеряешь. Скажешь, убежал я...

Он протягивал ко мне руки, хватал за автомат.

— Прочь руки! — крикнул я.

Он испуганно отскочил, пошел пятясь. На лице кривая улыбка, будто затаил что про себя. Насторожился я: что задумал? Он повернулся и сразу пошел быстрее. Я надбавил шаг, но он еще больше заторопился и вдруг побежал. Бежал сначала тихо, оглядывался на меня, и все та же кривая улыбка застыла на губах. И вдруг — рванулся вперед так, что гимнастерка на спине раздулась.

— Стой, стой, Оленев! — крикнул я.

Но он уже не оглядывался, бежал быстрее.

— Не беги, стой! — крикнул я еще раз. — Остановись!

Но он все бежал и бежал по дороге, не слушая моих слов...

...Через день мы ехали на другое место. Дело было под вечер. Наша колонна шла по той же дороге, по какой я вел Оленева в штаб. Его тело лежало на обочине, так же как и в то утро, когда он упал, подогнув под себя левую руку, лицом на асфальт. Мы ехали на рысях, молчали, казаки коротко оглядывались, потом пришпоривали коней, и пыль взвивалась из-под копыт, падала на спину, на посеревшее лицо, на шею Оленева...

В следующем номере «Сибирских огней» читайте воспоминания о Владимире Сапожникове новосибирского писателя Юрия Чернова.



Пётр ДЕДОВ

СПОЛОХИ*

Из записных книжек и дневников

* * *

Много на снегу сосновой шкурки, напоминающей луковую шелуху. Такая шкурка на сосне при ветре поет со звоном, пронзительно.

* * *

Нарушившие гармонию в природе, — как мы можем создать ее в обществе, даже в своей душе? Или все получилось у нас наоборот — нарушили естественное развитие общества — и пошли куролесить в природе? А природа не простит...

Октябрь 1989 г., Голицыно (Подмосковье)

* * *

И что только не меняли в сельском хозяйстве, чтобы улучшить его! Каждый правитель перестраивал по-своему. А главной сути не знали...

Хоть как меняй крону, но если корни остались, от них пойдут новые побеги.

* * *

Берестяные грамоты: тут проявилась не только красота, но и вечность, великая культурная миссия русской березы...

Снегири

В пригороде Москвы однажды я наблюдал интересную картину. На невысоком тополе, что стоял у входа в закусочную, сидело с десяток снегирей. Издали казалось, что на голых сучьях тополя вызрели яблоки. У дерева толпился народ. Когда я подошел ближе, то увидел, что какой-то парень пытался поймать снегиря длинным прутиком, на конце которого сделана петля из нитки. Дело это было трудное. Снегири вели себя спокойно, они доверчиво и с удивлением поглядывали на толпу, склонив головки набок. Но когда петля приближалась к кому-нибудь из них, он вспархивал и перелетал на другую ветку. Собралась порядочная толпа, «болельщики» со всех сторон подбадривали парня, давали ему бестолковые советы. Парень горячился, и оттого у него получалось еще хуже.

* Продолжение. Начало см. «Сибирские огни», 2015, № 3, № 4.

— Не поймай тебе ни одного до самого морковкина заговения, — кричали из толпы.

— А вот и поймаю! — в азарте взвизгнул парень и, взмахнув прутиком, ударил одного снегиря.

Он слетел вниз и судорожно забился на истоптанном снегу. Остальные птички шумно вспорхнули и улетели.

Толпа притихла. Из нее вышел пожилой мужчина, наклонился и взял снегиря в большую темную ладонь. Он сунул себе в рот птичий клювик, чтобы напоить снегиря теплой слюной. Но птичка была уже мертва.

— Сволочь, — бросил мужчина растерянному парню в лицо и, не оглядываясь, пошел прочь.

За ним молча двинулись остальные. Один парень остался стоять на месте в решительности, переминаясь с ноги на ногу.

На Севере дальнем

В одной районной газете Обского Севера прочитал заметку о том, какими быстрыми темпами ведется наступление человека на тайгу. Автор, захлебываясь от восторга, описывает, как могучие сосны и кедр, «похожие на былинных богатырей в могучих латах», с грохотом рушатся под ноги крохотному существу — человеку, вооруженному современной электропилой, как «с воем отступают все дальше вглубь тайги немногочисленные уже медведи». И подумалось: не восторгаться бы тут надо, а тоскливо завывать вместе с медведями в страхе перед грядущим, которое ожидает и зверя, и человека.

2 октября 1973 года

* * *

Людей надо учить добру, а зло — оно само почему-то рождается. Это — как в огороде: нужную овощь лелеять надо, а сорняк никто не сеет, не поливает, он сам прет, только полоть успевай...

* * *

Березовый сок хранит в себе запах снега, но и нежнейший аромат первого клейкого листа чувствуется в нем...

* * *

О соловьях: «В действительности же только самец поет, и значение его пения — предупреждение, угроза другим самцам, которые могут вторгнуться на территорию певца» (К. Лоренц).

Вот так лирика! Брань — за песнь любви принимаем... Но и самку одновременно приманивает.

* * *

Май, июнь, июль. Ни одного дождя. Все посохло — травы, ягоды, листья. А в конце августа ударили дожди. Начало сентября: трава поперла молодая, как в мае, у меня в огороде зацвели тыква, картошка, подсолнухи,

горох, а бор отплатил за все грибами: белые в обхват — за забором, на дорогах... Маслята заляпали поляны, как стадо коров паслось: ступить негде — поскользнешься, как на шевяхах; опята на таких толстых ножках, как белые, без единой червоточинки. Особенно много мухоморов: в осинниках кажется издали, что низовое пламя ползет в папоротниках (так показалось однажды мне в сумерках).

* * *

Тоскует человек городской по природе, вот и тянет его на лоно. В городе земля — под толстым слоем асфальта да бетона, босой ногой не коснешься, чтобы силы, бодрости да свежести от нее набраться... Дворы — каменные колодцы, улицы — каменные ущелья. Ночью от электрического света звезд не видно...

* * *

Вторую ночь (по приезде на дачу) хорошо спится. Чувствую себя здоровее, увереннее. Мне кажется, один воздух здесь — лучшее лекарство. Господи, дай силы. Все чаще поминаю Бога. Но не могу (как наши правители, ради «единения с народом») взять в руки свечку и встать на колени в соборе.

Морозы — ночью за тридцать, днем около двадцати. На окнах узоры, какие-то тропические растения. Почему такое? Чтобы, как во сне, напомнить, что есть на свете жаркие страны?..

17 февраля 1996 г., Ерестная

* * *

17 октября как навалил снег, так и не растаял. Все минус, а ночами до минус шестнадцати было.

От резкой ли перемены в погоде — заболел, все эти дни болит голова, кашель — простуда... Не могу работать...

Вот и первый снег — как я радовался ему всегда, особенно в детстве, а сейчас серо и скучно на душе... Все? Израсходовал лимит радости и вдохновения?

24 октября 2000 г., Ерестная

* * *

Ходишь вот так по земле, наблюдаешь, интересное откладывается в памяти, и образуется потом что-то наподобие коллекции из этих «узелков на память» (только, упаси бог, не таких страшных «узелков», как на той березе).

Вот еще припомнилось — раз уж речь зашла о березах. Третишним летом на даче, в одну из душных июльских ночей, разыгралась сильная гроза. То есть не то слово — сильная, а редкостная, такой больше я и не видывал. Среди ночи вдруг тряхануло, да так, что на столе опрокинулась и грохнулась на пол банка с цветами.

Я вскочил с постели как ошпаренный, спросонья ничего не мог понять, и в это мгновенье шарахнул такой мощный гром, что почудилось — избенка моя разлетелась на щепки, в окна хлестануло дождевым потоком,

и, озаренные пронзительным светом молнии, дождевые струи почудились диким пламенем, объявившим весь мир...

Гроза ушла, умчалась так же быстро, как налетела. Я вышел на крыльцо — далеко в непроглядной ночи слышалось утробное рокотание, да частые всполохи высверкивали в той стороне...

А утром в трехстах метрах от своей дачной избы я увидел страшную картину. Там, на опушке леса, стояла огромная, почти в два обхвата, береза, самая высокая и пышная из всех. Она так разрослась на просторе, что летом напоминала непомерной величины зеленый шар, в тени которого могло свободно укрыться от солнца все наше деревенское стадо.

Так вот, эта красавица, — я не поверил своим глазам, — стояла совершенно голая! Вернее даже сказать — нагая. С ее ветвей не только сорвало листья, но и напрочь снесло кору со ствола! Ствол от корня до вершины сиял ослепительной желтизной, словно колонна из драгоценной слоновой кости, и лишь кое-где у основания сучьев убогими лохмотьями висело рваное корье с туго скрученной, как от сильного жара, берестой. Вся же остальная кора, как ниспавшее пышное платье, лежала у подножия дерева.

Я пригляделся: вдоль всего ствола снизу доверху шли тонкие трещины, уже заплывшие янтарным соком. Трещины были не прямые, а спиральные. Значит, какая-то неведомая сила крутанула березовый ствол, наподобие того, как, отжимая, скручивают тряпку.

Это и было простой разгадкой — отчего с вековой березы отстала и осыпалась кора. Но какой же неземной, сатанинской мощью должен был обладать этот завихрившийся воронкой смерч, чтобы жгутом скрутить вековое дерево?..

* * *

Вчера уже ночью пролетали над нами дикие гуси. И боже мой, как всполошилась деревня! Услышав в небе тревожный гогот невидимых птиц, вдруг истошно заорали домашние гуси, их крик подхватили собаки, взлаивая надрывно, с подвывом, и даже домашний скот не остался в стороне: замычали коровы, заблеяли овцы, дурным голосом взревел чертоломный лариковский бык, и ни с того ни с сего, уже на насесте, закукарекал соседский петух.

Пролетели гуси — и снова все стихло. Только домашние их сородичи долго еще не могли успокоиться: тревожно погагакивали, взмахивали крыльями, как будто готовые сорваться в полет.

А я долго сидел перед окном в темноте и все думал: что же это было? Что переположило всю нашу живность? Или уж совсем в диковину стали пролеты диких гусей, или что-то вроде зависти к вольной жизни инстинктивно шевельнулось в ожиревших от хозяйского хлеба рабских сердцах домашних животных?..

* * *

Помню, помню мамино: «Не жить тебе, сын, домком». Не раз это было сказано мне в детстве и не два.

И вот теперь я догадываюсь: мама как-то предвидела, что не останусь я в крестьянстве. Нет у меня этой хватки, этой доброй жадности, хотя работать я любил всегда и любая крестьянская работа давалась мне легко.

* * *

Это еще в стародавние времена дело было, когда Хрущёв выкинул лозунг: «Догнать и перегнать Америку!» Читал в нашем колхозном клубе лекцию лектор, а и не такой, как все они, что уткнется, как дятел, в бумагу и долбит. Нет, этот весельчаком оказался. Нет-нет да и оторвется от своих бумаг, пошутит с публикой.

— Ты, дед, как, веришь, что мы догоним и перегоним Америку? — спрашивает у дедка, что по причине своей глухости поближе к трибуне сиделся.

— Как не верить, — отвечает дедок, — коль начальство решило.

— Ну, начальство начальством, а сам-то ты как?

— Сам-то? А сам-то я кумекаю так: догнать Америку, конечно, можно, а вот перегнать — не след.

— Это почему же?

— Дак а штобы задницу голую американцам не казать.

Известно, что анекдоты недолговечны, они живут, пока существует породившая их причина. Этот анекдот я слышал еще в детстве, он родился еще при Сталине, а может, и раньше. И при всех вождях его рассказывали как свежий — до недавнего времени. Сейчас много болтовни и похвальбы, но, слава богу, хоть хватает пока ума воздерживаться от призывов догнать и перегнать Америку...

Лесные тропы

Трудно ходить зверям по мягкому и глубокому снегу. Вот они и пользуются услугами друг друга. Первым пробурил целую траншею огромный лось. По его следу поторопились зайцы, потом и белки пошли по готовой дороге...

С гнездами тоже так бывает: выдолбит себе дупло дятел, потом бросит почему-то. Дупло белка займет. А не поглянется, уйдет — тут уж лесные птицы за дупло в драку.

Так и живет лесной народец, вольно или невольно помогая друг другу.

Март 1985 г.

* * *

Лето и осень были дождливые, почти без солнечных дней. В огороде погнили от сырости картошка, морковка, лук, даже шляпки подсолнухов.

Зато невиданное количество было рыжиков! Рыжик пер весь август и сентябрь. Позавчера я пошел в лес и нашел много прекрасных рыжиков и пригоршню опять. Рыжики росли прямо за забором. А с питомника таскали их десятками и сотнями корзин...

Сегодня — мелкий и нудный дождик. Березы почти опали, а трава — густая и совершенно зеленая, сочная, какой не бывает и в конце мая.

Октябрь 1985 г., Ерестная

* * *

Осень повторяется какой уже раз, но не надоедает, всегда новая, буд-то самая-самая первая... Все повторяющееся надоедает, но только не в природе: здесь все каждый раз неповторимо, как первая любовь.

О религии

Сегодня день Рождества Христова, объявлен Верховным Советом РСФСР — выходным. Как бы обрадовалась моя бабушка Федора Арсентьевна! Помню с детства, как в доме у нас относились к религии. Бог всегда таинственно присутствовал в нашей семье. Помню, я заболел в детстве — и как молился Богу, просил!.. Это было — молчаливая вера в Бога, как и вера в прежнюю хорошую жизнь, эта вера всегда жила неколебимо и уж потом стала в нас выветриваться.

* * *

Помню, как разоряли нашу церковь в Новоключах, из подвала таскали какие-то книги: большие, в темных и будто деревянных «корках». Особенно много было денег — металлических и бумажных...

* * *

Теперь я наконец могу приняться за книгу, о которой мечтал много лет. Я так и определю ее жанр: «книга природы». Но имею ли я право писать эту книгу? Я ведь не ученый, не исследовал, не изучал... Для этого мно-ого надо знать... Но я люблю природу. Видел и слышал птиц, бродил по весенним буйным лесам, сидел с удочкой в туманной заре, у костра охотничьего... Разве этого мало? И разве не дает это мне право писать о природе — высказать о ней свое личное? А если личного будет недостаточно, придется обратиться к ученым трудам, другим книгам — очень много интересного в мире природы! А поскольку человек я щедрый, то и хочу поделиться своими радостями с читателями. Да и профессия у меня такая, обязывает.

Но откуда у меня любовь к природе? Родился в скудной степи. Но, может, это как раз и научило ценить каждую былинку, посвист сулика и крик перепелки?

Природа вошла в меня с малых лет, и не только ласковая да пригожая. Природа бывает и страшной... И дрогнет сердце, замрет душа перед таинственным и грозным ликом природы...

1984 г.

* * *

Вспоминается осенний вечер, ясный и холодный, с розовыми перьями облаков на закатной стороне.

Мы, деревенские мальчишки, гоним в ночное коней. Табун идет на рысях, мы сидим без седел, охлюпкой, при каждом толчке больно ощущая деревянно-жесткий лошадиный хребет. Кажется, все гудит от топота копыт, и розоватая пыль клубится над пожухлой травой, и резко пахнет польнью, лошадиным потом, этой тонкой солонцовой пылью...



* * *

Как скромны, незатейливы и чисты русские кружева... В них — девственная, снежная чистота, печаль заснеженных полей. А и расшитое полотенце попадется, так и то: крестики, петушки, цветочки...

Такие мысли приходят в голову, когда гляжу на осенние предгорья Алатау, холмы которых ярко пестреют алыми, желтыми, зелеными лоскутами, и все это на фоне серых гор, вершины которых белеют ледниками.

Вот они откуда — причудливые узоры восточных ковров. Видимо, человеку тоже в какой-то степени присуща мимикрия — одеваться и даже убирать свое жилище под цвет окружающей среды...

9.09.84 г., Алма-Ата

* * *

Ах ты, зимушка-зима,
 Ты студеною была...

В этой народной песне — весь русский человек: обласкано каждое словечко. «Зимушка-зима»: чувствуется восторженное отношение к ней, несмотря и на то, что «студеною была». А уж что такое «студеная» — нам, сибирякам, пожалуй, известно как никому на свете.

Январь (от латинского «*януариус*») назван так римлянами в честь бога Януса. Древнеславянское название января — «*просинец*» (от слова «*просинь*» — прояснение после декабрьских пасмурных дней).

А белорусы зовут январь «*студень*». Пожалуй, такое название больше подходило бы у нас в Сибири. В этом месяце земля получает наименьшее количество тепла. Да и то больше половины лучистой энергии отражается снежным покровом.

Это только в конце месяца начнут появляться в хмуром небе голубые проталинки. А характерными являются свинцовые, скупые на солнце дни. Не успеет пробиться сквозь туманную изморозь бледная утренняя заря, как день уже тускнеет, по снегу растекается синева и царствующая в эту пору ночь на добрых шестнадцать часов накрывает землю.

Январь — вершина зимы, самая суровая и глухая ее пора. Случается, морозы переваливают за сорок градусов, и тогда воздух словно стекленеет, в природе — глухо и пустынно, будто вымерло все живое. Белое безмолвие разлилось по степи. Настороженная тишина царствует в лесу.

Но так только кажется неопытному человеку; и в любую стужу живет на земле все живое. Даже короткая лыжная прогулка, например по зимнему лесу, убедит вас в этом. Прислушайтесь: что за хрустальный звон раздастся в заснеженной чащобе? Это «тенькают» неутомимые синицы, перепархивая с ветки на ветку, осыпая иней, который радужно искрится и переливается на солнце.

А вот на поляне белым взрывом застыл разлапистый куст черемухи. Ветви его так обросли куржаком, что куст напоминает цветущую яблоню. А вот и яблоки вызрели, как в сказке, прямо на глазах! Это тихонько опустились на куст стайки красногрудых снегирей.

Зимой синицы и снегири остаются верными суровому сибирскому лесу. Они держатся небольшими стайками в мелколесье или в зарослях речной уремы. Нелегко приходится лесным птицам. Дятлы прячутся от бурь в своих дуплах или в густых кронах елей, лесные куры — глухари, тетерева, рябчики, куропатки — ночуют в снежных норах.

Многие птицы в сильные холода жмутся поближе к человеческому жилью. На нашей городской шумной улице есть еще частные домики с крохотными палисадниками, где с осени остались на деревьях красные яблочки-дички. И в тихие ранние утра здесь можно увидеть необычайно красивых птиц винно-бурой окраски, с длинными хохолками на головках. Это лесные птицы — свистели.

Обратите внимание на примелькавшихся вездесущих воробьев. Пожалуй, в сильные морозы и не сразу узнаете. Примете за скворцов. Дело в том, что воробьи греются в печных трубах — вот и пачкают сажей свои серые армячишки.

* * *

Радость жизни — в ее неповторимом разнообразии. Наверное, надо иметь привычку от рождения, чтобы жить в краю вечного лета или, наоборот, чтобы не затосковать сердцем в царстве вечной зимы, скажем где-нибудь за Полярным кругом. Зимой мы с таким же нетерпением ждем лета, как и летом печалимся о первом снеге, с его целомудренной чистотой, обновляющей своею свежестью наши чувства и мысли.

Нет, что ни говорите, а зима для русского человека не менее поэтична, чем любое время года. Сколько прекрасных сказаний, песен, стихов посвящено у нашего народа «госте зиме», сколько обычаев и ритуальных праздников с нею связано! Только одни имена и названия: Снегурочка, лесной царь Берендей, Масленица — вызывают у нас светлые чувства.

Я уверен, что все люди от рождения поэты. Одни в большей, другие в меньшей степени! Но поэзия умирает в душе, если человек перестает общаться с природой — началом начал своего бытия и всего прекрасного на земле...

Но не забывайте, что мы с вами в лесу на лыжной прогулке. Из редкого березняка вилючая лыжня убегает в зеленый омут соснового бора. Здесь тихо, чисто и даже торжественно, как в прибранной к празднику квартире. В синих просветах меж сучьев сверкают падающие снежинки. Поражает многообразие их форм. Еще никто в мире не сумел зафиксировать всех очертаний этих «небесных звездочек». В сильные морозы можно услышать тихий шелест, с каким опускаются на землю снежинки. В народе это зовется «шорохом звезд».

* * *

Видно, я всегда останусь деревенским... Вчера после долгих дней засухи прошел сильный ливень, и я ему рад и весь день сегодня был счастливым. Интересно, какие сейчас зеленя? Это — в крови.

* * *

Бесперывные дожди все время шли, было тепло, а сегодня встали — на дворе снег, снежные хлопья кружат и кружат, а заморозков еще не было, поэтому трава, кустарники — все зелено, березы зелены еще наполовину, но под тяжестью липкого снега листва стала падать...

Красивое зрелище: белая земля, белесое небо и на этом фоне — золотые березы с мокрой, сияющей листвой, кажущиеся особенно рельефными, будто вырезанными в пространство...

Снег прекратился. Мокрая трава кажется удивительно зеленой, а березы в пасмурной мгле — прямо горят яркой желтизной.

3 октября 1987 г., Ерестная

* * *

Когда живешь долго в лесу, по-звериному обостряется чутье. Иду сейчас берегом — вдруг нанесло в темноте табачным дымом. Прислушался: далеко под обрывом невнятный шум — видимо, браконьеры занимают сетями...

* * *

На берегу светлее — от воды, которая вобрала в себя весь свет, какой остался на земле и в небе.

* * *

Выпал первый иней. Солнечное утро. Боязливый, тревожный рев коров. Березовые дымы. Вечное, древнее... Лужицы с золотыми пятками листьев. Зеленая, ярчайшая трава...

Как я жалею, что не живописец! Я бы изобразил не только эти золотые березы, но и то, как холодно, зябко, и тревогу боящейся инея коровы, идущей из теплого хлева, и запах дыма, спиртовой запах листьев...

4.10.1987 г.

* * *

Первый в этом году зазимок, но листва еще на березах держится, желто кругом. Только что пришел с берега, нарезал сухих груздей, рыжиков, маслят, опят, даже боровик один нашел. На берегу полосой метров в сорок свалили березы: море наступает неумолимо на берега. Лежат золотые, а стволы такие белые, что больно смотреть. Грустно...

(Окончание следует.)

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

НАРОДНЫЕ МЕМУАРЫ

Александр ТРИФОНОВ

ОСЕНЬЮ 41-го

Главы из воспоминаний

Это уже не учения...

Наступила суббота 21 июня 1941 года. Накануне наш крейсер «Червона Украина», на котором я командовал БЧ-5*, вернулся с учения и встал на бочки около Северной стороны между Инженерной пристанью и Куриной балкой. Кораблям боевого ядра было приказано иметь готовность номер два, поэтому произвели прием израсходованных запасов: приняли топливо, воду, боезапас и продовольствие. Днем на корабле — большая приборка, а вечером разрешено было провести увольнение. Я решил отпустить своего заместителя Адельфинского, а сам думал уволиться в воскресенье сразу после обеда, чтобы побыть с семьей днем и вечером. Но мой расчет не оправдался. Ночью началась война, и мне удалось встретиться с семьей только через два месяца, и не в Севастополе, а в Новороссийске.

Около двух часов ночи на корабле объявили боевую тревогу. После приведения механизмов в состояние боевой готовности я вышел на верхнюю палубу посмотреть, как разворачивается учение. Я был уверен, что это внезапные учения флота по вводным проверяющих из Москвы.

Корабли и город были хорошо затемнены. В темном небе сверкали звезды. Теплая июньская ночь благоухала над Севастополем. Но вот ночная тьма прорезалась огненными лучами прожекторов и в их лучах появились неизвестные самолеты. Я в силуэтах самолетов не разобрался и решил, что это наши самолеты, имитирующие противника. Часть береговых зенитных батарей открыла огонь по обнаруженным воздушным целям. Одним из первых открыл огонь и наш корабль. Вдруг на небольшой высоте над фарватером на выходе из Северной бухты прожекторы осветили несколько зеленых парашютов, опускавшихся в море. При этом я обратил внимание на то, что створные огни на Инкермане горят ярким светом. Через несколько минут один за другим раздалось два мощных взрыва, один — в районе Артиллерийской бухты, а второй — около памятника затопленным кораблям. При взрывах взметнулись высокие огненные столбы. В сознании мелькнуло, что это не учение, а война.

* БЧ-5 — боевая часть, как правило, самая многочисленная в составе экипажа корабля, которая обслуживала двигательные и силовые установки, а также средства борьбы за живучесть корабля.

Налет длился меньше часа. Небо на востоке уже посветлело, когда объявили отбой тревоги. В эту тревожную ночь мне запомнился следующий момент. При возвращении с берега по большому сбору один из офицеров штаба бригады, прибыв с Графской пристани на штабном катере, передал мне осколок с рваными кромками, который он подобрал еще теплым, и просил меня посмотреть, что это за металл. Я взял этот осколок (примерно в палец длиной) и пошел в каюту для проверки. Осколок был заметно легче железного, имел крупнозернистый излом и был белого цвета, походил на алюминий. Попробовал его магнитом, и оказалось, что магнит на него не действует. Неужели, думаю, у немцев уже нет железа на бомбы и они делают их из алюминия? Но потом выяснилось, что немецкие самолеты на парашютах бросали не бомбы, а магнитные мины с целью заблокировать корабли флота в севастопольских бухтах.

Утром из штаба флота сообщили, что на нашу Родину напала фашистская Германия. Страна еще об этом не знала, и в утренней радиопередаче играла музыка, передавались обычные новости.

Через несколько часов мы уже получили первое боевое задание. Нам было приказано совместно с крейсером «Красный Кавказ» произвести постановку мин в районе Севастополя. Днем приняли 90 штук мин и ночью вышли на задание. Операцией руководил командир бригады капитан 1 ранга Горшков. Постановка мин прошла успешно, и мы без помех вернулись на базу. Днем снова производили приемку мин, а ночью вместе с крейсером «Красный Кавказ» снова их устанавливали.

Возвращались на базу около 12 часов. При подходе к Севастополю, примерно на траверсе Стрелецкой бухты, я вышел на ют посмотреть, как мы будем входить в бухту. В кильватер нашему кораблю шел крейсер «Красный Кавказ». В это время из боковых ворот вышел буксир, который буксировал 25-тонный плавучий кран. Буксир с краном повернул к Карантинной бухте, уступая нам дорогу. В этот момент я увидел около буксира высокий столб воды и пламени. Потом раздался сильный взрыв. Наш корабль ощутил толчок, как от большой глубинной бомбы. Плавкран на наших глазах опрокинулся и затонул. Буксир же с креном на левый борт ходил вокруг тонущего плавкрана и подбирал людей из воды. Крейсера застопорили ход, но потом медленно вошли в Северную бухту и встали на свои бочки.

Это уже вторая жертва на фарватере. Накануне на этом же месте подорвался и затонул буксир. Видимо, эти взрывы произошли на минах, которые поставили немецкие самолеты в первую ночь войны. Мы знали, что фарватер был тщательно протрален, но... мины взрывались.

Через несколько дней мы стали свидетелями новой трагедии. Выходящий с базы эсминец «Быстрый» подорвался в непосредственной близости от боковых ворот. В это время на нашем корабле проводились занятия по специальности. Я с офицерами БЧ-5 занимался на кормовой надстройке, и мы видели, как эсминец выходил из Южной бухты, прошел боковые ворота... И вдруг скрылся в высоком столбе водяного фонтана. Затем мы услышали сильный взрыв, эсминец свернул вправо и сел на мель. На корабле появилось пламя и черные клубы дыма. Это загорелся мазут из действующих кочегарок. С нашего корабля к месту взрыва отправились два баркаса, которые через некоторое время прошли мимо нас с ранеными моряками, следуя в госпиталь.

Пожар в котельных помещениях эсминца «Быстрый» длился долго. Предусмотренные штатные средства для тушения пожаров в котельных отделениях оказались неэффективными. Была сделана попытка тушить пожар при помощи углекислоты. На шкиперском складе баллонов с углекислотой оказалось недостаточно, потребовалось собирать баллоны по городу — из ларьков, торгующих газированной водой. При помощи углекислоты пожар был ликвидирован (он длился пять часов).

Из этого случая флагманские механики и работники технического отдела сделали правильный вывод о необходимости обеспечить корабли углекислотными установками для тушения пожаров в котельных отделениях, что и было сделано. Оперативно разработали инструкции по их применению, провели тренировки.

Флотские минеры старались разгадать особенности немецких мин. Им удалось обнаружить и поднять одну из мин на поверхность. С величайшей осторожностью специалисты сумели нейтрализовать мину и изучить ее устройство. Это оказалась донная неконтактная магнитная мина. Она взрывалась под воздействием магнитного поля, образованного корпусом проходящего над ней корабля. Мина имела так называемый механизм кратности. Тральщики и другие корабли могли проходить над ней несколько раз без всяких последствий, а взрывалась она в самый неожиданный момент, когда срабатывал прибор кратности.

Из Ленинграда в Севастополь прибыла группа сотрудников научно-исследовательского института для изучения магнитных мин и разработки мероприятий по борьбе с минной опасностью. В составе этой группы были будущие академики А. П. Александров (позже он стал президентом АН СССР) и И. В. Курчатов.

Мне запомнилось занятие, которое проводилось под руководством флагманского механика штаба флота. На этом занятии лекцию нам прочитал И. В. Курчатов. Он очень подробно и понятным языком рассказал о магнитном поле корабля и принципах действия немецких магнитных мин. Рассказал также о способах борьбы с магнитными минами и намеченных мероприятиях, которые будут проводиться на флоте в связи с усилившимися налетами на город немецкой авиации.

По решению командования бригады крейсеров и эсминцев проекта 7-У перебазировались в Новороссийск. В ночь на 5 июля крейсера «Червона Украина» и «Красный Кавказ» в охранении эсминцев «Смышленный», «Сообразительный» и «Способный» вышли из Севастополя и прибыли в новороссийский порт.

В Новороссийске воздушные налеты были редкими, поэтому почти каждый день мы проводили частные или общекорабельные учения, а в промежутках между ними отрабатывали первичные мероприятия по борьбе за живучесть корабля и его технических средств. Большое внимание уделялось взаимозаменяемости. В частности, трюмные машинисты, стоящие на клапанах затопления, теперь могли обслуживать орудия, а специалисты БЧ-5 умели затапливать погреба боезапаса.

В период нашей стоянки в Новороссийске ко многим офицерам и сверхсрочникам приехали семьи. Приехала и моя супруга с двумя сыновьями. Кое-как разместились на частной квартире. Но увольнений с самого начала войны



еще не было. Командир бригады крейсеров Горшков принял решение разрешить увольнение офицеров и сверхсрочников, у которых прибыли жены, на два часа раз в неделю. Мне запомнились эти первые в военное время двухчасовые увольнения, когда каждая минута дорога.

При стоянке в Новороссийске лагом к Восточному молу мы при накате часто бортом касались мола, что могло привести к повреждению корпуса. Боцман нашего корабля мичман Суханов изготовил очень прочные и удобные деревянные кранцы. Командир крейсера «Красный Кавказ» завидовал нашим кранцам и собирался изготовить такие же для своего корабля.

Я упоминаю про эти кранцы потому, что через месяц они сыграют неприятную роль для крейсера «Красный Кавказ».

Бои за Одессу

Шел третий месяц войны... Пламя ее бушевало на огромной территории нашей Родины. С горечью мы слушали сводки Совинформбюро. Нам стало известно, что под Одессой идут тяжелые бои. Противник полностью блокировал ее с суши и атакует позиции защитников города.

28 августа 1941 года нашему крейсеру было приказано следовать в Одессу для участия в обороне города. На корабль были приняты части Кубанской дивизии, направленные в Одессу для пополнения Приморской армии. С наступлением темноты мы оттянулись от мола и стояли на якоре внутри бухты. Около 23 часов начался налет немецких самолетов на новороссийскую базу. Они сбрасывали магнитные мины на выходной фарватер. Сигнальщики нашего корабля видели, как над Восточным молом низко пролетел немецкий самолет и что-то сбросил на то место, где стоял наш корабль несколько часов тому назад.

Утром при выходе из бухты первым следовал транспорт. Отойдя около двух кабельтовых от мола, он, нагруженный войсками, подорвался на магнитной мине. Но так как глубина в этом месте была более 40 метров, то взрыв не принес критических разрушений, и транспорт вернулся на базу для ремонта. Фарватер несколько раз пробомбили глубинными бомбами, и наш корабль благополучно вышел из Новороссийска, взяв курс на Одессу. Проходя мимо Севастополя, мы приняли на борт заместителя народного комиссара Военно-морского флота вице-адмирала Г. И. Левченко, который следовал в Одессу как представитель Ставки.

К Одессе мы подходили рано утром. Я вышел на палубу посмотреть на осажденный город. Северо-восточная часть Одессы опоясывалась линией обороны, здесь во многих местах виднелись пожары. С обеих сторон видны были пунктиры трассирующих пуль, но выстрелов мы не слышали. В юго-западной части Одессы в районе Большого Фонтана линии фронта не было видно. Когда стали подходить ближе к городу, стали слышны взрывы снарядов или мин и треск автоматов.

Швартовались мы в гавани около холодильника под огнем немецких батарей. Снаряды взрывались по бортам, но командир умело маневрировал, и мы благополучно встали рядом с холодильником. Командир бригады и командир корабля отправились в штаб на базу. Там они получили указания, и мы приступили к выполнению боевого задания. Высадили корректирующий пост и вышли в море — в сектор, откуда должны были огнем своей артиллерии поддержи-

вать фланг армии и вести бой с береговой батареей противника. В этом районе действовала группа наших кораблей во главе с лидером «Ташкент», на котором находился командир отряда кораблей, действующих под Одессой, контр-адмирал Вдовиченко. В группу кораблей входили эсминцы «Смышленный», «Фрунзе», «Шаумян», потом к ним присоединились «Сообразительный», «Беспощадный», «Байкал», «Незаможник». Началась напряженная боевая работа, которая почти непрерывно длилась четыре дня и четыре ночи. В эти дни наши артиллеристы выпустили около 800 снарядов главного калибра и около 700 снарядов зенитных орудий. Огонь вели по скоплениям противника по целеуказанию Приморской армии или нашего корректировочного поста, а также вели огонь по береговым батареям противника, которые обстреливали порт. Авиация противника часто совершала налеты на наши корабли, и часто наши пушки одновременно вели огонь и по берегу, и по самолетам противника. Корабль сотрясался от залпов орудий и от взрывов бомб. Иногда снаряды береговой батареи противника накрывали наш корабль, но прямого попадания не было. На ночь мы обычно отходили в район Большого Фонтана, с рассветом снова выходили в свой сектор и вели огонь по противнику.

Но как-то в один из дней самолеты противника поразили один из лучших наших кораблей — лидера «Ташкент». Дело было перед обедом. Корабли отошли мористей, за пределы досягаемости береговых батарей противника. Наш крейсер «Червона Украина» и лидер «Ташкент» шли малым ходом на параллельных курсах. Сигнальщики обоих кораблей усиленно обменивались семафорами. Мы — группа офицеров — стояли на юте и разговаривали об утренних боевых событиях. Вдруг около кормы «Ташкента» поднялись высокие столбы брызг и раздались глухие взрывы бомб. В небе самолетов не было видно. Лидер «Ташкент» сразу дал полный ход и начал описывать окружность с небольшим креном на левый борт. Сыграли боевую тревогу, но противника не обнаружили. Оказывается, самолеты противника на большой высоте подошли к кораблям со стороны солнца и после бомбежки снова скрылись в сторону солнца. Лидер «Ташкент» получил пробоину в кормовой части с левого борта. У него заклинило руль и левый гребной вал. Вечером «Ташкент» ушел в Севастополь для ремонта.

Из этого случая были сделаны выводы. Обычно наблюдатели за воздухом следили по секторам от горизонта до 50 градусов вверх в каждом секторе. А в зенит наблюдателей не было. Пришлось организовать такую вахту. Наблюдатель ложился на палубу, надевал черные очки и смотрел в зенит. Моряки любили эту вахту, потому что лежать легче, чем стоять.

Кроме того, было решено, что опасно лежать в дрейфе или ходить малыми ходами. Попасть бомбами в перемещающийся корабль труднее.

Правда, выросал расход топлива, а за этим мы следили очень внимательно. Я ежедневно докладывал командиру корабля о расходе топлива и воды и об оставшихся запасах. Однажды, когда я делал такой доклад командиру на мостике, меня подозвал командир бригады Горшков и потребовал доложить ему об оставшихся запасах топлива и о расчете топлива на переход в Севастополь. На мой доклад комбриг сделал существенное замечание. Он сказал, что на переходе, возможно, потребуется временами давать полные хода, я же по неопытности все рассчитал на экономичном ходу. Конкретно он предложил иметь резерв топлива минимум 30 тонн.

Перед переходом в Севастополь мы зашли в одесский порт, где приняли большое количество винтовочных патронов, 50 тонн муки, золото в слитках и другие ценности из одесского банка, а также около 100 раненых и более 100 эвакуированных из гражданского населения. Из Одессы вышли рано утром. На переходе мы несколько раз подвергались налетам авиации, и вот тут пришлось неоднократно давать полный ход. Резерв топлива, что предложил оставить командир бригады, израсходовали полностью. При подходе к Севастополю у нас запас топлива был близкий к нулю. Положение усложнилось тем, что нас в бухту не пустили, так как ночью был налет самолетов противника, которые бросили мины на фарватер. Мы стояли на рейде. Подать топливо баржами на рейд нам отказались из-за большого наката. Положение оказалось настолько трудным, что пришлось выбирать ведрами «мертвый» запас топлива из некоторых цистерн. Хорошо, что фарватер быстро пробомбили глубинными бомбами и нас пустили в Северную бухту, там уже ждала баржа с топливом.

Наш корабль недолго задержался на базе. Приняв топливо, воду и боезапас, мы снова вышли в море. Участвовали в переброске войск из Новороссийска в Одессу и еще в некоторых походах в район Одессы. В середине сентября наш корабль был поставлен к стене Севастопольского судоремонтного завода имени Орджоникидзе для оборудования противоминным размагничивающим устройством. Работы продолжались до конца сентября. В это время кораблями эскадры был высажен морской десант, это произошло в ночь на 22 сентября, в районе поселка Григорьевка. Этот десант со встречным наступлением защитников Одессы дал возможность ликвидировать береговые батареи противника и улучшить положение обороняющихся в восточном секторе Одессы. В этой десантной операции участвовали крейсера «Красный Кавказ» и «Красный Крым».

Когда крейсер «Красный Кавказ» вернулся в Севастополь, мы встретились с командиром БЧ-5 Купцом, который рассказал о десантной операции и о предшествовавших событиях. Трагическая история случилась из-за кранцев, оставленных нами в Новороссийске. Оказывается, как только стало известно, что мы не вернемся в Новороссийск, командир крейсера «Красный Кавказ» приказал своему помощнику старшему лейтенанту Сахарову забрать наши кранцы для своего корабля. Помощник командира, взяв с собой главного бодмана мичмана Полтавского и часть бодманской команды, отправился на катере «Кавказец» за нашими кранцами. Как только катер подошел к месту, где раньше стоял наш крейсер, раздался сильный взрыв. От катера и людей не осталось почти ничего. На второй день командир БЧ-5 Купец послал на баркасе водолазную группу обследовать дно в этом месте. Водолазы достали куски темно-зеленого шелкового парашюта, которые показали, что взорвалась немецкая магнитная мина. Я хорошо был знаком с моряками, которые погибли на катере, и хорошо знал катер «Кавказец», который был в моем заведовании, когда я служил на крейсере «Красный Кавказ», поэтому с большой грустью я выслушал этот рассказ.

В начале октября мы дважды ходили в район Тендровской косы для снятия войсковых частей, отрезанных противником с суши. Эти походы прошли успешно.

13 октября наш крейсер «Червона Украина» под флагом командующего эскадрой Владимирского вышел в Одессу для эвакуации оборонительного участка.

Для участия в эвакуации Одессы предназначались крейсера «Червона Украина», «Красный Кавказ», эсминцы «Бодрый», «Смышленный», «Незаможник», «Шаумян» и быстроходные тральщики «Искатель» и «Якорь».

Рано утром 14 октября показалась Одесса. Во многих местах виднелся дым пожарниц. Два дня, 14 и 15 октября, из порта постоянно уходил транспорт с войсками и техникой. Их конвоировали военные корабли. Мы стояли в районе Большого Фонтана и ожидали арьергард в полной боевой готовности к открытию огня при необходимости. В городе были слышны глухие взрывы. Это наши подрывники взрывали военные объекты. После полуночи к нам начали прибывать части, прикрывавшие отход наших войск. Около трех часов на корабль взошли командующий эскадрой Владимирский и командование Одесским оборонительным районом. Моряки крейсера «Червона Украина» с широким радушием встречали усталых защитников Одессы. Всего было принято 1164 человека. Перед рассветом к борту крейсера подошел тральщик «Искатель», и командир дивизиона тральщиков Леут доложил командующему эскадрой, что больше войск нет, погрузка завершена. Командующий эскадрой приказал сниматься с якоря и следовать в Севастополь. Это было 16 октября. Время было 5 часов 57 минут. Одесса пылала пожарами. Горели склады в порту, горели объекты, взорванные по плану отступления.

Мы догнали караван судов из транспортов, который медленно двигался с войсками и техникой Приморской армии. Только во второй половине дня немецкая авиация начала атаковать наш конвой. Но мы уже приблизились к берегам Крыма, и наши истребители вступили в бой с авиацией противника. Немецким самолетам удалось повредить только один транспорт, а наши истребители сбили 17 самолетов противника, и три самолета сбила корабельная артиллерия.

Приморская армия благополучно прибыла в Севастополь. Севастопольские бухты заполнились транспортом и кораблями. Полки и дивизии выгружались и двигались в район обороны Крыма.

После наш корабль еще раз побывал в районе Тендровской косы, откуда снимались последние воинские части.

Севастополь

31 октября 1941-го крейсер «Червона Украина» возвратился из похода на Тендровскую косу. При подходе к крымским берегам мы заметили в районе Евпатории и Саки большие столбы черного дыма от пожаров. Мы знали, что идут упорные бои в районе Перекопа и Ишуньских позиций. Мы предположили, что немцы ворвались в Крым. Крейсер вошел в Северную бухту и встал на свои штатные бочки. Командир крейсера капитан 1 ранга Басистый убыл в штаб флота с докладом о завершении боевого похода и для выяснения обстановки. По возвращении из штаба он собрал командиров боевых частей и сообщил, что немцы действительно ворвались в Крым и вечером флот покидает Севастополь, переходит для базирования на Кавказ. А нашему крейсеру «Червона Украина» приказано оставаться в Севастополе для встречи противника огнем артиллерии.

Наступил вечер 31 октября. При багровом закате солнца корабли эскадры выходили из Севастопольской бухты и следовали на Кавказское побережье. Мы с группой офицеров стояли на юте и с грустью в сердце, с тоскою во взоре провожали уходящие корабли.

В тот же вечер я собрал офицеров БЧ-5 и объяснил им обстановку, а также поставил задачи, которые предстояло выполнять в ближайшие дни и ночи. А обстановка около Севастополя была весьма напряженная. После прорыва фронта немецкие танковые и моторизированные части по степным просторам вышли на линию Евпатория — Саки — Бахчисарай. В это время наша 51-я армия отходила через Джанкой на Керчь, а Приморская армия отходила через Симферополь на Севастополь. В то время, когда немцы уже заняли Бахчисарай, Приморская армия находилась в районе Симферополя, она оказалась отрезанной от Севастополя и пробивалась к городу по дороге вдоль южного берега Крыма.

В Севастополе в это время оборону держали вновь организованные немногочисленные части морской пехоты и батареи береговой артиллерии. Для усиления огня береговых батарей и был выделен крейсер «Червона Украина». Наша артиллерия — пятнадцать 130-миллиметровых орудий и зенитное вооружение.

Для выполнения боевого задания крейсер «Червона Украина» был поставлен около торгового причала рядом с Графской пристанью с таким расчетом, чтобы можно было вести огонь всем правым бортом. Это место было удобно с точки зрения надежной телефонной связи с корабельными корректировщиками и штабом береговой обороны. Такая связь позволяла вести более точный огонь по противнику и оперативно решать все вопросы со штабом. Правда, при этом терялась возможность маневрирования кораблем. Однако командование в сложившейся обстановке отдало предпочтение точности и надежности огня, а не маневренности корабля.

Немецкие части, пользуясь своим превосходством в танках и авиации, пытались с ходу захватить Севастополь, пока Приморская армия с боями пробивалась по ялтинской дороге к Севастополю. В эти дни (начало ноября) на крейсер «Червона Украина» была возложена ответственная задача — огнем своих орудий помогать береговым батареям сдерживать и отражать натиск немецких частей. Корректировщики нашего корабля расположились в таких местах, откуда были хорошо видны попытки немцев атаковать наши передовые рубежи. Эти корректировщики были на прямой телефонной связи, поэтому залпы крейсера «Червона Украина» были меткими. Противник от нашего огня нес большие потери и не мог продвигаться вперед. Кроме нашего корабля вели огонь и береговые батареи, и некоторые корабли, которые временно заходили в бухты.

В это время Приморская армия со своими орудиями вышла к Севастополю и заняла оборонительные рубежи.

В ноябре у нас сменился командир: капитан 1 ранга Басистый убыл на Кавказ на новую должность, а на его место заступил капитан 2 ранга Заруба.

После неудавшихся попыток захватить Севастополь с ходу немецкое командование подтянуло свежие части, много танков и большое количество авиации, в том числе пикирующие бомбардировщики, снятые из Норвегии, и начало свое первое наступление на Севастополь. Это наступление длилось с 11 по 21 ноября 1941 года.

11 ноября для крейсера «Червона Украина» было особенно жарким. В этот день было выпущено около 600 снарядов главного калибра. Противник нес большие потери, его наступление застопорилось. Для подавления огневых

средств Севастополя противник бросил авиацию. Временами над городом находилось до сотни самолетов. 12 ноября наш корабль подвергся сосредоточенным комбинированным ударам с воздуха.

Было это перед обедом, примерно в 11.45. В кают-компании уже накрыли столы. У камбуза выстраивалась очередь бачковых. Вдруг раздался сигнал боевой тревоги. Вскоре сигнальщики доложили, что со стороны Исторического бульвара на корабль движется большая группа самолетов противника. Корабельная зенитная артиллерия открыла огонь. Напряжение боя нарастало. Мне с моего поста было слышно, как залпы зениток сливались со взрывами бомб, падающих около корабля. Вдруг крейсер содрогнулся, сильный глухой взрыв раздался в кормовой части корабля. Бомба примерно в 200 кг попала в кормовой торпедный аппарат левого борта и взорвалась на палубе. Торпеды были повреждены, но не взорвались. Сам торпедный аппарат был сорван и сброшен за борт. Торпеды не взорвались потому, что взрыватели были сняты командиром БЧ-3 и находились у него в каюте.

В районе взрыва образовалась рваная пробоина площадью около 20 квадратных метров и возник большой пожар. Горели разрушенная деревянная палуба, нефтеприемные шланги, устройства для чистки орудий — все это было залито бензином из двух бочек запасного топлива. Аварийные группы приступили к тушению пожара. На помощь подошел заводской буксир. От взрывов бомб около бортов почти половина зенитных орудий замолчала из-за повреждений, было много раненых среди моряков орудийных расчетов. Минут через 10—15 новая волна самолетов налетела со стороны Исторического бульвара. На этот раз в атаку шли пикирующие бомбардировщики с тяжелыми бомбами. Зенитный огонь нашего корабля уже был слабее. Самолеты заходили со стороны Павловского мыска и по очереди пикировали на корабль, сбрасывая бомбы, которые начали взрываться после того, как улетел последний самолет. Первая группа бомб взорвалась под носовой частью корабля. Носовые отсеки до 15-го шпангоута почти мгновенно затопило. Через несколько минут раздался сильнейший взрыв в средней части корабля — под моим постом живучести. Меня и всех остальных моряков, находившихся в районе поста, подбросило вверх до потолка. Корабль приподнялся, задрожал, покачался и лег на воду с креном около 3° на левый борт. Всюду погас свет. Когда я осветил пост ручным фонариком, то увидел, что все телефонные трубки выскочили из своих гнезд и болтаются на шнурах. Начали поступать доклады. Котельные отделения № 3, 4, 5 затоплены полностью. Часть личного состава вышла из отделений через экстренные выходы. Затоплены погреба № 7 и 8 по приказанию командира — во время пожара от первой бомбы в корме. Производится затопление погребов № 1, 2, 3, 4 также по приказанию командира корабля.

Я получил приказание лично осмотреть место повреждения корпуса корабля на верхней палубе в районе среза полубака. При осмотре я обнаружил на 49-м шпангоуте верхней палубы трещину сантиметров в 20, идущую поперек корабля от борта до борта. Наружная обшивка в этих местах по обоим бортам также имела разрывы шириной до 15 см. Где-то обшивка была разорвана по целому металлу, где-то — по стыкам листов. Носовая часть корабля от 49-го шпангоута уже просела с дифферентом на нос до трех метров. Кормовая часть корабля находится в горизонтальном положении с кре-



ном до 4° на левый борт. Я доложил командиру, что корпус корабля в районе 49-го шпангоута имеет перелом.

Примерно в 13 часов на корабль прибыл флагманский инженер-механик штаба флота инженер-капитан 2 ранга Красиков. Я доложил ему обстановку и попросил помочь водоотливными средствами, так как в районе перелома корабля все магистрали и системы повреждены и в носовой части вести борьбу с водой нет средств. Флагманский механик осмотрел район перелома корпуса корабля и ушел, пообещав прислать водолазный бот для осмотра подводной части корпуса в районе повреждений и спасательный буксир для осушения отсеков в носовой части корабля.

На всех постах велась энергичная борьба за живучесть корабля. Это была без преувеличения героическая борьба. Ни один человек не оставлял боевого поста, пока не использовал всех возможностей для сохранения боеспособности технических средств. Борьба велась с водой и огнем. Во втором котельном отделении работал дежурный котел. Топка была раскаленной, а в отделение начал поступать из поврежденных нефтяных цистерн мазут с водой. Пожар в котельном отделении казался неизбежным. А рядом — погреб с боезапасом. Я приказал приготовиться тушить пожар при помощи углекислоты по методике, которая была отработана на учениях, и одновременно поднимать пары в 6-м и 7-м котельных отделениях. Через несколько минут пожар во втором котельном отделении польхал уже в полную силу. Моряки этого отделения под руководством командира котельной группы инженер-лейтенанта Бендерского смелыми и быстрыми действиями при помощи углекислоты ликвидировали пожар.

Около 14 часов к правому борту подошел спасательный буксир «Меркурий» и водолазный бот для обследования подводной части корпуса корабля в местах повреждений. На спасательном буксире находился начальник ЭПРОНа* флота подполковник Шах. Водолазы начали работы по обследованию корпуса, а спасательный буксир начал подавать осушительные шланги во второе котельное отделение, которое к этому времени уже было затоплено полностью до ватерлинии. Только начали осушать котельное отделение — новый налет авиации противника. Бомбы падали по корме корабля, но прямых попаданий не было. По приказанию начальника ЭПРОНа спасательный буксир выбрал осушительные шланги и ушел от корабля, а водолазный бот продолжал работу, которую закончил в 15.30.

При осмотре было установлено, что в носовой части в районе 10-го шпангоута имеется пробоина площадью около 12 квадратных метров с переходом на левый борт. Носовая часть корабля до 30-го шпангоута лежит на грунте. В районе 49-го шпангоута трещина в корпусе идет в подводную часть до кия. Килевой стрингер перебит. В районе кия имеется пробоина площадью около 10 квадратных метров, переходящая на левый борт. Для обследования левого борта водолазный бот через корму перешел на левый борт. Только водолазы начали обследование левого борта — начался очередной налет. Бомбы падали около борта корабля. Водолазный бот прекратил обследование и ушел к себе на базу.

Около 16.00 командир корабля дал приказание: «Личному составу, кроме зенитного дивизиона и аварийных групп, сходить с корабля с вещами». Это

* ЭПРОН — экспедиция подводных работ особого назначения, впоследствии — аварийно-спасательная служба ВМФ.

приказание по кораблю передавалось дудкой, так как трансляция не работала. Я об этом приказании узнал от командира дивизиона движения инженер-капитан-лейтенанта Адельфинского, который запросил меня по телефону, как быть с личным составом. Я по телефону доложил командиру корабля о том, что на корабле для БЧ-5 нужно оставить весь офицерский и старшинский состав и 70 % рядового состава. Командир разрешил оставить на корабле личного состава БЧ-5 столько, сколько нужно. Я передал командирам дивизионов это решение, но часть личного состава уже сошла на берег, поэтому удалось оставить около 50 % рядового состава и всех офицеров и старшин, кроме убитых и раненых.

В 16.30 на корабль прибыла комиссия во главе с флагманским механиком и начальником ЭПРОНа. Комиссия ознакомилась с обстановкой и актом осмотра подводной части корпуса. У комиссии сложилось мнение, что поскольку носовая часть корабля лежит на грунте, то дальнейшее погружение ей не грозит. Кормовая же часть находится на плаву и имеет действующие водоотливные средства, которые справляются с откачкой воды. Следовательно, корабль в таком положении простоит до утра, а утром под носовую часть можно будет подвести понтоны и отбуксировать корабль в Северный док для ремонта. При этом я настойчиво просил подать какие-либо водоотливные средства для сохранения от затопления части носовых отсеков. Комиссия решила направить на корабль два автономных мотонасоса производительностью 300 тонн и 60 тонн в час.

Вода продолжала распространяться по кораблю, начал увеличиваться крен на левый борт. Для сохранения запаса плавучести командир дивизиона инженер-капитан-лейтенант Слон предложил осушить все затопленные погреба, так как угрозы взрыва в них нет. Я одобрил это предложение, и осушение погребов пошло полным ходом.

Попытка выравнивания крена путем затопления креновых отсеков правого борта и спуска котельной воды с бортовых цистерн левого борта ничего не дала. Крен на левый борт продолжал нарастать, видимо за счет снижения устойчивости корабля.

В 18 часов я собрал офицеров БЧ-5 и поставил перед ними задачу. Дежурным по БЧ-5 заступил командир машинной группы старший инженер-лейтенант Блюменберг. Каждый офицер получил четкие указания на предстоящую ночь. Свой пост я перенес в каюту, которая имела необходимое оборудование и связь и являлась запасным командным пунктом.

В 19 часов на корабль прибыли рабочие артиллерийских мастерских для снятия палубных орудий главного калибра. Они попросили у меня инструмент для отдачи болтов от фундаментов орудий. Судовая мастерская обеспечила их инструментом, и они начали работы у двух палубных орудий на полубаке. Однако работа двигалась медленно, так как болты подавались с большим трудом, кроме того, мешали крен корабля и отсутствие освещения. Примерно через час к правому борту подошли баржа и плавучий кран для снятия орудий. Но справиться с болтами и снять орудия не удалось.

Около 20 часов на корабль вернулась часть личного состава БЧ-2 для выгрузки боезапаса из погребов. Погреба в это время уже были осушены. Вручную начали разгрузку боеприпаса из погреба № 8. Дело шло медленно. Командир



электротехнического дивизиона старший техник-лейтенант Пухов при помощи боевых сростков сумел подать электропитание к элеваторам, и разгрузка пошла быстрее. Выгрузка снарядов происходила в трудных условиях. Моряки на руках носили снаряды по скользкой палубе в темноте и при крене. После разгрузки погреба № 8 начали разгрузку погреба № 7. В 21 час я послал командира дивизиона живучести в ЭПРОН за обещанными водоотливными насосами с указанием доложить, что крен корабля увеличивается. Командир дивизиона вернулся примерно через час и сообщил, что обещанных насосов не будет, так как они работают на поврежденном эсминце. Начальник ЭПРОНа обещал прислать спасательный буксир «Меркурий», как только он освободится от выполнения спецзадания. Этот буксир подошел к правому борту уже после ноля часов.

Осадка носом увеличивалась. Крен довольно быстро нарастал и доходил до 15°. Верхняя кромка палубы в районе 49-го шпангоута (место перелома) начала входить в воду, и вода по коммунальной палубе устремилась в носовые отсеки, которые пока еще не были затоплены.

К двум часам ночи верхняя кромка палубы левого шкафута начала входить в воду. Появилась угроза затопления кормовой части корабля через пробоину на верхней палубе от взрыва первой бомбы. Около трех часов вода хлынула через пробоину верхней палубы в машинные отделения № 2 и 4. Крен начал еще быстрее увеличиваться.

Я доложил командиру, что корабль удержится на плаву не более получаса. Через несколько минут последовала команда о сходе всего личного состава с корабля. Я приказал дежурному по БЧ-5 остановить все механизмы и личному составу сходить с корабля. Я сходил с корабля на юте, где сходом моряков руководил комиссар корабля капитан 3 ранга Мартынов. Командир же руководил сходом личного состава на правом шкафуте, откуда моряки перешли на баржу и спасательный буксир «Меркурий». Командир и комиссар сошли с корабля последними. Только баркас отвалил от корабля, крен стал быстро увеличиваться, и крейсер «Червона Украина» затонул. Из воды начали вырываться пузыри воздуха, по поверхности растекались черные пятна мазута. На глазах некоторых моряков появились слезы. Было около четырех часов 13 ноября 1941 года.

Экипаж продолжал сражаться

Крейсер «Червона Украина» завалился на левый борт и затонул от потери устойчивости. Предположение комиссии о том, что носовая часть корабля сидит на грунте и поэтому больше погружаться не может, было ошибочным. При последующем осмотре было установлено, что носовая часть корабля лежала на скошенном под углом грунте, и по мере увеличения нагрузки нос корабля скользил по грунту на более глубокое место. С уходом пробоины на левом шкафуте под воду произошла потеря плавучести и затопление корабля.

Командующий флотом приказал снять с затопленного крейсера «Червона Украина» палубные орудия главного калибра для создания из них береговых батарей. Для этой цели была создана специальная команда из моряков крейсера в количестве 22 человек, в которую входили водолазы, боцманы и матросы БЧ-5 и БЧ-2. Руководство этой командой командир корабля возложил на меня. А руководство водолазными работами командующий флотом поручил начальнику ЭПРОНа подполковнику С. Я. Шаху.

Работы по снятию пушек проходили в трудных условиях под частыми налетами авиации противника и артиллерийским обстрелом. При одном из налетов главный инженер ЭПРОНа, с которым мы согласовывали работы по снятию пушек, был убит. Я в это время отошел от него на несколько десятков метров. Другой раз вражеский снаряд попал в баркас, с которого производились водолазные работы. Этот снаряд пробил днище баркаса и ушел под воду как раз в том месте, где на причальной тумбе был расположен мой пост с группой телефонов. Снаряд случайно не взорвался, и я снова остался жив.

Несмотря на трудности, через две недели было снято девять орудий, которые после профилактического ремонта в мастерской артиллерийского отдела были установлены на четырех батареях. Эти батареи были укомплектованы моряками с крейсера «Червона Украина», и ко второму наступлению немцев на Севастополь, которое началось 17 декабря 1941 года, батареи уже вели огонь по противнику. Особенно большую роль в отражении наступления немцев играла батарея, установленная на Мекензиевых горах. Эта батарея вела почти непрерывные бои, была несколько раз в окружении, вызывала огонь на себя и отражала атаки со всех сторон. Батарея выстояла, хотя и потеряла половину личного состава. Командовал этой батареей лейтенант с крейсера «Червона Украина» Дуриков.

Узнать больше о судьбе экипажа крейсера мне удалось у одного моряка уже после войны. Дело было в конце 1945 года. Ко мне в каюту рассыльный привел молодого паренька, одетого в гражданскую одежду. Я сразу узнал в нем котельного машиниста с «Червоной Украины». К сожалению, фамилию его не запомнил. А прибыл он ко мне как к бывшему командиру БЧ-5 крейсера с просьбой принять его на сверхсрочную службу. Он рассказал, как сложилась его судьба после событий ноября.

Примерно в марте 1942 года, когда положение под Севастополем стабилизировалось, а на Керченском полуострове наши воины готовились к освобождению Крыма, командованием флота было принято решение о создании специальной команды для проведения подготовительных работ по подъему крейсера и снятию с него некоторого оборудования для использования на других кораблях. Такая команда была создана. Возглавил ее бывший командир крейсера капитан 2 ранга Заруба, а личный состав БЧ-5 возглавил командир дивизиона движения крейсера инженер-капитан-лейтенант Адельфинский. В составе этой команды и был мой рассказчик. После поражения наших войск на Керченском полуострове и начала очередного штурма Севастополя из этой команды был создан отряд моряков, который участвовал в отражении немецкого наступления. Когда Северная сторона была занята немцами, отряд выполнял задачу по обороне в районе Ушаковой балки. Потом перешел в район 6-го бастиона (улица Пирогова), потом — в район Стрелецкой бухты. Боезапас был израсходован почти полностью. Отряд с боями отходил к Херсонесскому мысу. В районе Херсонесского мыса около 35-й батареи скопилось большое количество наших войск, многие были ранены, почти все без боеприпасов. Немцы сплошной линии фронта в районе окружения не имели. Поэтому можно было в темное время суток выйти из окружения, что и сделал мой рассказчик, переодевшись в гражданскую одежду. В районе Карантинной бухты он нашел приют у одной старушки, которая под видом родственника оставила его жить в своей избушке. Несколько дней он про-

был у нее. Оброс бородой, ходил сгорбившись и хромал. Жители рассказали, что в районе поселка Туровка (где сейчас центральный универмаг и кинотеатр «Россия») немцы производят первичную обработку пленных с Херсонесского плацдарма, и он пошел туда посмотреть. И вот что он увидел. Пленных выстраивали в одну шеренгу, немецкий офицер давал команду: «Евреям и комиссарам и командирам выходить из строя!» Никто не выходил. Позади строя стояла группа крымских татар. Тогда немецкий офицер с тростью проходил вдоль строя, всматривался в лицо каждого и на некоторых показывал своей тростью. В это время идущий позади строя татарин бил ломом по голове того, на кого показывал немецкий офицер, а другой татарин багром цеплял трепыхающееся тело и тащил его в воронку от бомб. После этого пленных строили в походную колонну и направляли в район городской тюрьмы.

У своей старушки моряк прожил около месяца. Однажды он наблюдал через забор, как ведут наших пленных на работу, и его заметил конный конвоир, татарин, который заехал во двор, схватил его и втолкнул в строй. Так он оказался в группе пленных. Эта группа работала в Карантинной бухте. После работы пленных на баржах увозили в бараки, которые располагались в недостроенных корпусах училища в Голландии (район Севастополя), где сейчас находится Военно-морское инженерное училище. Охраняли лагерь крымские татары, которые часто злобно издевались над пленными. Из этого лагеря котельного машиниста отправили в город Николаев для работы по восстановлению судостроительных заводов. Там он находился до начала 1944 года, пока не был освобожден Красной армией.

Я этого котельного машиниста хорошо знал и с удовольствием бы взял на службу по его специальности, но у нас была директива командования о том, чтобы не зачислять на сверхсрочную службу лиц, бывших в плену. Об этом я и сказал ему. Особую обиду этот моряк высказал по поводу того, что ему отказали в выдаче медали «За оборону Севастополя». Я посочувствовал ему, но сделать ничего не мог. Только после смерти Сталина был издан указ о вручении медалей за оборону городов-героев лицам, бывшим в плену, но участвовавшим в обороне этих городов.

...На Графской пристани Севастополя в сторону торгового порта на стенке установлена гранитная плита, на которой высечен силуэт крейсера и сделана следующая надпись: «Здесь, ведя бой с противником, 12 ноября 1941 года погиб крейсер “Червона Украина”. Личный состав корабля со своими орудиями перешел на сухопутный фронт и героически защищал Севастополь до последнего дня обороны на батареях № 112 и 113 — Максимова дача, № 114 — хутор Дергачи, № 115 — ст. Мекензиевы горы».

Около этой памятной плиты часто лежат свежие цветы, и моряки, прочитав надпись, склоняют головы в память о тех, кто отдал свои жизни за Севастополь, за Родину, за торжество нашей Победы.

Михаил ЩУКИН

«Я БЫЛ ПЕХОТОЙ НА ВОЙНЕ...»

...Траншея, только что отбитая у немцев, еще дымилась, еще залетали в нее шальные мины, но молодой, двадцатилетний лейтенант, «Ванька-взводный», как любовно и с горечью называли их на фронте, уже не обращал внимания ни на разрывы, ни на посвисты пуль. Дело было сделано — траншею взяли. И разом, подламывая измученное тело, навалилась неимоверной тяжестью усталость. Длинные переходы, двое суток без сна, атака — все смешалось в один клубок, и он обессиленно лег в узкую нишу щель, приказал солдатам, чтобы разбудили через пятнадцать минут, и завернулся с головой в плащ-палатку.

Уснул мгновенно.

И не услышал, как обрушился на траншею минометный обстрел, как одна из мин взорвалась прямо у ниши-щели и обвалила на него, спящего, пласты земли. Только одно чувство ясно помнит он до сих пор — давящая тяжесть и абсолютная, беспросветная темнота.

Солдаты, хватившись, что взводного нет, успели его откопать. Он хватал воздух широко раскрытым ртом, долго приходил в себя и никак не мог поверить, что жив и снова видит перед собой свет, а не темноту.

Может быть, с этого фронтового дня и появилось у лейтенанта обостренное

чувство света, неистовое желание случайно выжившего на войне человека видеть мир в красках. Может быть, именно в такие трагические моменты и определяется твердо и окончательно дальнейшая судьба, в которой, как глубокая зарубка, всегда будет болеть память о тех, кому повезло меньше и кто навсегда остался в траншеях или на подступах к ним.

Творчество народного художника Российской Федерации Вениамина Карповича Чебанова неразрывно связано с Великой Отечественной войной, на которую он ушел из Новосибирска девятнадцатилетним и на которой полной мерой хлебнул боев, ранений, госпиталей и близкого, постоянного дыхания черной смерти.

«Наиболее понятно творчество Вениамина Чебанова, — писал искусствовед В. М. Пивкин, — если его рассматривать сквозь призму биографии художника, тем более что она, личная его биография, стала биографией времени, а его судьба в чем-то определяет духовное лицо эпохи. Своим картинам он уступает часть своей души, нередко и вовсе обнажает ее, доверяясь людям. И ему веришь, потому что он знает о войне не с чужих слов, он видел ее изнутри...»

После войны Вениамин Карпович возвращается домой в Новосибирск и

начинает свою мирную жизнь художником в Доме культуры железнодорожников, поступает учиться на архитектурный факультет Новосибирского инженерно-строительного института, но затем переводится в Иркутское художественное училище, заканчивает его и полностью отдается раз и навсегда избранной профессии.

Он участник зональных, республиканских, всесоюзных и международных художественных выставок, его работы находятся во многих музеях страны и в частных собраниях Польши, Германии, Франции, Австрии, Америки и Финляндии. Он является обладателем многих наград, званий, но самыми дорогими для него остаются фронтовые награды.

Долгие годы Вениамин Карпович сотрудничал с Западно-Сибирским книжным издательством, проявив себя и как талантливый иллюстратор, оформив почти сто книг. Есть в его послужном списке графические работы, исполненные талантливо и очень эмоционально. Особо нужно сказать о том, что художник практически во всех своих работах самое

пристальное внимание уделяет рядовому человеку, его внутреннему миру, его сложной, а порою и трагической судьбе. И из этих «простых» судеб складывается гигантское общее полотно судьбы народной, в которой было все: голод, холод, кровь, смерть. Но всегда, при любых обстоятельствах оставался еще и свет, прорывающийся сквозь беспросветную темноту.

Как уже говорилось, Вениамин Карпович Чебанов работает в разных жанрах, но главной любовью для него остается все-таки живопись. Он продолжает писать тот свет жизни, который явился ему во всей своей истинной красоте, когда его откопали в траншее. Он умеет разглядеть его даже через страдания и умеет оставаться верным самому себе и своей памяти.

В августе нынешнего года народному художнику Российской Федерации Вениамину Карповичу Чебанову исполнится девяносто лет. Но он по-прежнему в строю — в канун 70-летия великой Победы в Новосибирске открылась его большая персональная выставка.



АВТОРЫ НОМЕРА

Аврутин Анатолий Юрьевич родился в 1948 г. в Минске. Окончил БГУ им. Ленина. Поэт, переводчик, литературный критик. Член СПР. Главный редактор журнала «Новая Немига литературная». Живет в Минске.

Дедов Пётр Павлович (1933—2013) родился в с. Новоключи Купинского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский государственный педагогический институт и факультет журналистики ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. Работал в газетах «Советская Сибирь», «Молодость Сибири» и др. Автор книг «Светозары», «Сказание о Майке Парусе», «Моя голубая весна» и др.

Казарин Юрий Викторович родился в Свердловске в 1955 г. Автор нескольких книг стихов и монографий, посвященных исследованию поэтического текста. Доктор филологических наук, профессор. Живет в Екатеринбурге.

Касавченко Святослав Александрович родился в 1971 г. в Краснодаре, окончил филологический факультет КубГУ. Служил в милиции, работал на стройке. Публиковался в коллективных сборниках прозы и в местной прессе. Живет в Краснодаре.

Кобоу Наталья родилась в 1982 г. в г. Уральске в Казахстане, окончила Российский государственный гуманитарный университет, кандидат социологических наук. Работает в сфере исследований рынка. Живет в Германии.

Сапожников Владимир Константинович (1922—1998) родился в с. Ключки Алтайской губернии. Учился в Тюменском пединституте. Участник Великой Отечественной войны. После войны окончил Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР. Прозаик. Рассказы и повести публиковались в журналах «Сибирские огни», «Знамя»,

«Наш современник», «Новый мир» и др. Автор нескольких десятков книг прозы. Член СП СССР.

Трифонов Александр Фомич родился в г. Ижевске в 1909 г. Работал кузнецом на Ижевском заводе, окончил рабфак. В 1935 г. окончил Ленинградское военно-морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского и был направлен на Черноморский флот. К 1941 г. — командир БЧ-5 крейсера «Червона Украина», затем — крейсера «Красный Кавказ». После войны служил в техническом управлении флота. Умер в 1992 г. в Севастополе.

Шипилов Николай Александрович (1946—2006) родился в Южно-Сахалинске. Учился в авиационном техникуме и педагогическом институте в Новосибирске. Работал токарем, бетонщиком, штукатуром, монтажником, корреспондентом окружной военной газеты. Окончил в 1989 г. Высшие литературные курсы в Москве. Поэт и прозаик. Секретарь Союза писателей России. Автор нескольких романов и сборников рассказов. Автор и исполнитель песен, многие из которых вошли в бардовские антологии.

Щукин Михаил Николаевич родился в 1953 г. в с. Мереть Сузунского района Новосибирской области. Окончил Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР. С 16 лет — литературный сотрудник сузунской районной газеты «Новая жизнь». Работал в новосибирской областной газете «Советская Сибирь», собственным корреспондентом журнала «Огонек» и газеты «Литературная Россия» по Сибири. С 1995 г. — главный редактор журнала «Сибирская горница». Автор более 30 книг — романов, повестей, сборников рассказов. Лауреат премии Ленинского комсомола. Лауреат премии губернатора Новосибирской области (2012). Живет в Новосибирске.

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал **«СИБИРСКИЕ ОГНИ»** в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

Верстка: *О. Н. Вялкова*

Корректурa: *М. Н. Долгов*

**630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 10, оф. 315,
тел.: (383) 354-07-66, факс (383) 344-92-94
E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: sibirskieogni.pf**

Сдано в набор 11.05.2015 г. Подписано в печать 25.05.2015 г.
Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7.
Тираж 1500 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Торговый Дом Азия-принт»
Адрес: 650004, г. Кемерово, ул. Сибирская, 35а
Телефон: (3842) 35-21-19